

ЗНАМЯ

6/93

Олег ЕРМАКОВ
Фрески города Гороухци

Виталий КАЛЬПИДИ
Записки из захолустья

Франц КАФКА
Афоризмы

Л. ЛАЗАРЕВ
Шестой этаж

Владимир ЛЕОНОВИЧ
Ход китовраса

Евгений СТАРИКОВ
Базар — не рынок

ИЮНЬ



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

Содержание

6

**ИЮНЬ
1993**

Владимир Леонович. Ход китовраса. Стихи	3
Олег Ермаков. Фрески города Гороухци	9
Виталий Кальпиди. Записки из захолустья. Стихи	27
Светлана Васильева. Время пионов. Роман	35
Анатолий Курчаткин. Стражница. Роман. Окончание	38
Франц Кафка. Афоризмы. Перевод с немецкого С. Апта	107
Михаил Айзенберг. Сияющим шелком. Стихи	118

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Л. Лазарев. Шестой этаж	123
--------------------------------	-----

Москва
Издательство
«Пресса»

Публицистика

Евгений Стариков. Базар — не рынок	180
---	-----

Критика

Мария Руденко. После литературы: игра или молитва?	186
Александр Вяльцев. Литература и мораль	193

Не советуем читать

Александр Агеев представляет серию «Жизнь замечательных россиян»	196
--	-----

<u>Из почты «Знамени»</u>	200
---------------------------	-----

Дорогие читатели!

Вы сможете приобрести любой интересующий вас номер журнала «Знамя» (начиная с № 9 за 1992 г.) в магазине «Дом книги» на Новом Арбате (Москва, Новый Арбат, д. 8) в секции «Ассоциация независимых литературных изданий России» — АНЛИР.

Там же можно купить и сделать заказ на другие журналы АНЛИРа: «Волга», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Интерпол — Москва», «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь», «Северные просторы», «Юность» и книжные приложения к ним.

Итак, в магазине «Дом книги» на Новом Арбате всегда для вас журналы и книги серии «АНЛИР».

Телефоны для справок: 290-45-07, 131-79-74.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи просим высылать заказной бандеролью, — посылки редакция не принимает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя» обязательна.

Владимир Леонович

ХОД КИТОВРАСА

У Нестерова

Воображением не богат,
на вернисаже
я погружался в Черный квадрат —
вылез — как в саже.
Ну и довольно. Куда мне уйти?
Тихо у Нестерова, почти
пусто.
Отроку Варфоломею
было виденье... И я — во плоти —
возле картины увидел камею
русоволосую, лет двадцати.
В темном, тиха и бледна,
словно бы к постригу и она
нынче готова.

Скрыты, Россия, твои семена —
блещет полова. Я разумею,
что уходящий от мира сего
з и ж д е т его...
и гляжу и немею.

Русая Русь моя, в черный
квадрат
черти заталкивали стократ —
полно, тебя ли?
Матовый свет на лице, словно рис.
Не осквернили торжественных риз,
а ведь ногами топтали...

Ветром и пеплом

Олегу Чухонцеву

Поэзии определения нет
ни в книге ученой, ни в чистой природе —
чего же торчит на задворках поэт
как пугало на огороде?
Пусты рукава и дыряво чело,
и сооружение как таковое
давно не пугает уже никого и
качает ведерком невесть отчего.

А в небо выходит окно слуховое,
«где нечего слушать и нет ничего».

Лишь ветра напористая излука,
бывает, такого нашепчет мельком,
что рвется по следу неясного звука
живая душа — и летит прямым...
Увалом лесным переломлена трасса
как ствол кипариса и ход китовраса,
как бьет в подколенки прикладом конвой —
и стонет и воеет проем слуховой.
Ты слышишь? Опять... Неизбежный Некрасов —
постылая проза, прикрытая чуть.
Срastaется сломанный путь китоврасов
горбом абы как... Духота — не вздохнуть,
затем что не вьюга бушует, а свалка —
такой ли ты волею бредил, бедняк?

Уже не смешно и не страшно, а — жалко,
что время кончается мусорно так.

Как пьяный шатается амфибрахий
и свалка бушует, и ночь несветла.
Как сводит молитва взыскующих братьев,
так жалость все наши молитвы свела
Встаешь — но прикладом тебя под колено!
В российскую ночь слуховое окно
ты все-таки вывел — упер «во Вселенну»
как трубку в подгрудок, где скачет оно,
гремит, низвергаячи алую пену...

Подмосковная кляча

*Человека такого усталого
Не держи — пусть идет*

Некрасов

Чтобы о многом рассказать
яснее и возможно кратче,
походку надо описать,
побежку подмосковной клячи.

От Малых движемся Вязем
замусоренным краем-лесом.
Чего же, мать, опять несем
с таким натягом и развесом?

Шагом немного попойдет,
опять засеменит вприпрыжку —
так на ходу и упадет,
когда откажется сердчишко.

Попробовал ей пособить
и напугал до смерти бабку.
Дождем налита ископять
по щиколотку, то есть по бабку.

До серого протерся плюш
двумя полосками на месте,
где ерзает тяжелый гуж —
узлов и сумок перевесье.

А вон стоит тебя встречать
дородный малый с постной
миной —
сын, или, пожалуй, зять
с приметой болезни львиной:

над глазками мясной нарост —
как у тебя мозоль на сердце,
как мне не вылезть из корост
некрасовщины, хайматшмерца.

Чужое слово, но мое:
я по-немецки думал даже...
Ох как бы рад я — из нее!
Никак нельзя с такой поклажей.

Записи

Другие волосы

Не помню сколько было выпито
но мотоцикал завели
с братухой шпарили до вылета
ему хана не довели
а у меня коробка треснула
зато поправились мозги
теперь водярой жутко брезгую
и вот какие пироги

мозги мозгами это к лучшему
пошли другие волосы
как проволока завитучие
сплошные ажно по глаза
теперь башкой амортизирую
накой когда хожу пешком
на выпивку не реагирую
пускай считают дураком

* * *

Под шинами из года в год
земля садится, каменеет,
трава от химии синее

и потихоньку травит скот.
Такую землю червь не гложет
и микрожизнь в ней не жива,

лишь пьяная одна трава
сосет раствор и стебли множит.
Все меньше ест, все больше пьет
хитрохимический наркотик.
Барашек былку пожуёт
и выплюнет — неглупый скотик.
Отравленная почва мрет,
покос год от году лысеет.
Сельскохозяйственный народ
таинственное зелье сеет:

погуще полосу засерет,
с которой травки не возьмет...
Лишь клин особый в тыщу га
не ведаёт беды-отравы —
правительственные луга,
елани, пашни и дубравы.
Там живы птица и зверье,
добра земля... Великий Боже,
храни правительство мое:
им нашу пищу жрать негоже!

На вдохе

ПЯТИЛЕТКА и ПОПЫТКА, ВЕРБОЧКА и БЕЛЕНА...
Славного достойны свитка все коровы имена.
Что. ЗАНУДА? Что. СВОБОДА? Контроктавы низкий

мык —

для какого перевода мне подвесили язык?
Терпеливая скотина, добрая Господня тварь
столько всякого вместила, что немеет мой словарь.
Что-то ДУРОЧКА дряхлеет раньше зрелости своей,
в ней рассудок еле тлеет и влияет на детей
ДУРОЧКИНО молоко. Раздалась неудержимо,
раздобрела СУЛИКО от тюремного режима,
ей не надо и быка, и не пробуй молока
от нее никоим разом: станешь благоден и квёл...
Бедный ум зашел за разум и затменье произвел.
Влагу смаргивает веко, вздох тяжелый... Ну, чего?
СКРИПКЕ жалко человека в помрачении его.

На могучем монолите под бетонным потолком
в идеальном общежитье триста душ живут силком.
В разуменьи одиноком каждая стоит и мрет...
А бывает, подопрет, по рогам ударит током —
вскинется и заорет растревоженная ферма —
схлынулись душа и сперма и пошел гулять пожар!
Бегаёт ветеринар со своим дурацким шприцем —
этаким вкатить тигрицам? Ух! Обломаны рога,
очи дикие навывают...

Вытопан окрестный выгон, глохнут дальние луга.
В рассужденье скорых выгод, чтоб коровы не паслись,
суперфермы родились. Спрашиваю: — Нужен бык-от?
— Как не нужен! — говорят труженицы агропрома.
— А такие вот хоромы? — Эти жаль, что не горят!
— А солома на подстилку? — Спрашивает! (Не дурак?)
Лягот коли на бутылку, не раздавит, мякно дак!
— Ну, а сток? Река не хочет жижи-хлорки, где ж навоз?
— А с тебя, коли, за спрос цё возьмем-то? — и хохочут
так что по спине мороз.

...Я за взрослого пастушу, черный кнут искусно свит.
С детства врезался мне в душу хриплый рев и вдох
навзрыд.

А на вдохе, говорят, говорят одни лишь кафры
и далек еще до правды европейский звукоряд.
Чу! Опять глухой грозой исподволь возрокогала
невозможная октава, перекатный гул и зой —
ПРИБЛИЖАЮТСЯ СЛОВА — ну же! — слушай — миг
ознобный:
Гнев и Правду Естества: вдох вобрал многоутробный...

Куда уж нам! Не то чтоб якоря
загрузли навсегда в глухих
затонах,
но тяжко над душой стоят
«моря»,
природа нетверда в своих
законах,
и нынче жабрами души — отнюдь

не фибрами, которых не бывает,
придонную перепускаешь муть,
что пепелища детства укрывает.
По лестнице ламарковой до дна
дошли утопленники-углебохи —
военных лет голодная шпана,
живой состав, отстой и шламы
эпохи.

Урез

В стране поналомали столько
что впору каждому из нас дров,
виниться тяжко, что, мол, отныне
и не сидел и не был изгнан, жив-здоров
и не... и не...
Вина, сказал поэт, на всех одна
и мзда: вот я — тритон иль
нечто вроде.
Беснуется нагонная волна,
почуяв под собою мелководье.
Когда политику почует ямб,
размерная строка исходит пеной...
Не майн, признаться должен,
это кампф —
я лишь по зову твари убиенной
вполне себя отрекся, углебох
и страждущие мя объяли воды.
Читатель не дожидется рифмы Бог
среди такой дурной полуприроды.
Еще течет подводная река,
еще стоят подводные озера
и виснут паутиной с потолка
гирлянды намокающего сора.
А там стоит коричневая тьма:
там ото дна торфяник отодрало,
и сколько жизней там
поумирало,

знать невозможно, не сойдя с ума.
...Калязинские щепни-пустыри,
целехонькие улочки Мологи —
и вся родная Волга изнутри
видна в ее безрадостном итоге.
Какие тут утоплены концы!
Река лежит, река себя не моет...
Наркомвнутделовские молодцы,
никто победы вашей
не замолит.
...Переступая ластами урез,
войдем в пространство, трудное
немножко:
за голым полем голый черный
лес —
и на ветвях гнездо свила
рыбешка.
Чтобы начало сочетать
с концом —
хотя зачем? — сойдем путем
пологим:
ты напоследок будешь
кольцецом
а я, как и сказался, ластоногим.
А что же вы, певцы великих ГЭС?
Рассматривайте временность
карманно.
Какой вам, в самом деле, интерес
на дне такого мертвого лимана?

Костромским старухам

Река, которая была рекой,
снесла меня, когда зашел по шейку,
но я спасен был бабой костромской
и на мостках отшлепан хорошенько.
Как вижу: мутная вода желта
и ноги отнимаются со страху.
На короточках на лаве баба та
полощет, пялит белую рубаху.
Весь берег, катища, костры в цепях,
плоты, платки — отчетливо и колко —
весь свет — в последний раз и второпях
и навсегда уже... Ой Волга, Волга!
Нет голоса, пускаю пузыри...
махну рукой... меня на стрежень тащит...
Мальчишка тонет и глаза таращит —

запоминает Волгу изнутри.
И Тот, Кто это все устроить мог,
под локоть бабу толкнул: гляди, мол,
вон голова плывет как поплавок —
всплывает — тонет — проплывает мимо...
Она увидела и в воду плюх
в опорках, в юбке... И сегодня в лица
я вглядываюсь костромских старух —
и каждой,
каждой
надо
поклониться.

* * *

Не одна тут промокла спина
и пила не одна порадела —
для какого-то хитрого дела
роща мачтовая сведена.

Кто и дальше стволы напятнал?
Посредине измятой красы той
всею кровью живой и несытой,
всей душою моей застонал.

Краснобура, тепла, смоляна,
понимаешь ли стон обрученный,
возле самых зубов пресеченный?
Понимает и плачет она.

Кислотою протравлен нарез
по сосне, добела окоренной.
Дело мертвое. Труд подъяремный.
Молодой обескровленный лес.

Стихи Светлане

Преображался словно черновик
по воле слова и найтью свыше
моей часовни утлый четверик,
блистая каплей-маковкой
на крыше.

Как стих молитвенный воздет
конек.
Свеча часовни — кладбищу
и бору.

Обозреваю, севши на пенек,
сей вызов запустенью и разору.

С уютом надо согласить полет,
и тут идея вся как таковая.
А вон художница сюда идет —
ее волнует гамма цветовая.

В наплывах света моховой закут
и все шатровое, все стволовое,
и солнечные пятнышки текут
по синеватой отягченной хвое.

Так за мольбертиком стоит она,
ресницы опустив как мягкий полог.
поднимет их — душа озарена
и в жар на миг повергнута и
в холод.

И вы взгляните на нее мельком,
лежащие под хвойным одеялом
под серебристым шелковым песком
главами на закат — одним повалом.

Ее застенчивость и тишина,
коса тяжелая и стать крестьянки...
Восторг и мука — этому цена,
как Божий дар оценивает янки:
мисс Миллион... Кто больше? Браво,
мисс,
мисс, красоту убившая красами,
так, детка, повернись, да так
снимись —
покуда за карельскими лесами

твоя сестра не подымает глаз
как на торгах славянская рабыня —
и твоего бесстыдства устыдясь,
и рабства, издыхающего ныне.

Часовенку веселую мою
нарисовала — будто освятила.
А я своих грехов не замолю,
хоть Богородица мне их простила.

Пора Возмездья по календарю.
Ты — Свет, Надежда. Заруби
на память.

А бабке твоей Вере говорю,
пока рисуешь крестики да паперть:

— Нет, бабка Вера, стоит жить,
ей-ей!

И поделом тебе твоя-то мука:
взрастить ораву — восемь дочерей! —
чтобы одна такая вышла внука.

Олег Ермаков

ФРЕСКИ ГОРОДА ГОРОУХЦИ

Первая глава

1

Позади трусил серо-голубой жеребенок. Иногда он останавливался, поднимал голову и с обидой смотрел на людей в запыленной одежде, на свою серую сивогривую мать, досадливо ржал и догонял телегу.

Телега скрипела.

Солнце жарко пекло. Жужжали слепни. Босые люди неслышно шагали по пыльной дороге. Гречишное поле знойно курилось, пчелино звенело. Вдалеке лежали холмы, белесые от спелых хлебов и едва различимые, призрачные, как медовые горы. И черно-зеленый дуб на холме казался парящим в воздухе.

Дорога пошла вниз, в лощину, заросшую березами и орешником.

Прохладно и странно пропела иволга.

Ярче зазеленела трава. Лошадь громко заржала. Под ивами блестел ручей.

Они остановились здесь, распрягли лошадь, пошли умываться. Одуревший от жары и тряски бледный юноша спустился с телеги и, хромя, побрел к ручью.

Ручей был хорош, с каменистым дном, быстрый и чистый. Мужчины фыркали, черпали пригоршнями и лили прозрачную воду на смуглые шеи.

Умывшись, расселись на траве возле холстинки с хлебом, яйцами, вяленой рыбой и яблоками. Говорили мало, о городе. В этом городе, по слухам, большая торговля, и много строят, и хорошо платят. Понравится — надолго можно задержаться. Не понравится — мир...

— Птица, — сказал черноглазый Марк, указывая седьмым пальцем в небо.

Все посмотрели на черно-белую долгоносую и красноклювую птицу, кружившуюся в слабо-синем небе.

Старик с лысым загорелым щекастым личиком сказал, что ее в Святом Граде видели, она зимует там, Ерусалимская птица.

— Благодарим Тя, Христе, — промолвил, поев, Петр. Обернувшись к юноше, он велел показать ногу. Осмотрев припухшую ступню, достал нож, брусок, попросил Савву огонь развести.

Старик что-то искал среди ромашек и желтых цветов, Петр нож точил. Долговязый Савва с соломенными волосами трещал хвостом. Марк мыл жеребенка, а Греко лежал на траве, следил за аистом.

Наконец все было готово. Петр положил ногу юноши к себе на колено, очищенным в огне острым ножом надрезал лиловую тугую кожу ступни, и кровь с гноем хлынула на траву.

Когда весь гной вытек, старик Евфимий приложил к ране травянистую кашицу, что-то бормоча, и перевязал стопу.

Прозрачно пропела иволга.

Отдохнув у ручья, они запрягли лошадь и тронулись в путь.

Вечером прошли лес, поднялись на холм и увидели валы, купола и крыши города на берегу зеленоватой сильной реки.

А спустя некоторое время чернородый коренастый Петр, старик Ев-

фимий, долговязый Савва с соломенными волосами, семипалый Марк, грек по прозвищу Греко и юноша растерли краски в плошках, развели их водой и, вымывшись в бане, надев чистую одежду, помолившись, встали перед свежештукатуренными стенами и окунали кисти в вохру, бакан, багор, празелень, дорогую лазорь... И старший изограф Петр вывел черным по белому: **ГОРОУХЩА.**

2

Как бы я хотел быть этим юношей. Какое счастье бродить с дружиной живописцев по древним дорогам, расписывать церкви — и однажды прийти в родной город. И какая дружина! Марк, Греко... Фантастическая, дерзкая греза.

Нет, я бы, конечно, не писал вместе с ними, а только размешивал краски — багор, празелень... И мыл кисти вечером после работы, как тот подмастерье из «Андрея Рублева».

И внимательно следил за их работой.
И жадно созерцал древний город.

3

По Днепру в город плывут лодки с заморским сукном и оружием. А город нагружает порожние посудины мехами, медом — под плеск зеленых волн и крик белых чаек.

В небо поднимаются дымы смолокурен, стучат топоры. А в монастырских библиотеках тишина, над книгами сидят иноки.

Город валами и дубовым тыном обнесен. Вне крепости дворы и склады иноземцев и княжеская Смядынь с хоромами и храмами. Город на холмах и рвах лежит. По рвам в Днепр ручьи сбегают: Смолигов ручей, Зеленый, Ильинский. Холмы называют горами, и у каждой имя есть: Воскресенская, Казанская, Покровская, Мономахова. На горах церкви стоят. На Мономаховой — собор. Весной на горах и во рвах сады зацветают. Летом сверху сплавляются немыкарские рыбаки, дорогобужцы лес гонят, и в городе пахнет сеном, рыбой, сосной. Осенью на городских горах багровеют клены. И в окрестных лесах льется звериная кровь. А зимой город в снега зарывается, кадит березовым дымом, встряхивает гроздья колоколов — и от звона и вороньего крика сыплется с крестов иней.

4

Благостная картина. Но стоит открыть летопись, как на тебя дохнет иная, страшная древность. Пожары, эпидемии, засухи, резня. Или вот: в одна тысяча двести тридцатом году...

В одна тысяча двести тридцатом году в город въехал волчий князь и стал править.

Первым делом князь приказал бить скот и домашнюю птицу. Горожане заупрямились было. Но князь их принудил. И вдыхал теплый пар крови.

Это была первая жертва.

Вскоре князь потребовал второй.

Православные зароптали. Нешто они басурмане?

Князь осклабился: резать.

И по дворам заржали жертвенно лошади.

Князь раздувал ноздри.

Но остыла кровь, и кровавый снег был дочиста вылизан собаками и нищими, и князь объявил, что желает последней жертвы.

Люди окаменели.

Князь повторил требование.

Подавленные разошлись горожане по домам. И решили не подчиняться. Послали во все стороны тайных гонцов с просьбой о помощи.

Дни шли за днями, а помощи не было. И гонцы не возвращались.

И горожане поняли, что остались один на один с князем посреди выстуженной белой земли.

А он терпеливо ждал.

И горожане бросились в церкви, пали на колени: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб!.. хлеб наш насущный даждь нам днесь!»

Князь с презрением слушал, зная, что он сильнее всех заповедей и всех молитв и длинных рассуждений, собранных во всех книгах мира.

Но люди не покорялись, пекли лепешки из коры и мха, ели мышинные супы, жарили кошек и собак, грызли сбрую и молились: «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремени, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения. Хлеб!.. хлеб наш насущный даждь! даждь!» И, выйдя на улицу, умирали.

Князь дремал, уткнув острый подбородок, поросший серой шерстью, в шубу. Он знал, что его воля будет исполнена и город покорится его краткой заповеди: «будьте, коне волки».

И вот однажды он вздрогнул, и приоткрыл ястребино ясные глаза, и увидел, как двое в сумерках приблизились к человеку, лежавшему в сугробе, склонились над ним и, взявшись за ноги, поволокли замороженный труп в избу, воровато озираясь.

Князь прикрыл глаза. Это еще не жертва. Жертва впереди, великая жертва великому князю.

В полях выли волки и выюги.

«Хлеб!.. хлеб нам даждь! даждь!.. даждь!» — заклинал город, царапая небо крестами.

И с неба посыпался чистый красивый холодный снег.

Отец взял топор и мешок и ушел в ночь, под утро вернулся, волоча за собой тяжелый мешок. Хозяйка молча затопила печь и поставила посудину с водой на огонь. Дети проснулись, наострили ушки и вдруг заверещали.

И великий князь оживился. Он тоже почувал волнующий запах свежей крови.

Город покорился, принес страшную третью жертву великому волчьему князю в одна тысяча двести тридцатом году от Рождества Христова.

Старинные глаза князя торжественно и мрачно сияли.

5

...Живописцы все свои краски съели. К весне усохли, как щепки. Лежали, ждали, когда подует Божий ветер.

Греко бредил.

Евфимий иногда псалмы запевал — и дребезжащий голос тут же пресекался.

Еще зимой увели у них лошадь и голубого жеребенка.

Есть было нечего.

Они лежали и слушали.

И слышали шелест и хруст.

Шелест и хруст становились все громче, как будто приближался кто-то жующий. Савва добрался до оконца, посмотрел. Ледоход.

Греко бредил Грецией, морем лазури, в которой плещутся тугие сытые рыбины.

Однажды под окном раздалось ржание, на улице стоял худющий глазастый живой голубой жеребенок. Соломенногривый Савва заржал в ответ, пытаясь заманить жеребенка. Но жеребенок не шел в избу.

— Да нет его, бланзится, — сказал Петр. — Сожрали его.

И Савва засмеялся. А семипалый Марк заплакал, он любил голубого жеребенка.

Жеребенок обрывал солому с сарая, по ночам шумно дышал в дверную щель. Старик Евфимий крестился и все чаще псалмы запевал.

Изографы погибали вместе с городом.

Но — вскрылись реки.

И — поплыли по рекам в Русь немцы, просльшавшие о ее голоде.

На — кораблях, груженных мукой и хлебом.

Приплыли немецкие корабли и в город.

И живописцы ожили. Вышли на улицу, подставили изможденные ли-

ца солнцу. И ветер раздувал их волосы, трепал грязные огромные рубахи, а голубой жеребенок тыкался теплым ласковым носом в тощие плечи и слабые шеи, и семипалый Марк тихо смеялся.

Вторая глава

1

В те же годы в городе жил Авраамий, священник. Он был радостью города.

Но однажды город не вынес этой радости. И священника схватили и вытолкали из монастыря.

Щурясь от солнечного света, бледный чернобородый лобастый священник в старой ветхой рясе, подпоясанной веревкой, шел по городу, охраняемый слугами епископа, как злодей, тать. Мальчишки корчили ему рожи, бабы смеялись и громко пересказывали друг другу сплетни: что по утрам из его кельи выходят гуляющие девки, что он обкрадывает братию и пьет глухими ночами.

Это говорили о нем. О том, кто наотрез отказался жениться, когда отец и мать понуждали. Кто роздал все добро по смерти родителей. Кто на деньги, получаемые от мирян, украшал церковь иконами и покупал книги, краски, пергамент для монастырской библиотеки. Хмельное и хмельных он презирал, от званых обедов уклонялся, спал мало, но много читал, с наслаждением писал иконы, переписывал книги и толковал их. Слова его о мире и о Христе, Страшном Суде были просты, яркие и понятны кузнецу и деревщику, боярине, иноку. Он столь успешно трудился на пастырской ниве, что стяжал уважение и покори́л сердца горожан, так что многие предпочитали к нему ходить со всех концов города.

Но свет, излучаемый священником, был слишком ярок, и однажды город не вынес сияния этой свечи и взорвался. И лобастого, худо одетого человека в нищей рясе поволокли по улице под лай собак и черни, еще вчера смиренно вкушавшей его речи.

— В темницу! Сжечь! К стене прибить!

— Утопим!

— Подпалим бороду! Он все про геенну — ну дак на ж тебе геенну в бороду!

— Пчела делолубивая! Не хошь ли меду соснового — кипящей смолы?

Священник был растерян и оглушен любовью, обернувшейся ненавистью, и не знал, что сказать, и молчал.

Это был бунт черни против духа и света. Чернь любит потемки. В потемках все равны.

— К стене пригвоздить!

— В Днепр!

И блаженный Авраамий, священник Крестовоздвиженского монастыря, не мог не слышать иной, тысячелетней давности вопль, терзавший воздух иного города: «Распни его! Распни!» И тело его трепетало в предчувствии мучений, а дух смущался в ожидании смерти.

2

Авраамия повели к Мономаховой горе. Здесь стоял собор и было по дворью владыки, епископа Игнатия.

На владычьем дворе собрались игумены, попы, монахи, бояре, дьяконы. Был здесь и князь. Все ожидали Авраамия, сдержанно переговаривались... И вдруг появился запыхавшийся человек. Увидел, что успел, и обрадовался. И обратился к собравшимся. Вот его подлинные слова: «Мне бы грехи его! Послушайте, что вы хотите сделать, безумные, не имеющие страха Божия, — таков же и епископ...» При этих словах все посмотрели на епископа Игнатия. Человек же тот продолжал: «Почему вы хотите убить невинного Авраамия?» Он обвел лица собравшихся взглядом. Все молчали. «Постигнет вас порок злой, и хула, и злое проклятие, и гнев Божий на тридцать лет и более, если вы не покаетесь!»

Внезапное появление этого человека, смелая речь, закончившаяся проклятием, произвели впечатление, особенно на князя. Никто не ожидал, что у обвиняемого будет защита. Этого бесстрашного человека звали Лука Прусин. Он служил в Смядыни в княжеской церкви Архангела Михаила и пользовался доверием и уважением князя.

Кое-кто из собравшихся почувствовал себя неуютно. Простой вопрос, заданный в лоб: почему вы хотите его убить? — некоторых смутил. И он был неприятен в первую очередь епископу и князю. Они здесь для того, чтобы вершить суд — праведный. И желают не чьей-либо смерти, но справедливости. Однако большинство игуменов и попов по-прежнему с хищным нетерпением ожидало прихода священника Крестовоздвиженского монастыря... И он пришел.

Авраамий вступил во двор владыки, и стало тихо. Взгляды сошлись на легкой фигуре в черной рясе, подпоясанной веревкой, оцупали тяжелый выпуклый хрупкий лоб, скользнули по впалым щекам, густой и длинной черной бороде, угловатым плечам.

И после некоторой заминки суд начался.

Против священника были выдвинуты следующие обвинения: чтение голубиных, запрещенных, книг, ересь; пророчество.

Ни одно из этих обвинений доказано не было. По крайней мере князь и бояре доказательства, приводимые церковниками, сочли неубедительными. Это задело и распалило игуменов и попов, и они пустили в ход последнее оружие: слетни о корыстолюбии, любодействе и тайном пьянстве. Но князь и бояре даже не захотели рассматривать эти обвинения. В присутствии светлоликого худо одетого постника нестерпимо все это слышать было. Игумены и попы загудели. Ефрем, первый писатель города, говорит: ревели, яко волы.

Князь потребовал тишины.

В наступившей тишине князь сказал: «Благослови, отец Авраамий, и прости!»

3

Князь и вельможи удалились. Но Авраамий отпущен не был. Убить его уже не могли, но как-нибудь наказать имели право. И священника посадили под замок.

Авраамий ночью молился и размышлял о превратностях судьбы и о непостоянстве людских сердец и, молясь, видел в оконце звезды, чистые светильники Божии, и его сердце наполнялось тишиной и покоем.

Утром игумены и священники поднялись на Мономахову гору, пришли на владычий двор и вновь обрушились на Авраамия. И долго изливали желчь и щеголяли красноречием. Большинство, как и прежде, было против Авраамия. Обвинения звучали те же. Авраамий отвечал спокойно, с достоинством. Епископ видел, что главная вина священника Крестовоздвиженского монастыря — в его уме и одаренности и чрезмерной страстности в служении. Впрочем, и епископа смущали смелость и новизна иных ответов Авраамия, толкующих некоторые темные места Писания. Толкования, не подкрепленные ссылками на святых отцов Церкви, казались сомнительными и опасными...

Епископ решил, что наказать его все-таки следует, на всякий случай. И Авраамий был отправлен в загородный монастырь с запрещением совершать литургию.

Епископа же один из священников предупредил: «Великой быть епитимьи граду сему, если ты хорошенько не опечалишься», — сообщает Ефрем, первый писатель города.

И вот:

небо иссякло, и землю постигла засуха, и стали увядать сады, в лесах занялись пожары, ветры по дорогам вздымали тучи пыли, народ во главе с епископом совершил вокруг города крестный ход, прося Господа о дожде, но не было дождя этому городу, и дым лесных пожаров наполнял его улицы, и пыль заметала его крыши, и маялись люди, лезли в Днепр, а вода была теплой. Так же и души их трескались и рассыхались.

Вот когда епископ хорошенько опечалился и послал за опальным священником.

4

Авраамий взошел на Мономахову гору и вступил на двор владыки, устеленный золотой горячей пылью.

Не глядя ему в глаза, сказал епископ, что по неведению все сотворил, что все обвинения лживы, теперь ему ясно это... Епископ за весь город попросил прощения и дал разрешение совершать литургию... Помолчав же, сказал: «Помолись о дожде».

Авраамий ответил, что такое повеление выше силы его.

Епископ смиренно повторил просьбу и отпустил священника.

Авраамий спустился с горы и отправился в свой монастырь, стоявший за городом. Шел, с печалью взирая на поникшие нивы, на пыльные вихри, кружившиеся над знойной землей. За Днепром, на далекой Сокольей горе сосновый бор горел.

Священник прошел над глиняной чашей пруда, на растрескавшемся дне которого лежали усохшие желто-черные лягушки... А зимой голод иссушит людей, как зной сих лягушек. Иссушит и невинных детей. Не допустит, ожджи, Господи!..

И, свидетельствует его ученик преподобный Ефрем, написавший житие Авраамия: не успел блаженный дойти до своей кельи, как начался дождь.

И оросились травы и листья, крыши и лица, и наполнились трещины и чаши, и город омылся чистым дождем Авраамия.

Третья глава

1

Однажды к изографам пришел посланник купеческой Петровской сотни. Он посмотрел, как идет работа, постоял перед свежеспавшими фресками, помянул добрым словом святого Авраамия и затем обратился к Петру с предложением расписать обновленную западную стену заднепровского храма Петра и Павла. Петр огладил забрызганную красками черную бороду и, помолчав, спросил, что писать надо. Что и раньше было: в нижнем ярусе орнамент, во втором ярусе святые Петр и Павел по обе стороны от Иисуса, в третьем ярусе Руно Гедеоново.

Петр оглянулся на живописцев.

Купеческий посланник добавил, что сотня не поскупится.

Савва поинтересовался кормежкой.

И кормежка будет отменной, заверил посланник.

Петр предложил пойти Греко и Савве и дал им еще подмастерья.

Неделю спустя они отправились за Днепр, на правый берег, в Петровскую сотню.

Вся тяжесть города приходилась на левый берег. А на правом домов было негусто: купеческие да рыбацкие. И всего одна церковь. А вокруг зеленели княжеские охотничьи угодья — Тетеревники.

В Петровской сотне сильно пахло рыбой. Сколько изографы работали — всегда у них была свежая рыба, только что из реки. Купцы приставили к ним рыбака. Рыбать рыбу и ловил, и готовил: то уху, то копченую, то запеченную в глине, то в тесте. Искусный был мастер.

Изографы расписывали западную стену храма Петра и Павла. Руно Гедеоново изрядно редкий мотив в русских росписях. Но грек писал в Византии подобное.

2

Ангел под зеленым морщинистым дубом сидел, наблюдал за ловким чернокудрым юношей, который с поспешностью и оглядкой выколачивал пшеницу в точиле.

— Гедeon, что так спешить?

Юноша обернулся.

— Разве не знаешь? Посеет Израиль, и приходят Маданитяне и Амаликитяне, и жители востока, как саранча, налетают и все поедают.

Ангел встал и сказал:

— Господь с тобою! Ты избавишь народ.

— Я?!

Ангел просиял, но Гедеон не поверил и попросил еще знамений. И было ему три знамения.

Первое: поел приношение огонь из жезла.

Второе: оросилось руно, но не земля.

Третье: оросилась земля, но не руно.

И юноша поверил, и повел отважных соплеменников на врага, и победил.

И главное здесь знамение второе, когда Гедеон расстелил шерсть на гумне и наутро нашел ее тяжелой, мокрой, а земля кругом сухой была, и Гедеон взял руно и чашу и выжал из руна росы полную чашу, не ведая, что Руно Орошенное — знак Марии. Пройдет тысяча лет, и Мария явит миру Сына: Росы полную Чашу.

3

И именно в эту церковь ходил молиться Меркурий! Меркурий, испивший свою горькую чашу.

Никто не помнит, как он жил и кем он был. Помнят только молодость, имя да церковь, в которой молился.

Звали его Меркурий, и был он молод.

Млад Меркурий цвел, и поучался и молился в Петровской сотне, в церкви Петра и Павла, на западной стене которой серебрилось Руно Орошенное в руках юного израильтянина Гедеона в синем хитоне.

Млад Меркурий цвел и поучался. А купцы привозили в город страшные вести.

Что будто разбиты, как глиняные кувшины, многие города в Азии.

Что будто бывают пиры на теплых горах мертвых тел.

Что вырастают пирамиды из голов.

И сжигаются млеко сосущие.

И творит то — монгол.

А вскоре слухи стали еще тревожнее: поднялся де монгол Бату, и открыл тот монгол Волжскую Болгарию. И уже Среднюю Волгу перешиб.

Ветераны, сражавшиеся с монголами на Калке, хмурились.

А как-то зимой — будто скованный Днепр лопнул! — оглушила всех весть: Бату под Рязанью!..

И немного позднее: от Рязани ничего и никого не осталось, а Бату — на Владимире!

Но последнее оказалось ложью. Бату еще только направился на Владимир, а навстречу ему выступило владимирское войско, крупное, хорошо вооруженное. Владимирцы — крепкий щит на пути Бату. И последняя надежда.

Город, затаив дыхание, ждал известий.

И пронесся обжигающий ветер: владимирцы побиты, крепость Москва снесена, Бату лезет на стены Владимира... И вдруг: пал Владимир, молчит Владимир, не стонет Владимир — нет Владимира. Взят Ростов. Разгромлен Суздаль. Пал Ярославль. Пал Углич, Галич, Дмитров. Растоптана Тверь.

Страшное тесто Бату замесил на Руси.

Две недели держался Торжок — пал.

Дорога на Новгород!..

Что ж это за сила? Ни стены, ни секиры, ни морозы, ни лесные чащобы — нет ей противника и преграды. Божье наказание, змий монгольский ползет и выжирает Русь.

Мати Богородица, Заступница, обрати взор свой на горячие красные снега земли Русьская!..

Падет Новгород — чей настанет черед?

Бабы и девки скулили. Купцы свозили товары и добро в крепость. Иностранцы рады были бежать, да не знали куда, в какую сторону, — всюду мерещился саблевидный кровавый оскал раскосого змия Бату.

А старые рубаки, седые львы, меняли ремни на щитах, несли кузнецам в починку кольчуги, точили шипы на палицах.

На дворе стоял март. Снега оседали, выглядывало солнце, и томно

курились крепостные валы. Хмурые серые северные дали безмолствовали. Что в том Новгороде?

Уж, видно, в том Новгороде срам.

Уж, видно, в том Новгороде сырорезание.

В храмах и хоромах монгол беснуется.

Гонец!..

Проскакал по мосту, свалился стражникам в руки, перевел дыхание и сказал, что Бату в верховьях Днепра и Дорогобуж сожжен!

А через три-четыре дня иной гонец прискакал к Еленевским воротам. и вскоре весь город знал, что Ельня разорена и идет монгол сюда.

Мати Богородица... Заступница...

В ту пору Меркурий был в храме.

И вдруг входит весьма испуганный человек и спрашивает: ты ли Меркурий? Выйди. Вышли вдвоем, и человек сказал, что он пономарь Печерского монастыря и был явлен ему несказанно сиявший голос и велено найти и призвать Меркурия млада в Печерскую церковь.

Отправились они в Печерскую церковь, что в восьми поприщах от города. И наступил вечер, и еще издали увидели лучистое окно церкви — так ярко, и чисто, и чудно не могут гореть свечи.

Трепещущий пономарь отворил двери и впустил юношу, сам не вошел. Стоял с опущенной головой и не смел даже ловить лицом свет, исходящий из окна, молился: «Дево Богородице, Благодатная, спаси и помилуй...»

И вот Меркурий вышел, отер слезы с юных щек и приказал пономарю привести коня. Пономарь бросился в монастырскую конюшню.

На востоке встала луна.

Меркурий сел на коня и поскакал к городу, поднялся на Мономахову гору, велел бить в колокол, собирать народ, и столь решительно и властно он повелевал, что все подчинялись ему. будто князь он, а не безвестный юноша. И когда собрался народ, Меркурий бросил клич. И клич подхватили ветераны Калки, седые львы, и неопытные, но горячие львята.

Жители города глядели с валов на ратников, уходящих по скланной ночным морозом и озаренной весенней луной трескучей Еленевской дороге.

У Долгомостья, маленькой серой деревни, через набрякшие воюю снега большого болота по мосткам уже переправлялись монголы. И ратники с ходу ударили. И монголы были опрокинуты и отброшены за болото, набухшее кровью.

Победа!..

Уцелевшие ратники вернулись с победой. Но среди них не было Меркурия. И все о нем спрашивали.

Город праздновал избавление от напасти. В храмах служили молебны.

И в разгар сего праздника некая девица вышла по воду за ворота и, увидев, кто к городу идет, уронила деревянные ведра, приросла к земле и стала браниться: «Ай, поруха ми!.. Лихое! Блазнь! Балий калный! Брысь! Позоруги срамно! Пес пустошник! Балий скаредный! Люди! люди! Вельзевел прииде град истаяти!»

К городу приближался воин, одной рукой он вел коня под уздцы, в другой нес свою голову. И это был Меркурий — отныне Меркурий Смоленский, спаситель города и святой всея Руси.

Четвертая глава

1

Тяжелая ноша легла на холмы: пять километров камней и кирпича. Скрип подвод, ржание, перестук молотков, крики — все стихло. Зодчий Конь поднялся на Покровскую гору за рекой и отсюда увидел свое творение: крепость с тридцатью восьмью башнями.

И убедился Конь, что это хорошо весьма. И всего за шесть лет сотворено. И принял Конь поднесенную чарку. Перекрестился, выпил, перевел дух, похвалил водку, но сказал, что его стена все ж покрепче будет, а?

Семь лет спустя пришел польский король Сигизмунд Третий и проверил прочность слов зодчего.

Войско окружило город, король предложил ему сдаться и, получив отказ, махнул платком.

Осадные пушки заревели, окутались дымом, как пылью быки, когда в бешенстве роют землю копытами, и ядра понеслись с воем за реку.

Люди, звери и птицы — все оглохли.

Ядра выли, пушки ревели. Били, били.

Замолчали.

— В чем дело? — спросил король.

Пан Людвиг Вайер доложил, что нельзя больше бить, расколы в орудиях наметились.

Стена стояла.

Король созвал совет. Спросил у своих офицеров, что делать. Все говорили разное. Старый полковник, шотландец, вислоусый, плечистый, похожий на моржа, заявил, что это просто зверинец, а не крепость, — надо просто пойти и взять его. А кто-то добавил, что идти надо с приличным шумом: с криками, барабанами и трубами.

И вот приготовились: немецкие копейщики, венгерцы с саблями, королевская конница. Закричали, забарабанили, затрубили, бросились, подорвали петардой ворота. Шибко кричали, во всю мочь трубили. Им грезился второй Иерихон — но стена стояла. И отряды, умывшись кровью, отхлынули.

Король созвал совет.

Рыцари молчали.

Король поинтересовался, где шотландский полковник. Ответили, что полковнику оторвало голову.

Действительно, зверинец, заметил литовский маршал, постукивая по колену железной перчаткой.

На совете решили делать подкопы под стену и взрывать петарды — мины. Началась подземная война.

Королевские солдаты ночью уходили к крепости и рылись, как кроты, а с другой стороны смоляне-слухачи сидели в колодцах, слушали и, зачужая возню, рыли встречный ход, угощали неприятеля миной, пулей, ядром. Однажды взрывом русской мины француза из королевских минеров швырнуло выше стены, но приземлился в снег и жив остался. А то сталкивались под стеною нос к носу и пускали в дело ножи. Королевские солдаты усердствовали и вот пробили в башне брешь. Но: «удивительная вещь, — пишет в дневнике участник войны, поляк, — едва войска начали стрелять и следовало наступать самому сильному отряду, как из маленькой тучи полился такой сильный дождь, что залил у обеих сторон порох и продолжался два часа, так что земля сделалась скользкой». А смоляне тем временем залатали пролом бревнами, землей, камнями. Наступление было сорвано.

Уже год шла осада.

Стена стояла.

В Москве бояре царя с трона стащили и постригли в монахи, а потом позвали на престол сына короля Сигизмунда Третьего. И отворили ворота столицы польским войскам. Не было больше ни царя, которому смоляне присягали, ни русской столицы, которую смоляне оберегали. Пал царь, пала столица.

Но стена стояла.

Король созвал совет.

Спросил, что думает рыцарство. Пошлем москвичей, ответило рыцарство. Послали.

От имени польско-московского правительства обратились к защитникам города бояре и сказали, что его Королевское Величество добра хочет и возвышения в Троице славного Бога; а вы, смоленские сидельцы, стоите в упрямстве; а ты, смоленский воевода Михайло Борисович Шеин, так затвердел, что его Государского добра видети не хочешь и о своей гибели не размышляете; его Королевское Величество тебе, Михаилу Борисовичю, и всем смоленским сидельцам, за ваше упрямство больше терпеть не хочет! Целуйте крест новому Царю, великому Князю Владиславу Жигимонтовичю всеа Руси!..

Вернулись московские посланники в лагерь короля.

— Ну что? — спросил король.

Бояре вздохнули и развели руками:

— Как об стенку горох.

Король чертыхнулся.

У них там голод начинается, воды нет, соли нет, — уморим, решило рыцарство на очередном совете. Король согласился. А чтоб самим с голоду не опухнуть, послал отряды в окрестные городки и деревни. Взяли поляки Рославль. Разграбили Козельск и Мещевск и всех жителей изрубили, так как злы были на смолян.

А за стеной и правда плохо было с едой и водой, солью и дровами. Вторую зиму сидели горожане взаперти, отбивали атаки, тушили пожары, дежурили на стене, хоронили по рвам лошадей и людей, совершали отчаянные вылазки к Днепру за водой и в ближайшие рощи за дровами — и их секли пули, рвала картечь, в крови были дрова, с кровью была вода.

Королевское войско нетерпеливо ждало, когда откроются ворота.

Однажды вечером смоляне толпой вывалили к Днепру — за водой, и смоленские стрельцы стали палить со стены, прикрывать водоносов. Польский лагерь тоже оскалился огнем; затрубили тревогу, поднялась неразбериха, и одни думали, что совершенно нападение, а другие рыцари посчитали, что начался приступ, и, боясь упустить свою долю добычи, бросились к городу. Смятение больше часа продолжалось.

И зима миновала, лето прошло. Почти два года король ломал стену. А она стояла.

2

Эх, Федор Савельевич! Зодчий Конь... Было в стене слабое место: Дедешин. Сей смолянин переметнулся к королю и указал, где кладка не густа, — здесь строили поздней осенью, да и раствору жалели. Король собрал все пушки в одно место и тысячепудовым кулаком ударил в стену, — проломил. И устремились в брешь поляки.

Воинов в городе оставалось мало, и они уже не могли остановить сей поток сабель и копий. Но подставляли грудь: Третьяк Серков, Филип Нелюб, Нелюб Оксенов, Семейка Тутыхин...

Тут начался грабеж, пожар, срам, полилася кровь, заголосили бабы.

А воевода твердый Шеин в башне с людьми заперся. Много из немецкой пехоты пострелял. Еще дороже хотел свою жизнь отдать. Да был с ним сын маленький и дочь, и жена, и уговорили его, и сдался, больше всех жалея сына...

К утру весь город был охвачен врагом и огнем. Лишь Мономахова гора оставалась русской. Здесь уцелевшие войны, женщины, старцы и дети затворились в соборе. Так всегда было. При татарах народ запирался в Божьих домах, — во Владимире, в Рязани, в Суздале. И при иных врагах. Божий дом — последняя крепость. И всякая икона тут щит. Всякая свечечка меч. А войско — молитва.

И собор зарыдал.

Кто мог спасти сих страстотерпцев, невест и детей, израненных отцов, слабых женок, седых старцев?

А пламя уже обняло гору, и раскаленное жало проникло в пороховую казну, бывшую то ли в подвалах собора, то ли на соборном дворе, и взвился огненный столп, осветил полземли, и рыдающий дом Божий рухнул, — не рухнул, подъялся! унося сих чистых невест! и детей! отцов, женок, старцев, — подъялся. Слава Тебе, Господи! Святой Бо-о-же, Святой Кре-э-пкий, Святой Безсмертный, — поми-и-и-луй нас!

Аминь.

3

— А что, кабы Шеин любил всех горожан, как дите свое? — спросил Савва.

Старик Евфимий посоветовал прочь гнать такие мысли. Все равно нет от них толку. Грех один.

Был вечер сизый, мягкий, певучий: майская туча орошала крыши. В избе пахло липовым цветом, простуженный подмастерье лечился отваром. Изографы без огня вечеряли.

— А все ж таки? — не унимался Савва.

Он посмотрел на Петра, лежавшего на лавке с задранной к потолку громоздкой черной бородой. Петр молчал.

— А? — произнес Савва, оборачиваясь к Марку, сидевшему перед окном.

— Сдал бы город давно, — откликнулся Марк, не отрывая глаз от окна.

— Так это, выходит, добро?

— Добро, когда б поляки всей силой налегли на Минина с Пожарским и не только Смоленск, не только Москву — все пленили бы, — сказал Петр.

— Значит, зло.

— Как же любовь может злом быть? — возразил Марк.

— Я же говорил: грех и бестолочь одна, — вздохнул Евфимий.

Все замолчали.

Землю и деревья ласкал дождь.

— А как там наш Греко?.. — сипло сказал подмастерье.

Греко ушел из дружины живописцев в тысяча пятьсот сороковом году. Он давно говорил, что его тянет в дорогу, что он устал видеть каждый день леса и поля и что от этих зим можно с ума сойти. Подолгу он простаивал на берегу Днепра, глядя на его мутно-зеленую течь, ходил на пристань, говорил с купцами. Из города по Днепру он мог попасть на свой остров в Эгейском море.

Как-то Петр предложил ему написать этот остров в море, но Греко покачал головой и ответил, что для этого надо много лазори, а она дорога. И добавил, что и невозможно написать это море — надо лазорь смешивать с солнцем. А смоленское солнце негустое.

Петр думал, что так грек утолит свою печаль. Не вышло.

И однажды утром дружина спустилась к Днепру.

По очереди каждый обнялся с Греко. И он взял свой легкий мешок и взшел на корабль.

Весла ударили, корабль отчалил.

Греко уплывал на свой остров в море драгоценной лазури, глядя, как удаляется глинистый берег с дружиной изографов и город черных изб и белых церквей над плакучими ивами.

4

Город отбили у поляков и: заскрипели подводы, повезли на Мономахову гору камень, застучали топоры, новые дома вставали на пепле, крови и костях, новая пшеница подымалась на полях, кузнецы ковали, купцы гнали груженные салом, пушниной, канатами лодки в Херсонский порт, а привозили шелк, хрусталь, пряности; печники печи клали, сапожники шили сапоги, пекари хлеб выпекали, ямщики делали сани, колеса, кибитки, женщины лен пряли, и являлись новые смоленцы, и захлеб пировали у материнских грудей.

Полвека — и никто не пришел рубить, жечь, рвать, бесчестить, сдирать с икон золотые ризы.

А на Москве вставали-падали новые цари. И один вдруг пожаловал: гигант в треугольной шапке, в расшитом обрезанном кафтане, в портках до колен, чулках, башмаках, лысобородый и с глиняною загогулиной во рту. Воевода Салтыков пред ним навытяжку. А царь смрадный дым извергал загогулиной и указывал: сделай это, сделай то, порох, лошади, хлеб. Народ насторожился. А вскоре узнал: идет Карла, шведский король. Опять гореть!

И начал воевода Салтыков к осаде город готовить. При случае к царю обращался: «Четырех полков салдацким женам, у которых мужей нет, быть ли им в осаде и чем питатца?» Царь отвечал: «Безмужних жен при таком случае из города выслать, а у которых мужья есть на службе, тем велеть быть...»

Воевода: «Слободы салдацкие и других чинов круг города внутри строение ломать ли, понеже близ городской стены?»

Царь: «Самое близнее строение, от города сажен на десять — очистить!»

Воевода: «Стубенскому полку в гарнизоне быть ли, чтоб указом определить?»

Царь: «Сему полку в смоленском гарнизоне быть».

Воевода: «Присланное ружье от фелтмаршалка Шереметева в Почерье оттуда в Смоленск перевозить ли?»

Царь, выхватив глиняную загогулину изо рта: «Немедленно!»

Карл шел, шел на Смоленск — а оказался под Киевом. И на подмогу к нему поспешил его генерал с людьми и припасами, но тут царь выколол пепел из загогулины, вскочил на коня и полетел с корволантом — летучим отрядом, — пал, закогил шведа, зашиб. И ярким стылым утром царь Петр появился у Смоленска. Казалось, город еще спит. Царь Петр нахмурился. Но город ждал, он просто затаился, изготовился, замер, — и, когда царь подъехал к воротам, город взгремел колоколами, вскипел пушечной пальбой, и хрупкое октябрьское небо треснуло, и вытекло солнце, озарило царя, конницу, трофейный обоз и пленных. Царь учинил пир. А после отъехал. У него впереди была Полтава. А у Смоленска — мир.

И подводы с камнем все тянулись на Мономахову гору. Каменщики, плотники, резчики, живописцы работали не покладая рук. И на месте павшего храма вырос вертоград, заключенный в чертоги большого собора. Садовники в ризах затеплили свечи, и позлащенный иконостас отозвался тусклым солнцем. Чисто пропел колокол.

И век кончился.

Но не мир.

Мир уже продолжался полтора ста лет...

Пятая глава

1

Везувий! Чудная ночь! Кажется, с неба сыплются звезды! Ах, как горят холмы над черной рекой! Как страстно режут пушки! С какой яростью рвутся начиненные зажигательной смесью бомбы. Как трещат ружья. И весь этот древний варварский город трещит, как гнилой орех — в крепких белых зубах галла. Огня! Страсти! Европа — нора. В Европе тесно. Вот простор! Вот дремучая лесная империя! Ее леса, как пирамиды Египта. «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!» Солдаты! Дикая медведица смотрит на нас из своих тысячелетних лесов! Схватим ее за хвост, как Зевс схватил Большую медведицу! Дави, Даву! Огонь, Мюрат! Вперед, Ней! Чудно, чудная ночь, чудная!

Рвы набиты трупами.

Город взят.

Подали перо, чернильницу, бюллетень. Мм... Везувий, чудная ночь.

«В чудную августовскую ночь Смоленск представлял французам зрелище, подобное тому, которое представлялось глазам жителей Неаполя во время извержения Везувия».

Лошадь. Привели белую лошадь.

Когда-то русский царь не захотел отдать только руку Великой княжны, — теперь возьмем все. Даву! Мюрат! Ней! На Москву!

В городе оставлены раненые, комендант, гарнизон.

Жители разбежались, рук не хватает, а жара стоит египетская, и мясные овраги ядовито воняют, но аппетит у солдат хороший, они пожирают все, что можно пожрать в сгоревшем городе. Уцелевших домов всем не хватает, раненые лежат на соломе под открытым небом. Солнце, смрад, гарь, мухи. Весь провиант забрала с собой армия. Семь тысяч раненых требуют еды. Отряды уходят за провизией и навечно исчезают в окрестных лесах, растворяются в знойной дымке полей.

Наконец в город прибывает обоз.

Но что такое пятьдесят телег провианта для тысяч голодных людей? К счастью, волы отказываются от корма и начинают дохнуть, в этом городе у них отбило аппетит. И живых решено съесть.

На площади собираются все здоровые солдаты. Итальянские животные

глядят, как их окружают люди с топорами. Они ждут и покорно подставляют широкие бархатные лбы. Глухой стук. Из нежных ноздрей два фонтана. Туша медленно валится на бок, влажные выпуклые глаза томны. Верхняя розоватая губа судорожно оттопыривается, застывает. Вол лежит в крови на смоленской площади, улыбается. В гнойном воздухе жужжат мухи. На солнце сверкают топоры, воловьи ноги подкашиваются. Волы умирают покорно и молча, как будто замороженные чем-то, как будто они знают что-то. А люди провидят лишь завтрашний день, когда они будут сыты. И орудуют топорами.

Останавливаются, утирают липкие лбы...

Площадь битых волов.

Красные лужи.

2

Назад, Даву!

Назад, Мюрат!

Назад, Ней...

Чудный русский мороз, голод, казаки — всех спустил с цепи одноглазый фельдмаршал.

Армия вернулась в Смоленск, который был так чуден в ту ночь три месяца назад, а теперь стоял над Днепром, как мертвец с обуглившимися глазами.

Было холодно. Ветер сдувал снег с черных развалин. На голых деревьях сидели стаи сытых ворон, благодушно глядели на прибывающих.

Александр Македонский спешил. Гора обледенела, и конь мог упасть. Он пошел вверх. Всюду горели костры, возле них грелись солдаты. Раненые стонали и проклинали Бога. Замерзающие тихо лежали на земле, им уже было не больно, они покорно ждали кончины. Женщины, которые вопреки приказу следовали за мужьями, француженки, немки, итальянки в лохмотьях, с детьми на руках, провожали его черными взглядами.

Чингисхан лег спать в верхней части города в каменном доме. Спал скверно, просыпался и винил во всем чудный русский мороз — здесь слишком холодно, а солдаты одеты легко. Хотя в Египте было жарко, а тоже пришлось... отступать. Там было слишком жарко.

Но пора было уходить. Одноглазый шел по пятам.

Мрачным утром, придавленным снежными набухшими тучами, Тамерлан позвал Ней и, приказав взорвать в этом городе все, что еще можно взорвать, сел на черного коня, свистнул гвардию и поскакал. Следом хлынуло войско. Кричали оставленные раненые, женщины, солдатские дети.

Прочь! Назад, в Европу. Европа — кротовая нора, но здесь слишком просторно. И холодно.

Император скакал по белым снегам на черном коне, а сзади красно рвались смоленские башни.

3

Повыбивал галл городу башни: зияют проломы... Ну да и сам почти без зубов остался.

Город и после этого погрома оправился, обстроился, зализал раны. Настал день, и город вспомнил о живописцах — и они получили заказ.

Утром свежим и росистым пошли они из своей избы. Вступили в храм, вспугнув белоснежного голубя. Постояли, глядя на бесформенные солнечные фрески, писанные самим небом чистыми лучами, и полезли на скрипучие смолистые леса, расставили подле себя плошки с красками: белилами, красно-коричневым багром, золотистой охрой, пурпурной, лазорью... Взялись за кисти.

ЛАДЬЯ КРЕСТИТЕЛЯ В НЕБЕ

Русский Иордан — Днепр. В нем крестился Киев по велению Владимира, прозванного Красным Солнышком. И потом ладья князя с солнцем на парусе пошла вверх по Днепру и, поднявшись к Смоленску, отразилась в небе: золотая на синем.

КОЛОС СМЯДЫНИ

В бухте Смядынь волны качают кораблицы: на одной юный князь Глеб, на другой люди брата его, Святополка, уже запятнанного кровью брата Бориса. И вот: черед Глеба настал. Нагнали его убийцы под Смоленском. Торчину, повару Глебову, велено резать юного князя. И повар с ножом острым подступает к своему князю. «Не трогайте меня, братья мои дорогие, не трогайте... Пожалейте юность мою, помилуйте... Не губите меня несозревшего, не пожинайте колоса недозревшего... Не срезайте лозу, еще не выросшую», — просит трепещущий Глеб.

Но жатва свершается.

И убийцы бросили Глеба на берегу, и уплыли.

И через несколько лет тело его было найдено нетленным, перевезено и похоронено рядом с братним, Борисовым. А на том месте, где Глеб лежал, осенью, в день его гибели, бывает видение: колос зеленый.

АМФОРА СВЕТА

В начале было слово. И слово было убого: Гороухца. Но все через него начало быть.

О, светло светлая и украсно украшена земля Русьская!..

Гороухца — горчичное семя. Которое, как говорит евангелист, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные.

О, Боян, соловей старого времени!

Евангельскому горчичному семени было подобно то, что посеяли на Руси византийцы Кирилл и Мефодий. И проросло кирилло-мефодьевское семя, и поднялось вечносветлое древо с раскидистой кроной, и правители, дети, солдаты, пророки, священники клюют свет с его ветвей. А сокровенный корень древа — в глиняной амфоре города на берегах зеленоватого Днепра.

На драгоценной глиняной амфоре написано: ГОРОУХЦА.

И нет на Руси древнее письма.

...В разгар работы кисть в руках Марка вдруг замерла, он посмотрел на товарищей. Глаза его страшно чернели на побелевшем лице.

— Слышали?

Шестая глава

1

«И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе...» Отк. 8, 13.

2

К утру город был захвачен.

Горожане просыпались, выглядывали в окна и видели бюсты и разнокалиберные фигуры с пудовыми кулаками и цепкими лапками, в кепках, без кепок, с трубками и без трубок. Они были всюду: на площадях, в скверах, на каждом углу и за стеклом витрин, в учреждениях, школах, институтах. Солнце освещало властные хитрые лица и личики.

Город оцепенел.

Начались казни.

Первой вызвали Молоховскую.

— Что значит Молоховская? — спросил с акцентом усатый мраморец с трубкой.

— Да, батенька, был бог такой Молох в Финикии. Большой, надо заметить, мегзавец и подлец, пил кговь, — сказал маленький в рабочей кепке.

— Трудэвую? — нахмурился мраморец.

Молоховская начала, путаясь, возражать, что-де, бог здесь ни при чем, что все дело в речке Молохве... Ее не стали слушать и приказали увести. Участь Молоховской была решена.

Привели Авраамиевскую *. Мраморец сощурился.

— Что скажет монашэнка? — спросил он, с усмешкой оглядываясь на маленького.

Авраамиевская молчала.

— Малчышь?

Авраамиевская не отвечала.

— Кгасногвагдейцам эту сучку, батенька!

Авраамиевскую положили под красногвардейцев.

Затем были казнены: Ильинская, Спасская, Кадетская, Потемкинская, Королевская, Большая и Малая Дворянские, Воскресенская, Казанская, Пятницкая, Егорьевская, Козловская, Покровская, Санкт-Петербургская, Петропавловская, Донская...

— Уф, славно потгудились, — сказал маленький, утирая гранитной кепкой гранитный лоб.

Великан мраморец задумчиво кивнул, вынул трубку изо рта и вылил из трубки кровь.

3

«Одно горе прошло; вот идут за ним еще два горя». Отк. 8, 12.

4

В цветущем зеленом городе вдруг зашумели все листья, хотя ветра не было, и пошла рябь по реке, дрогнули стекла и начали тихонько дребезжать, заскулили собаки, звякнули колокола, собаки забились в темные углы, и стали слышны гул и вой, идущие с запада. Гул и вой приближались — приблизились, и на улицах взметнулась пыль, полетела листва, захрустели ветки, со стен посыпалась штукатурка, и с оглушительным визгом в город ворвалось железо.

Железо впивалось в стены, разбрызгивая красные куски кирпичей.

Железо срезало трубы, краны, колонны, кромсало кронь.

Железо дробило гранит.

Железо рубило асфальт, разносило в щепки столбы, заборы, скамейки, рассекало дома от темени до земли и выворачивало наизнанку землю.

Железо скрежетало и выло. Днепр бурлил, и небо над городом было покрыто кровавой испариной.

5

...Раздались тяжелые шаги, изографы оглянулись и увидели железо с железными бляхами, пуговицами, крестами, в железных касках, с железным оружием, в сапогах, подкованных железом, с железным богом на пухах.

Железо глядело цепко.

«Кто такие?» Петр ответил: «Изографы». — «То есть?» — «Живописцы».

Железо в очках осматривало фрески. И вдруг подняло трость и, ткнув Марка в плечо, пролаяло. «Кто такой?» — перевели лай на русский. «Живописец», — ответил за него Петр. «Имя?» Марк тихо ответил. «Национальность?» Марк тихо ответил. Железо в очках засмеялось и приказало взять его.

Петр пошел за ними. «Куда вы его? за что?»

И железо в очках обернулось, растопырило губы,дохнуло огнем, и густая борода Петра вспыхнула.

6

Но прошло время, и красная рать скрутила-таки железо в бараний рог. И в город вернулся мир. И победители вернулись, окропили руины вином...

А Марк не возвращался.

* Ныне улица Красногвардейская.

7

После победных пиров настали будни: горожане строили, слуги мрачного кесаря служили — писали, слушали и забирали по ночам строителей. Чтобы все знали, помнили, чувствовали: кесарь велик, кесарь бог. И однажды живописцы нашли в избе записку, составленную из газетных букв, наклеенных на тетрадный листок.

Записка была короткой: «Переломают пальцы, выключают глаза, затравят овчарками и врачами. Немедленно уходите».

Живописцы молчали.

Подмастерье вздохнул.

— Да и пора, — промолвил наконец старший изограф Петр.

Изографы уходили из города на рассвете.

Они вышли на проселочную дорогу.

Остановились.

В серых холодных сумерках чернели леса поздней осени. Голые поля обреченно ждали зимы. Было тихо.

Изографы стояли под сумрачным небом. Петр. Савва, Евфимий.

Молча прощались.

Простились.

Пошли.

Изографы уходили по грязной дороге в серебряных лужах, унося с собою вымытые чистые кисти. За ними трусил голубой жеребенок Марка.

Седьмая глава

1

Я остался. Побоялся причинить себе незаживающую боль и остался. Затаился. Покинул избу, где вместе с дружиной провел столько столетий, нашел иное жилье, спрятал все краски, доставшиеся от изографов. Работал сторожем, дворником. И однажды весной, проходя мимо отреставрированной белой церковной ограды, услышал остро-свежий чудесный запах левкаса...

Приехав домой, я ободрал обои со стены, развел известь, смешал ее с песком и нанес раствор тонким слоем на стену. Затем надел долгополую черную рясу в разноцветных пятнах, достал краски и принялся их размешивать, вдыхая аромат названий: багор, бакан, празелень, лазорь...

Размешал. Вытер руки. Сейчас я напишу то, о чем мечтал, то, ради чего провел столько столетий в дружине изографов, то, чего жаждала моя тоска: Душу города. Я взял кисть, приблизился к стене.

И понял, что это невозможно написать красками на стене.

2

Утром, днем, ночью и во все времена года я искал, слушал. Нашептывал уцелевшие после всех разгромов и нашествий имена гор, церквей, улиц: Свирская. Блонье, Зеленый ручей, Воскресенская. Вскрабывался на устоявшие стены крепости, поднимался на башни: Бублейку, Зимбулку, Орел, Заалтарную... И смотрел сверху на цветущие сады.

Я всюду искал, слушал, вставал засветло и шел по пустым улицам мимо вымерших школ и молчащих, наполненных снами громад из стекла и камней, и ночные вожди, бездарные и бездушные памятники с гранитной угрюмостью следили за мной.

И ранним утром я видел, как по центральной площади перед театром прошла беспризорная вольная лошадь и в торжественном парке Глинки пила воду из каменной чаши фонтана.

На мостах я стоял над Днепром, глядя на рыбаков, дремлющих в просмоленных лодках возле глинистых берегов с зелеными ивами, и вода была глинисто-зелена, и в ней отражались мосты, деревья и люди.

По Днепру в Киев уплыли мощи святого Меркурия и ныне покоятся там в Печерской лавре. По Днепру уплывали паломники в Иерусалим. По Днепру уплыл грек.

О греке я всегда вздыхал.

И однажды наткнулся на странный бледно-зеленый Смоленск в витрине книжного магазина. Это была репродукция чьей-то картины. Я подошел ближе и дрогнул: Эль Греко. Толедо перед грозой. Толедо? Но это Смоленск. Холмы, рвы, гроздь башен — крайняя Веселуха. Только все слишком бледное и хрупкое. Я купил репродукцию, отыскал на карте Толедо, небольшой город в Испании на реке Тахо, и узнал о страстях, сотрясавших Толедо, об изменах, штурмах, пожарах, и ночью мне снился Толедо. Толедо, похожий на Смоленск.

Я входил в библиотеки и храмы, в осенние парки. Молчал под сводами церкви Петра и Павла, на западной стене которой когда-то была фреска Руно Гедеоново, и здесь молился Меркурий, и пономарь Печерской церкви увел его отсюда на гибель и бессмертие. Так говорит предание. Но ученые мужи не верят преданию. А сражение при Долгомостье не упоминается в летописях.

Я побывал в тех местах.

Болото все заросло осинами, березами, кустами. Моста нет, вместо него — насыпь. Деревня на краю болота сидит, серая перепелка, Долгомостьем, как и прежде, называется.

Я бродил среди ало забрызганных голых кустов, собирал калину. Уже выпадал и таял снег, два последних дня держались морозцы, и все шуршало, искрилось, потрескивало, а каленые круглые ягоды сладки были и почти не горчили.

Здесь когда-то ударили ратники по отряду монголов. Или не ударяли?..

Уже в сумерках я выбрался на дорогу — Еленевскую и отправился в город. Сперва ехал, и под колесами звучно рвался тонкий лед, грязь с хлопом выплескивалась на обочины, припорошенные снегом. Но быстро гасли ноябрьские сумерки, а спуски делались круче, и мне пришлось спешиться. Я шел по заглохшей Еленевской дороге, ведя велосипед с калиной, и думал о молчащих летописях и говорящем предании.

«Паки же вшед богомудрый во святую церковь и виде пречистую Богородицу... паде пред ногама ея... Востави его от земля пречистая Мати Божия и рече ему: «Чадо Меркурие, избранниче мой, посылаю тя, иди скоро...» И Меркурий пошел и пал на бранном поле у Долгомостья, возле болота, на котором теперь так много калины.

«И тако блаженный взем главу свою в руку свою, а в другую руку коня своего и пришел во град свой безглавен».

И спустя семьсот с лишним лет той же Еленевской дорогой шагал я, ведя рядом велосипед с лиственным серым мешочком, туго набитым красной калиной, и взвешивал молчание летописей, доводы ученых мужей и слова предания. Безглавый Меркурий дошел до города, упал в воротах и затем был положен в собор во гробе и лежал, «содевая чюдеса и славу Христу Богу нашему, благоухая, яко кипарис»... Дорога повернула направо, я внезапно увидел червленую прозрачную луну над черными осенними холмами — и чаша предания перевесила.

Я всюду искал.

Слушал.

И как-то услышал: у окна играла девочка на флейте, она ошибалась, начинала заново, эта мелодия была, как слабый зеленый росток, — и, замороженный ею, я пошел сквозь холодный осенний ветер и мелкий дождь и оказался возле княжеской церкви в местности, называемой Смядынь. В этой церкви полвека был склад какой-то дряни, и церковь ветшала, но недавно ее отреставрировали. Дверь в храм была приоткрыта, и я взялся озябшими пальцами за массивную ручку, отворил дверь пошире. В храме еще стояли строительные леса, но уже горели свечи, на замазанных глиной, телесного цвета стенах были иконы, и небольшая паства ждала начала службы. В углу гудела железная печка-временка, ее топила обрезками досок девушка в телогрейке. В храме я немного согрелся. И, послушав пение молодого священника, вышел. По небу тянуло серые космы, покачивались мокрые ветви, над Днепром летали вороны, в ушах звучала флейта, печальная и свежая, как зеленый росток Глеба, срезанный почти тысячу лет назад здесь, в Смядыни.

Я бродил по горам: Воскресенской, Покровской, Казанской. Спускался в деревянные овраги и видел листья, крыши, трубы, шершавые стволы, темные лики старцев. И слышал щебетанье птиц и крик петухов. Весною,

когда сонмы белых лепестков продирались сквозь корявые черные шкуры ветвей, деревянные овраги источали амбру. А осенью воздух горчил от дыма, и яблоки падали. Здесь вкус древности густ на губах, и особенно густ зимою, когда деревянные овраги гулко-скрипучи, белы, и ночами на звезды лают собаки в заиндедевских шубах, а утром встают немые дымы, и лучи солнца летят из-за стены Коня, озаряют могучее вымя с золотыми сосцами, и в овраги, как в колодцы, льется расплавленное золото и колокольный звон. Собор жив.

Собор стоит на горе, прикрывшись от города валом сирени. Когда-то здесь лежал Меркурий. Сюда всходил Авраамий. И пахло здесь порохом, а в Сухой ров на восточном боку горы стекала кровь, и его назвали Красный ручей.

Сейчас здесь пахнет сиренью и первым снегом. А Сухой ров красен от пыли, осыпающейся с дряхлой кирпичной ограды.

Собор царит над оврагами и над горами с церквями, домами и телевизорной, впившейся в небо.

И когда чистый, удивительный, младенчески нежный, нежданный первый снег окутал собор млечно-прозрачною плащаницей, и ветер вскружил багряные листья клена, подхватил, взвил серую истертую рукой звонаря пеньковую змейку, и язык самого маленького в колокольной грозди певуна качнулся, и серебряная игла скользнула в мерцающий снег, — я увидел: неведомая женская рука вышивала на призрачной струящейся ткани воина в кленовом плаще и босого священника в черной ризе.

Смоленск

Виталий Кальпиди

ЗАПИСКИ ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ

Пинающий консервную банку

Если время куда-нибудь и сбежало, то — за катафалком Пруста.
О том, какое сегодня утро, я расскажу вам устно,
а письменно: я пинаю консервную банку, где цвела морская капуста.

Треск, взлетающий вместе с голубем-птицей,
принадлежит машинке для счета денег — этому удивиться
смог только я, а у людей — нормальные, прохожие лица.

Банка-склянка гремит, хотя и отсутствует хвост — непременно кошачий —
это смешит карапуза, который с утра ишачит,
суммируя влажный песок в пока что песочную дачу.

Я уже отпинал немногим менее тонны,
завидуйте мне, футболисты и прочие марадоны.
А вот и прицельный удар, и — удирают вороны.

Летит консервная устрица мимо уральской шпаны,
мимо девиц с глазами цвета морской капусты, т. е. морской волны,
летит по моей стране, но мимо моей страны.

Пробрасываю на ход себе одинокую банку,
брезгливо минуя стенку и ворота госбанка,
жестянка трясется дробно, как пулеметчица Анка.

Мимо трясется, мимо. Мимо третьей жены,
мимо её волос, что на корню сожжены
сединою, и мимо глаз, которые, если не плачут, то на фит они нужны.

Мимо мимикрирующего в червонец таксиста,
мимо жлоба за прилавком, он мне семафорит фиксой,
мимо моих нераспроданных книг на полке у букиниста.

Все хорошо, что кончается консервной банкой летящей.
Я крайний уральского края, счастливый и настоящий,
я часто бываю пьяным, но опьяненным — чаще:

воздухом, взвинченным на дрожжах тополиных, кленовых почек;
ветром, который, если судить по рябящим лужам, имеет свой
антикварный почерк,
он, как и мои друзья, редко его доверяет почте;

Виталий Олегович Кальпиди родился в 1957 г. в Челябинске. Учился в Пермском университете. Напечатан впервые на родине в 1987 г. в журнале «Урал», публиковался в красноярском журнале «Всемир», в «Юности», «Лит. учебе», автор трех поэтических сборников: «Пласты» (Свердловск, 1990), «Аутсайдеры-2» (Пермь, 1990), «Стихотворения» (изд. «Арабеск», Пермь, 1993). Живет в Челябинске.

и даже присутствием (пусть это покажется плоским)
загипсованных теток, готовых бросить свои лете́йские весла,
как к мавзолею, к подножию ампутированной Милосской.

Ляльки в люльках орут — их пугает декоративный грохот
банки, объевшейся жестяного гороха.
Ляльки орут. Я закуриваю. А банка, очевидно, оглохла.

По Уралу, где надувают бомбы и делают танки
и политиков, которых всегда тошнит, видимо, от аэрофлотской болтанки.
Я гоняю консервные безобидные банки
в сторону от похотливой еврейки, страшной якутки и развратной славянки...

* * *

Зимой удивляешься почерку, льющемуся из руки,
поддельному на две трети для стихотворной строки.
И, треща электричеством чаще, чем сковородка маслом,
начинаешь каждое утро вставаньем не с той ноги.

Скоро наступит срок — всю возвращать долги:
данное шлюхе слово, купюры — друзьям. А слуги
нет у меня, чтоб послать кредиторов дальше
места причинного, выдав для долгой ходьбы сапоги.

Страх как хочется все вернуть на свои круги:
вырезать таинство снега из южноуральской пурги,
отходы пернатого ветра сгружая в открытое море,
которое в этот момент пересекают враги;
втиснуть в кожу лягушки тело старой карги;
вырастить крепкие зубы из воркутинской цинги,
и, угадав подростка, подыскивающего рифмы,
дать по рукам линейкой: «Слушай, пацан, не лги!»
Но дважды нельзя вступить в воды одной реки,
к тому же: была охота дважды мочить портки.
Впрочем, у нас зимою лед покрывает реки.
Значит: частично можно, правилу вопреки?

Тише, погода, тише, и так не видать ни зги,
век бы тебя не слышать, до гробовой доски.
Медленная влюбленность в дождь, снегопад и слякоть
переобулась в шлепанцы шаркающей тоски.

Я сочиняю книгу ночью, по-воровски,
втайне от мерихлюндий, выламывающих виски
сильнее, чем похмелюга от шотландского виски,
когда зрочки разбегаются з́араз наискоски.

Печень набил камнями, а из волос пески
скоро начнут струиться, маленькие тиски
сдавливают легонько твердую штуку слева
ту, что обычно рвётся, кажется, на куски...

Записки из захолустья

1

Подмывает нарочно сопрячь захолустье
с мужиком холостым, с неженатой пальбой.
Тут живут дульсинеи (в транскрипции — дуси).
Тут Христос — это слабенький шкет иисуси.

Патриоты поднимут, естественно, вой,
наблюдая, как я оскорбил незаметно
свой разрушенный край предосенней порой,
где деревья укрылись (от кори?) корой.

Захолустье — ленивое лежбище ветра,
где, как льщарь, в тяжелых доспехах, зима,
где луна на четыре неполные метра
выше, чем небоскребы, ну, скажем, Сизтла.

Разольем по стаканам в Челябине вина,
опломбируем рот разлюбного поэта,
чтобы громко шумела одна тишина,
когда сманим ее из немого кина.

Пусть заснет захолустная наша планета
и дымить перестанет дыханьем людей.
А когда бы я знал раскадровку сонета,
то сказал бы, что песенка наша не спета,
но давайте закончим ее поскорей.

2

На морозе я плачу, хотя зареветь
нет желания. Слезы постыдно иметь
про запас. Возле рта обозначен парок:
значит, в этой берлоге — ну, прямо комедь! —
спит крошечное слово, как бурый медведь

до весны (или что там на смену придет
холодрыге?), когда белоснежный налет
на реке расползется, как ветхая ткань
под руками Башмачкина. Я наперед
не уверен, что холод, как Брежнев, умрет.

В захолустье мы мигом на мелкую брань,
перейдя на немного цензурную грань,
разменяем ругачку при царском дворе;
там, возможно, не слышали про глухомань,
где поет и бичует уральская рвань.

Не скрываю, такая бодяга по мне!
Что я чаще всего замечаю в окне?
Ну-у, измятый рулон тополиной коры.
А в столицах — Медяшка на медном коне
прищемила медянку и плачет, зане

сильно сентиментален диктатор Невы,
но его подловили на этом не вы,
а в провинции — провинциальный поэт,
в голове сочиненный, но из головы
убежавший в просторы уральской травы,

на которой начертано (это секрет!),
что совсем никакого спасения нет,
да и не было вовсе его никогда,
и поэтому звон: поцелуев, монет,
покаяний, ко всеобщей — звон, т. е. нет,
т. е. вялотекущая в небо вода.

3

Для меня за граница все то, что лежит за пределами нашего дворика,
где нас утром поднимет не гимн, а метла и скребок однорукого дворника.
Малышня косопузая мчится на круглые сутки в свою резервацию,
и при выходе в город наш клен тридцатипятилетний устроит сопливым
овацию,

напрягая при этом листву и восточного ветра прозрачные мускулы
и веточки свои уроняя в измятые лужи, к тому же брызгливые. Тусклые
у подъездов кончаются, съев светоносный вольфрам, маловатные
лампочки:

им осенняя темь — каламбур не из лучших, — но все же допишем —
до лампочки.

Вон направилась в школу фаланга постриженных с полусолдатскими
ранцами,

пацанву эту кличет родня спиногрызами или простыми засранцами,
и родне невдомек, что поэзия русская писана вся гимназистами,
толстогубыми с кареглазыми да прыщавыми с неказистыми,
справедливости ради прибавим сюда двух девиц с лошадиными челками,
что рожали детей между строфами, ссылками и новогодними елками.

Воробы и вороны, сороки, зимой — свиристели, неумные голуби,
трясогузки, две старые чайки, синички, которые кажутся голыми,
произвольно роняют в наш маленький двор шелестящие взвеси порхания —
мудрено это все увидеть, даже если замрешь и надолго задержишь дыхание;
и на метр (не больше) наш двор поднимается вверх за пернатой колонией,
и стекает с него дождевая вода, потому что она посторонняя.

Застеснялась погода: молчит, как лесное (нет лучше — как зимнее) озеро
оттого, что она в сентябре вместе с Цельсием глупость сморозила
несуветную, вывалив снег в нашу отчину очень тяжелой охапкою,
все равно мы его закидали своими облезлыми зимними шапками.

Грязь сверкает на солнце, павлин уместился в разводах бензиновой лужицы.
Скоро воду нарежут на струи (ведь вру, не моргая!) небесные ножницы.
Осень — время широкомасштабных элегий, написанных под Баратынского,
под аккомпанемент то ли русского Корсакова, то ли попросту —
римского.

Пять домов, три песочницы, двадцать четыре забрызганных листьями
дерева,
карусель — на приколе (вы вспомнили «Арто»? я, впрочем, толстовского
мерина),

водокачка, столбы для белья и кривые качели, поющие, т. е. скрипучие,
в лучшем случае — две, а, возможно, их пять — это в худшем для
музыки случае,

также лавочки с тетками и молодежью, играющей в пьяные ладушки,
ты попробуй найди с ними общий язык и сожри его к чертовой бабушке,
потому что молчание, как ни крути, а похлеще червонного золота,
даже если все ближе к твоим гениталиям серп и замах туполобого
молота... —

я отвлекся; еще в дворе: разномастные псы, от веселья визжащие
и счастливые тем, что они не игрушки из плюша, а впрямь — настоящие,
а на кухне живут тараканов двурыжие непобедимые конницы,
мы не слышим ночами «даешь!» и «ура!», ибо вряд ли болеем

бессонницей —
это список моих кораблей. Кто читал «Илиаду», тот, выйдя на улицу,
в каждом третьем узнает пускай не ахилла, но я вам ручаюсь, что улисса,
и, придясь ко двору в нашем дворике, перелопаченном и скособоченном,
будет долго глядеть на античных героев, что жмутся трусливо к обочине.

Кое-что насчет зимы

Три месяца я не кропал стихи, ревнуя к Мандельштаму Ушакова словарь, где выкаблучивалось слово любое, произвольное. Весна скончалась в бальзамированном лете тем временем. И, праздный листопад держа в заначке, август-кулинар глотал с кустов и грядок все

на свете;
и на свету и даже в темноте
(в которой черновик — как третий
лишний)
(вы слышите, как вишни рвутся
к рифме?)
он пузырил варенье на плите.

Уральский климат осенью грозит, а человек добрей тычков природы, сентиментальней, ласковей, но — раб на нивах и плантациях свободы, и безо всякой видимой причины с его обветренных, обкусанных, с его неопыленных, но медоточивых стекает благодарности слюна.

А между тем идет переворот не то, чтобы военный, но немного военный: искалечена дорога (точней — дороги) в маленькой

Москве.
Бог жмурится. Я в панике. А ты запасы на зиму закатываешь в банки. Собаки лают. Ластятся коты, урчанием перевирая танки.

В Челябине обесцвечена листва дождем кислотным или сладковатым, и очень скоро тонны мнимой ваты на парашютах выбросит зима и, в частности, быть вежливым велит

в присутствии провинциальной смерти,
когда на общепитовском куверте кутья в столовке горкой возлежит.
«Все стоит денег. Люди умирать стесняются, чтоб не ввести в расходы родню — и это ужас! В похоронных бюро подонков нужно линчевать», — как правильно сказал мне ветеран войны в Анголе, выбритый и трезвый, подточенный Челябинской аскезой, китайской миной, мухую це-це.

Погода изогнулась, изойдя на слякоть, что за пояс дрозофилю заткнет по части размноженья, в силу дождей с наклонным почерком школят.

Сползают город, люди, сны людей в воронку декабря, что обозначен сравнением с Мальстремом — на словах, на деле — это выглядит иначе: просушивают зимние пальто, латают валенки, джурáбы, стихотворцы играют «в Болдино», борзеют царедворцы, как не борзел никто и никогда;

а главное — вода уже не та, и лужи, где недавно карапузы растили цыпки, смотрят поутру в глаза (забыл — по отчеству) Медузы и застывают. Я шалая-валяя закончу опус темным предсказаньем: какой-нибудь Январка Февраляй нас отогреет в марте... с опозданьем.

Исход

«Осень»

Е. Баратынский

«Постой, но я никак не виноват в элегии, напичканной словарным запасом Баратынского, чей мат, будь он записан, стал бы антикварным уже давно и стоил б до трехсот рублей за унцию...» — несет как идиота меня фантазия. А требуется — вот: «Не виноват в элегии!» Всего-то? Ну, осень, да не та. Но — осень: то ж

движение, шипящее шуршаньем листвы (по звуку так, возможно, нож рвет ткань одежды жертвы — наказанье последует немедленно, но мы не станем дожидаться приговора).

Что осень не преддверие зимы, а лето — в яме после оговора, известно вам? Я думаю, что да.

И вы, наверно, мучились вопросом, зачем на струи скользкая вода расплетена, а не двужилым тросом спускается из центра дождевой монады, т. е. тучи?

Сколь яичен
цвет листьев! Сколько их, о боже мой!
О, до хера! что, право, неприлично.
Их столько, сколько будет в снегопад
снежинок — рысьих кисточек (их
с срежем с ушей косящих кошек), как я рад
довоплотить те кисточки небрежно —
в щепотки от бекеши той, что Н.
В. Гоголь оторочил славной

смушкой;
а далее: похерить все, взамен
взяв белые тельца из детской юшки.
Нарочно сосчитайте: ровно семь
последних строк я посвятил портрету
паденья снега. Осень между тем
шла параллельно авторскому бреду:
развратно поступает с сучкой пес
многопородный, тощие осины
дворовые краснеют; на вопрос:
«Не от трясушки ли бесстыжей

псины?»
ответу: «Нет! Осины седина
осенняя — спектральная по цвету —
пусть будет просто красной, коль
такой — по вкусу вашему поэту». она
Что виршеблудство? Ты послушай,
лжет осень: мол, она — как

первоначальна
и коротка, и дивна, и хрустальна
за ради бога, задарма, за так,
за Тютчева, за Пастернака. За
ее вранье никто не отвечает
деньгой: ее бесстыжие глаза
(точнее — глаз) река вовсю качает
под видом отражения луны,
но плюнуть в зенки этой
прошмандовке
нельзя, во-первых: где достать

слюны
в таком объеме ночью по дешевке,
а во-вторых: мой тяжелеет глаз
от топляка новозаветных бревен,

что означает: сам я врать горазд
вперегонки с Мюнхгаузеном,
с девицей Шахразой (ну-у, пошел
травить баланду). вровень

Осень не иначе
как заставляет пить меня рассол
похмелья элегического. Значит,
и мне не хватит выморочных слов
чтоб совершить Исход кастальской
байки
из Осени, чей медленный улов
почти два века делится на пайки:
на! Александр, на! Евгений, здесь —
для Федора, Борису — вот! Иосиф,
ты младший, ты еще поспеешь
съесть,
заначенный в Архангельске...

И Осень
в поэзии российской — материк,
где всяк сосет вино, друзей хоронит
и родину со вкусом материт,
как выучил его шалман вороний
над кладбищем, зевающим сто раз
на дно — беззубой пастью свежей

ямы
(и тут не обошелся без прикрас
неудобнопроизносимых я). Мы
как злодыри печали и тоски
восторженной-восторженной едва ли
когда отпустим влажные виски,
что столько лет над книгами сжимали
в провинции, где, как ни голоси,
нет спроса на провидцев, ибо время
кружится здесь вокруг своей оси,
само себя пытаясь клонуть в темя,
а не течет, не движется куда-
нибудь вперед, на чертовы кулички.

В Челябине вертикальная вода
клюет горизонтальную — вторичен
такой набросок лужи под дождем...

Задумаюсь небритым подбородком
на кулаке роденовском, с нулем
зажатым крепко: «Смерть бывает
кроткой... —
вдогонку выжимая из нуля, —
...как осень неизвестная моя,
упавшая в уральские края
и скрывшаяся за метеосводкой».

* * *

Я изумлен: нет правды на земле;
тот, в бакенбардах, замкнутый
в нуле
небытия, бил в точку. Мир хорош,
а правды нет. К невыбритой скуле
прижмешь кулак, щетину поскребешь
трехдневную, растущую не сплошь,
а выборочно; на бензопиле

«Сурка» сыграешь (это, кстати,
ложь).

А правды нет. Проверишь телефон:
гудит? гудит; но раздражает стон
воды, зажатой в кране; крутишь
кран,
а мыться нет желанья; баритон,

поддав голубизны в телеэкран,
гундосит: мол, пока ты спал,
баран,
державе нанесли такой урон,
что мы не завоюем Индостан.

Возьми бумагу — вспомни имена
любовниц, из которых ни одна
уже не приглашает погостить,
потом сочти их — целая страна,
а не с кем лампу ночью погасить;
фантазия, не приземляя прыть,
кощунствует: скорее бы война,
где пиф и паф научат нас любить.

Газеты обещают газават —
неплохо для начала. Азиат
скучает, наблюдая нас. «Зачем
зрекция, коль есть азростат?» —
он думает и прячет меж колен
отнюдь не чуждый чарам черный
член;
смекнув, что это — тоже автомат,
мы предлагаем чурке сдаться
в плен,

Есть прошлое и будущее, я
зажал в зубах концы их бытия
(так раненый работает связист),
концы искрят, вокруг — галиматъя,
я в роли холуя лечу на свист
надежды (аккомпанементом Лист
сгодится для подобного нытья,
маэстро, не задерживайте, please!).

Мне говорил знакомый книгоед:
«Любая ночь воспринимает свет
как темноту, кромешную весьма;
и если есть у слепоты секрет,
то ты его услышал...» Он с ума
сошел, узнав, что верная жена
ушла другому выпрямлять минет;
толмач запыл, теперь ему хана.

Не переименует новый Хан
мою страну, родной КГБстан,
где врановые каркают вранье:
мол, к нам войдет богатый караван,
как только мы все нижнее белье
перекроив на флаги (ё-моё!),
капитулируем под штатский
барабан,
от Человека отпилив Ружье.

Мне ж предстоит зубодробильный
хадж,
т. к. во рту не зубы, а пейзаж
луны; паломничество предстоит,
т. к. на стенку, в стиле «абордаж»
надоедает лезть, т. к. кульбит,
когда сползаю со стены, смешит
кота Сократика, т. к. его мираж
сиамский по квартире верещит.

На сон грядущий книжицу Басё
открыл, прочел, но «осень халясё»
не стало. Каталог февральских снов
навяливает мне ни то ни се,
вдобавок нужно тысячу слов
(такой рецепт снотворного не нов)
пересчитать. Вот, собственно, и все,
что не касается первооснов.

Мне тесен сон мой, и на два мала
размера жизнь. За что ее игла
меня зашила в духоту души,
которая не то чтобы юла,
но медленно сама в своей глуши
вращается? 'А я карандаши
точку зубами или, добела
бумагу раскалив, строчу стиши:
«Я изумлен: нет правды на земле, —
тот, в бакенбардах, замкнутый в
нуле
небытия, бил в точку. Мир хорош,
а правды нет. К невыбритой скуле
прижмешь кулак, щетину
поскребешь...»

* * *

Когда я спрыгну в полотно с того конца иглы,
которая влачит меня внутри железной мглы,
когда я спрыгну в полотно, неведомое мне,
где я согрею сам себя на собственном огне,
я не успею крикнуть вам, что смерти больше нет,
я не успею — не смогу, и в этом весь секрет,
но если силы накоплю, то вам издадека,
слегка воздуси шевельнув, махнет моя рука.
И я забуду вашу речь, громоздкий ваш язык,
и перестану вас стеречь, как на земле привык.
Когда ж я буду воскресать, увитый темнотой,
я в этой попытке позабыть успею голос свой,
и я забуду даже мать и дочь, и дождь, когда
моя любимая была нежнее, чем вода,
когда гусиной кожей рук она меня сплела

и размягчила, накалив до белого бела.
И я опять из тишины в молчание пойду,
к губам приставив кулачок, изобразив дуду.
Вокруг раскинется ландшафт. Диктаторы, жлобы
и дети станут мне шептать на ухо жалобы,
и я их выслушаю вновь и покормлю землей
той самой, что еще вчера сомкнулась надо мной,
где ящерка бежит в нору, отбросившая хвост,
который бьется, точно кисть в отсутствующий холст.
И я воскресну кое-как: неловко, кое-как,
с горы мне свистнет в добрый путь готовый к пиву рак,
и небо плюнет синевой в мои зрачки, и я
опять попру за перевал земного бытия.
За то, что я вас не любил, ответил я суду,
и он назначил мне идти, и я опять иду,
превозмогая полуболь, истому и восторг,
который, пожалев меня, пихнул в ладошку Бог.

г. Челябинск

Светлана Васильева

ВРЕМЯ ПИОНОВ

РОМАН

Глава I

Большее всего на свете молодой Худайбердыев любил читать про казнь. Особенно его увлекали истории из жизни зарубежного прошлого. Неумолимая лапа Инквизиции и тому подобное. Изошренное богатство пыток и мучений, кровь, пот, вывороченные глаза, а в финале грандиозное аутодафе: виселица или, еще лучше, сожжение на костре. Огненные языки пламени... Прощальный колокольный звон... Народ на площади...

Молодой Худайбердыев даже запомнил наизусть песенку из романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»:

Мы петлей
Злодея подарим!
На костре
Изувера поджарим!

Молодой Худайбердыев работал милиционером. Он был неглуп и недурен собой. Зигмунд Фрейд к его увлечению, конечно, никакого отношения не имел. В семье у Худайбердыевых с комплексами все было в порядке. Мать оставила ребенка еще младенцем, а отца он вообще не помнил. Таким образом, характер у молодого Худайбердыева был так себе, неизвестно в кого. Врагов он пытался любить как своих близких, а близких как врагов. Но ни тех, ни других, ни третьих у него в данный момент не было. Были женщины, но их он не любил.

Молодой Худайбердыев хотел прожить свою жизнь быстро и ярко, как огонь бежит по бикфордову шнуру. В его распоряжении всегда имелся целый выводок собак овчарок — совсем недавно они даже справили новоселье, переехав из деревянных одиночек в общий панельный блок. Но заниматься приходилось все больше мелочевкой: квартирные кражи без взлома, мордобой без летального исхода, игра в «наперсток» без надежды выиграть непосвященному человеку.

И все-таки жило в молодом Худайбердыеве какое-то шестое чувство. Или седьмое. Или не чувство, а ощущение. Смутное, неясное. Потому что ведь и времена вокруг стояли такие — неясные. С одной стороны, радио постоянно твердило: «Не укради!», «Не убий!», «Не пожелай!». А с другой стороны, ни воровать, ни убивать, ни желать уже было практически нечего. С одной стороны, процессы над ведьмами перестали угрожать прогрессивному человечеству. А с другой — сами ведьмы определенно водились, особенно среди женщин. Хотя, с третьей стороны, желать чего-то все же хотелось, а женщина по-прежнему все еще оставалась будущая мать.

Так вот. Короче говоря, молодому Худайбердыеву очень хотелось уменьшить в мире количество зла. Или злодеев. Что одно и то же.

И вот однажды в его жизни зазвонили колокола.

Глава II

Это случилось в комнате под сводами, что располагалась в помещении бывшего женского монастыря.

Раньше там находили приют монахини, гуляя вдоль высоких стен и

глядя с высоты вниз, прямо на дно глубокого рва, где мелко плескалась светлая монастырская водица.

А потом стали происходить различные чудеса. Обитель была превращена в детприемник. Затем в вырезвитель. Затем в общежитие для мужчин и женщин, в результате чего пошли дети.

Зимой дети катались на коньках и санках по замерзшему рву. Летом там же их родители удили карасей. Потом караси пропали. Дети выросли, пошли служить в армию, а некоторые сели в тюрьму.

Теперь в бывшем монастыре поселились семь красавиц, одна лучше другой — небольшой женский коллектив по реставрации.

Жили они душа в душу, работая по 8 часов в день, а в свободное от работы время глядя в узкие окошки. Там, на облупившемся золоте куполов, сидели черные птицы. Затевая игры, они очень любили скатываться с куполов, как с горки, или же гонять в футбол огрызком яблока или того, что бросали им женщины.

И вот в комнате под сводами стали твориться нехорошие вещи. Начали исчезать мелкие и крупные, но одинаково нужные всем предметы: бумажные рубли, шапки, носовые платки, чулки, колготки, сахар, соль — все, одним словом, что припасали их красивые обладательницы.

Совсем недавно прошел очередной съезд народных депутатов, который пообещал народу все, и народ решил, что на всякий случай надо запастись всем. И как в воду глядел — ту, что по-прежнему еще плескалась на дне монастырского рва.

Первыми жертвами этого процесса и стали женщины.

Наступил июнь — время пионов, роскошных цветов, похожих на кудрявые детские головки. Люди покупали их на рынке в больших количествах и охалками несли к себе в дом, где они красиво и недолго стояли в стеклянных вазах. А потом осыпались в одну секунду и переставали быть похожими на цветы — скорее напоминали маленькие скелетики.

Однажды под своды вплыл один такой огромный букет, который несла его хозяйка. Она специально приобрела цветы в виде нераспустившихся бутонов, чтобы положить их в очередную годовщину на могилу своих предков и одновременно — на стол к любимой начальнице, так как у той как раз завтра был день рождения.

Все страшно залюбовались цветами, поставили их в подсахаренный кипяток, чтобы подольше пожили, и сели пить чай без сахара.

Тою же ночью цветы исчезли.

Глава III

Без сомнения, цветы были украдены какой-то нечистой рукой. Согласно правилам, эту руку следовало изловить и отрубить по локоть. Однако в первый момент женщины как-то растерялись.

Когда же их замешательство прошло, кто-то умный предложил вызвать в бывший монастырь спецсобачек. Лучше всего овчарок.

Но овчарки объявили забастовку, так как у них в новом блоке протек потолок, и ранним июньским утром в стенах монастыря появился переодетый телефонным мастером молодой Худайбердыев.

С опаской и даже отвращением входил он в этот бывший рассадник поповщины и мракобесия. Но что поделаешь — служба.

Еще до начала рабочего дня Худайбердыев проник в комнату под сводами и, вместо того чтобы чинить телефон, незаметно рассыпал по укромным уголкам ящиков столов таинственный порошок без запаха и цвета.

Ровно через полчаса комната наполнилась беззаботным женским щебетанием. Женщины рассовывали по ящикам столов купленный дефицит: стиральный порошок, детское мыло, молочные продукты, шампуни, макаронные изделия и так далее. Заодно они шутили, пели песни и радовались предстоящей встрече с новорожденной начальницей.

Наконец начальница пришла, и все тут же отправились в бесплатную столовую Спаса Нерукоотворного.

А когда вернулись, тут-то все и случилось.

Глава IV

Одну из девушек звали Эсмеральда. Она, конечно, была уже не девушка, но мужа и детей у нее еще не было. Однако она никогда не теряла надежды, ведь времени впереди была тьма-тьмуца.

И вот Эсмеральда вместе со своими коллегами вошла в комнату под сводами, не чуя над собой беды. А через секунду она уже кричала, будто ее резали, и натягивала себе на руки только что приобретенные кожаные перчатки, хотя температура в комнате была самая нормальная. Дело в том, что руки девушки выше локтя, еще не успевшего вкусить летнего солнышка, а также шея, лицо и даже часть одежды — все быстро-быстро покрывалось красной краской. Так она и сидела: вся красная и в кожаных перчатках.

Женщины, конечно же, сразу все поняли и окружили подругу плотным кольцом.

Она же только шептала сквозь слезы:

— Я не виновна! Я лишь хотела взять в руки чужие спички, чтобы в перерыве прикурить с их помощью сигарету. Верьте мне, верьте!..

Но какие уж тут спички, когда и без них лицо Эсмеральды, охваченное милицейским порошком, горело все ярче и сильнее.

А через секунду вся она разом вспыхнула, будто в нее плеснули керосином. Вспыхнула и сгорела.

Часть огня тут же переметнулась на ветхие стены, поползла по сводам, достигла почерневших золотых куполов...

Когда молодой Худайбердыев прибыл, то, к своему удивлению, вместо семи красавиц не обнаружил ровным счетом ничего. Только большая черная птица прыгала по пепелищу. Она равнодушно посмотрела на пришедшего и улетела к подругам. Ничего — даже золотого колечка, даже горсти блестящих пуговиц не осталось от нечистой на руку девушки и ее коллег. Все смешалось, превратилось в общий пепел, унесенный ветром стучаться в окна чужих домов.

Молодой Худайбердыев понял, что результаты его действий превзошли все ожидания. Известно, что на воре даже шапка горит, а тут сгорел целый женский коллектив заодно с начальницей.

Отныне у нас уже ничего не будет пропадать бесследно и возникать из ничего!

Молодой Худайбердыев был доволен проделанной работой. Он шел домой, где его ожидал стакан недопитого холодного чая и раскрытый на последней странице зачитанный роман В. Гюго.

Глава V

Ночью того же дня люди могли слышать, как на месте бывшего монастыря вдруг зазвонили колокола. Откуда-то из глубины раздался женский хор. Женские голоса пронзительно, но довольно складно причитали, визжали, звали. Кого и куда — неясно. Но один голос, как утверждают, был отчетливо обращен к человеку по имени Худайбердыев.

Голос звучал высоко и жалобно:

— Дай, дай, дай, дай! Дай мне, нечистой, свою чистую руку! Дай мне свое сердце, легкие, глаза, уши! Худайбердыев... Ты нужен мне весь... Иди же ко мне! Все равно! Не найти тебе жены ни на земле, ни на небе...

А на следующее утро все увидели, что ров густо зарос бордовыми пионами, похожими на кудрявые детские головки. Они были цвета спекшейся крови. Они тянулись вверх, к последнему жаркому июньскому солнцу.

Приближался июль, август, сентябрь.

Эпилог

Молодой Худайбердыев жил долго. Он совершил множество поступков, обезвредил не одного злодея и сильно уменьшил количество зла. Ни жены, ни детей у него не было. В один прекрасный день он умер. Хоронили его торжественно, с музыкой и выстрелами. А на девятый день кто-то принес и положил на его могилу букет свежесрезанных пионов.

СТРАЖНИЦА

РОМАН

18

Он появился в дверях, она подняла голову от разложенных на столе бумаг — и вдруг с нею случилось то же, что тогда летом, двадцать восьмого июня: словно бы некая гигантская, мощная волна подхватила ее и повлекла с собой в темную, ужасную, беспредельную глубину, — острое, мучительное желание протянуло ее судорогой от стоп до самого темени, она вновь увидела его обнаженным, и была без единого куска одежды сама, и уже ощущала на себе его мускулистую роскошную тяжесть, и висок ее уже восхитительно терся об его твердую скульную кость...

— Ну, чего? Говорят, у тебя талоны получать? — сказал он вместо приветствия, перешагивая через порог.

Она смотрела на него и не могла ответить. Еще мгновение, еще одно, — и его плоть, снова звучавшая в ее сознании как «молот», должна была оказаться в плоти ее, соединить их, и в ней все замерло в ожидании того, собралось в комок, и она не в силах была издать ни звука, гортань ей как запечтало.

— Нет, ну а чего, если у тебя, так что поделаешь, должна дать, не имеешь права не дать! — двигаясь к ее столу, вновь сопровождал он свое движение голосом, и теперь от звуков его голоса все в ней будто возопило, сопротивляясь: «Нет! Нет!» — с яростью, бешенством, ненавистью, и та уносившая ее с собой волна опала мгновенно, растворилась, исчезла — как и не было: этот ее бывший любовник стоял перед нею, одетый в граченный, залоснившийся черный милицейский тулуп с треснувшей местами, поехавшей кожей, грубо схваченной на разрывах толстой, суровой ниткой, и на ней тоже была вся одежда, и тело ничуть не изнемогало от похоти. Наоборот, она глядела на своего бывшего любовника с недоуменным ужасом: как она могла сойти от него с ума?! Что это за наваждение было, что за помрачение? Действительно, права Нина: примитив, ничтожество, не лицо, а сама вульгарность.

— Что вы, за сахаром? — сухо спросила она.

— Ну так, а зачем еще! — воскликнул он, становясь напротив нее с другой стороны стола и упираясь в столешницу ногами.

Так, вспомнилось ей, стоял он и тогда, двадцать восьмого июня, только тогда на нем ничего не было, ни единой нитки, а теперь — килограммы одежды и этот пошлый милицейский тулуп сверху.

— Сейчас посмотрим, что у вас получено, что не получено, — сказала она, выдвигая ящик стола, где у нее лежали списки на выдачу сахарных талонов.

Выдавать талоны было вообще обязанностью бухгалтерши, но та загрипповала, и Альбина взяла это дело на себя. Она могла бы и не брать, не для ее должности было вестись талонами, но бухгалтерша, кроме нее, никому больше не доверяла, умолила подменить на время болезни, и, как за все, с несомненностью знала теперь Альбина, пришлось платить и за это не очень-то нужное ей приятельство.

В месяц на человека полагалось полтора килограмма сахара, талоны

выдавались сразу на квартал, сейчас стояло начало марта, и у семьи Галимолочницы все было получено. В каждой графе, где положено, красовалась ее собственноручная подпись, как она могла забыть о том? — не могла наверняка, а значит, послала его к ней специально. Услышала, что талоны выдает она, и послала.

— Все вам выдано, — сказала Альбина, убирая листы со списками обратно в ящик и задвигая тот.

— Выдано, выдано, что там выдано, полтора килограмма на человека — это что такое?! — заприговаривал ее бывший любовник, еще сильнее напирая ногами на столешницу. Наклонился к ней через стол и подмигнул: — Ну чего, по старой памяти, а? Давай?! Я тебя по старой памяти сделаю, у, пальчики оближешь!

Ни гнева, ни отвращения, ни стыда — ничего в ней не всколыхнулось. Она была чиста не только от страсти, она была чиста от любых чувств к нему — словно бы перед нею стоял кусок дерева, бревно, непостижимым образом обретшее голос, — она была чиста от любых чувств, спокойна, свободна и счастлива этой свободой.

— Все выдано. Выдано, — повторила Альбина, улыбаясь ему с тем счастьем, что так неожиданно обнаружила в себе. — Это и передай матери. Пусть в апреле приходит. После выборов, — почему-то прибавилось у нее.

Он попробовал было помочь своим словам руками, но он был куском дерева, бревном, ни с того ни с сего обретшим способность говорить, и ей не оставило никакого труда выставить его вон.

Он исчез за дверью, она подождала немного, чтобы он наверняка удалился подальше, и из нее вырвался дикий, клекочущий победный клик. Руки у нее взметнулись вверх, она изо всей силы сжимала их в кулаки и, приподняв ноги, болтала ими под столом.

Она была свободна, свободна! О, это прекрасно, что он приперся к ней сюда за талонами и она смогла проверить себя!

Она вела себя как ребенок, как вела себя, случалось, девочкой, осознавала это, чувствовала смущение оттого, — и была невольна над собой. Ее переполняло радостью, радость не умещалась в ней, ей не удержать было эту радость.

В такой позе — со вскинутыми вверх руками, — за этим клекочущим ревом, рвущимся из нее, и застал Альбину Семен.

Открыл дверь, постоял там на пороге в полном ошеломлении и перешагнул через него лишь тогда, когда она, преодолев собственное замешательство, как-то глупо при том подхихикнув, сказала:

— Ну? Что такое?

— Вы это что, Альбина Евгеньевна? — ответно спросил ее Семен. — Йогой какой занимаетесь?

— Нет, не йогой, — ухватилась она за шутку Семена. — Такое упражнение дыхательное. Чтобы легкие прочищались.

— А ну-ка, ну-ка. — Семен, может быть, и не очень поверил, но жадность его была всесторонней, и нужно не нужно, а появлялась возможность что-то ухватить, пусть и незначительное, — тотчас на то кидался. — Ну-ка расскажите мне, может, и мне подойдет.

— Нет, это только для женщин, — отмахнулась Альбина. — Что такое, спрашиваю? Какая нужда?

Семен пришел разузнать о большом поле на краю поселка, именуемом Дубками, — не отдадут ли ему это поле во владение. У меня, матушка моя дорогая, говорил он, хозяйство растет, я с ним куда на двенадцати своих сотках? А вон кругом с трибун выступают: давай да давай, инициативу развивай, кто работать любит — того поддерживай. Так? А я — сама видишь, у меня в руках горит, я хозяин, у меня даром ничего не пропадет. Поле бы мне отдали — я б на нем развернулся! У меня уже все размечено: коровник, ясли, овчарня... Я вот третьего дня ягнят привез, купил их специально, порода такая: шерсть, как у мамонта. Приплод дадут, да детки приплод, ну, овцы, они котятся, сама знаешь как, валенки катать буду! Я уже деда нашел, катальщика, такие валенки станет делать! Валенки-то нужны? Не в Европе, чай, живем, без валенок нельзя! Ну, не в театр, конечно, а куда сбегать, по улице. По нашим-то зимам! Весь поселок валенками снабжу. Я разворачиваюсь, ух, я разворачиваюсь, мне без поля уже никак нельзя, — я у себя на двенадцати сотках никак не умещаюсь. От ме-

ня, вот лето настанет, соседи заплачут. У меня десять коров нынче будет. Это сколько навозу, какая вонь, представляешь? Это сколько мух, да не простых, а навозных, думаешь? Мне чего, коровы мои, своя ноша не тянет — а вот соседи? Я их жалеючи. Если бы поле — так от всех далеко, а так — среди всех, слева забор, справа забор, десять коров — шутка, что ли?

— Да неуж десять? — не выдержала Альбина. — Да это целая ферма. Кто у вас их обихаживать будет?

— Обрывать, матушка Альбина Евгеньевна, следует говорить. «Обрывать!» — поднял палец Семен. — На все своя терминология, и ее уважать надо. А кто?! Мы с женой. Да пацан. Пацан у меня, знаешь? Ого-го! Хозяин тоже.

— А кормов где напасешься?

— Ну, кормов... — Семен ушел от ответа. — Конечно, иной раз кого и нанять придется, чтобы помог. Так и что, что в том плохого? Вы вот, ремонт в доме затеаете, зовете кого или сами делаете? Что-то, глядишь, сами, а на остальное — работников. Так? Так. Ну, так и я.

— Аппетиты у вас... — сказала Альбина. — А если не Дубки, а какое другое место?

Она понимала, почему Семен говорит о Дубках. Поле было и близко к поселку, собственно -- окраина его, сам поселок, сел там — и тебе вольный простор, и асфальтовая дорога рядом, и вообще к людям близко; а кроме того, через поле протекал ручей, и, значит, весь навоз и помет, от которых не удалось избавиться, можно было б спускать в него, никакой головной боли. Однако поле потому и называлось Дубками, что два десятка прекрасных, мощных вековых дубов было раскидано по его зеленому травному простору, молодежь вечерами собиралась на нем жечь костер, балдела далеко за полночь, летом в хорошую погоду берег ручья был усыпан загорающим, млеющим на солнце людом, — и отдать Семену этот кусок земли значило отобрать его у всех остальных.

— Нет, мне другое место не нужно, — ответил Семен Альбине. — Зачем мне другое, мне это удобно. Ведь жить как надо, в чем ее смысл, жизни-то? Чтобы тебе удобно было. А если мне неудобно, так зачем?

— А если от вашего удобства другим неудобно?

— Чего это неудобно? Кому это неудобно? — словно ничего не понял, замигал своими шильчатыми голубыми глазками, спрашивал Семен. — Я людей поить-кормить буду, чего это им неудобно?

— Так ведь цену-то за свое «поить-кормить» заломите — ого-го, не за здорово живешь!

— Ну, это как положено, конечно, а как же! За здорово живешь мне какой интерес ломаться. Я ломаюсь, а он бездельничает, мне его что ж, на загровок сажать? Не прав я разве?!

— Прав, прав, — согласилась Альбина. Она и в самом деле была согласна с Семеном. Но никак он не мог получить не только Дубки, но и другого куса земли, такого же по размерам. Никто бы ему не дал. Мало ли что и где, с каких трибун, говорилось. — Приходите, Семен, попозднее, — посоветовала она. — Может быть, в мае, может быть, летом... — И добавилось через паузу: — В общем, после выборов.

Снова так, как в разговоре с бывшим ее любовником, добавилось — совсем ненужно, без всякого внутреннего смысла, — но ужасно, просто невыносимо хотелось добавить, и она не смогла отказать себе в том.

Она сейчас буквально жила предстоящими выборами. Думала о них все время, лишь о них и думала, ни о чем больше, и от этих мыслей все в ней словно бы ходило ходуном, плясало отвратительной нервной дрожью. Как если б опять она была тетивой лука и натянулась до такого предела, что еще чуть-чуть, немного сильнее, — и ее раздерет. Выбирать должны были депутатов на первый, похожий, наверное, на прежние новгородские вече всеобщий народный съезд, выбрать впервые на ее памяти, впервые за десятки лет, сразу из многих претендентов*, и она ждала выборов, как некоего водораздела, как словно бы какого-то горного перевала, к которо-

* 26 марта 1989 г. впервые в истории Советского Союза были проведены выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе, когда в списки для голосования было включено несколько кандидатов. Февраль — март были временем активной предвыборной кампании кандидатов в депутаты.

му шла, шла всю эту пору, карабкалась, обрывалась и снова карабкалась, — и вот осталось совсем ничего. У нее было странное, кружившее голову, впрямь пьянившее чувство, что ради этих уже совсем близких выборов, которыми как бы открывалась новая, заповеданная до того дорога, она и жила. Ради того, чтобы они свершились, и толкала качели, носилась на них со страшной, леденившей сознание скоростью в том безмерном, бесконечном, но несомненно физическом пространстве, в котором неизвестным ей образом находилась одновременно со своим телесным существованием, свершась, они должны были придать маховым колесам такую инерцию, что уже ничего не смогло бы вновь остановить те и начать раскручивать вспять, — пусть она даже и прекратит толкать качели.

Хотя она уже и теперь почти не толкала их. Они промахивали свой громадный, положенный им путь с неудержимостью артиллерийского снаряда, посланного орудийным стволом, замирали на неуловимое мгновение в мертвой точке и с прежней неудержимостью устремлялись в обратный путь, и она лишь чуть-чуть подгибала ноги, чуть-чуть напрягала руки, когда они, оказавшись в очередной мертвой точке, соскальзывали в движение, и этого оказывалось достаточно, вполне хватало, чтобы движение сохраняло всю мощь и скорость.

Когда после рабочего дня Альбина вышла на улицу, обнаружилось, что давно оставивший поссовет Семен караулит ее около крыльца, прохаживаясь перед ним туда-сюда.

— Вопросец у меня, матушка-голубушка Альбина Евгеньевна, небольшой, но важный, на минуточку можно? — скороговоркой посылал он, загромождавая ей дорогу. — На минуточку, ага, можно? Я, Альбина Евгеньевна, только выяснить, ничего плохого не сделаю, не беспокойтесь! — И спросил, понизив голос: — Меня, матушка моя дорогая Альбина Евгеньевна, вот что очень интересует: вы что имели в виду, когда говорили «после выборов»? Знаете что-то? Какие-нибудь сведения есть, что будет?

— Что будет. Съезд будет, что, — сказала Альбина.

— Съезд, съезд, понятно, что съезд, — нетерпеливо подхватил Семен. — Ну, а на съезде-то что? Что планируется?

— Откуда я знаю?! — Альбина была вполне искренна в своем удивлении. Не знала она и не хотела знать, ее и не интересовало вовсе, что будет конкретно.

— Нет, ну чего вы боитесь, чего вы боитесь! — заприговаривал Семен. — Вот напуганные какие, как вас всех напугали, сами себя боитесь! Мне знать надо, к чему готовиться? Частную собственность, что ли, вводить будут, правильно понимаю?

— Ой, Семен, отстаньте! — сказала Альбина. Он ее раздражал своей прилипчивой, безапелляционной настойчивостью. Она вообще сейчас легко раздражалась, уловила за собой это, пыталась контролировать себя, и не очень-то получалось.

— Знаете, что будет, знаете, как не знаете! — с упреком в голосе произнес Семен. — Муж-то у вас... он не может не знать. У них все наперед известно.

— Что ему известно? Ничего ему не известно! — вконец раздражаясь — и может быть, оттого, что он помянул мужа, — едва не выкрикнула Альбина. И это было абсолютной правдой: сам, как вот Семен, изводился маемой — что будет, и изводил этой своей маемой ее.

— Ну-ну, ну-ну, — примиряюще проговорил Семен. — Шуметь-то... чего шуметь, чего я такое секретное узнать хотел? Приготовиться надо — чего ждать. Надо же подготовиться. — И спросил: — Он у тебя тоже, поди, баллотируется?

— Баллотируется, — с неохотой отозвалась Альбина.

— Ну так, конечно. Понятно. Все начальство сейчас баллотируется. Надо же свой шанс испытать. Удачи ему, передай.

— Еще чего! — фыркнула Альбина. — Удачи ему!..

— Ага! Ага! — обрадованно заговорил Семен, и по оживлению его стало ясно, что на самом-то деле пожелание удачи носило смысл совершенно противоположный.

Альбина сообразила с запозданием, что не след было раскрываться Семену в своем отношении к мужу. Муж — все-таки муж, а кто такой ей Семен?

— Ну-ка пусти, — сказала она с досадой, обходя Семена, и, не прощаясь, пошла по асфальтовой дорожке прочь от поссовета.

Она против всякого здравого смысла действительно желала мужу провала на выборах. Что ей было желать провала, какой ей в том прок? — никакого! Наоборот, следовало вроде бы хотеть избрания: такой почет, такие, наверное, новые жизненные возможности, привилегии, от которых перепадет и ей, — но нет, наперекор здравому смыслу хотелось, чтобы он провалился.

— Ну, и провалишься, нечего тебе там делать, только тебя там не хватало! — грубо произнесла она вслух для самой себя — как бы оправдывая себя и успокаивая.

19

Она видела, как Он голосовал. Камера поймала Его еще выходящим из машины, проводила до подъезда, а потом Он появился на экране уже в помещении избирательного участка, шляпы на голове у Него не было, и она обратила внимание, что за эти прошедшие четыре года, как Он возник на экранах, виски у Него абсолютно высеребрились, волос на темени почти не осталось, и странное родимое пятно в форме африканского континента чуть сбоку от темени сделалось очень заметно. Вокруг Него толпилась целая армия охранников, и тот высокий, со спокойно-волевым, как бы вытесанным из булыжника лицом, главный среди них, тоже находился тут, прямо за Его спиной, и она, Его спутница, также, разумеется, была рядом с Ним. И, впиваясь взглядом в нее, снова находя во всем ее облике подтверждение своему прежнему впечатлению: пантера! — ощупывая взглядом лица охранников с напряженными, колюче-безжалостными глазами, снова, как уже случалось однажды, Альбина возопила про себя: да что они есть рядом с Ним, что нет, — какая они защита Ему!..

Он голосовал за других, сам Он был уже избран на этот будущий съезд — по какому-то отдельному, специальному, льготному списку. Все вокруг за эту явную, слишком хорошо понятную хитрость Его осуждали, подчас накаляясь в разговорах едва не до крика, она ни в каких спорах ни с кем не участвовала, но внутренне безоговорочно поддерживала Его: и правильно, что схитрил! Он не должен был проиграть. Ни в коем случае. Слишком тонкая шла игра, слишком опасная для Него, слишком легко поскользнуться, — а Он не имел на то права.

Вот хорошо или нет, что победил в своем округе, оказался избранным на этот съезд тот человек, что был сброшен с заоблачной высоты правящего синклита за некое резкое выступление — в какие-то словно б иные, давние времена, хотя минуло тому всего полтора года, — хорошо это или плохо, что он победил, она не знала. Его последнюю пору тоже часто показывали по телевизору, и она его хорошо разглядела. Он был высок, крупнотел, но, впрочем, не толст, с одутловатым мясистым лицом и необыкновенным — простовато-хитрым и властным одновременно — выражением маленьких, утонувших в щеках глаз, на лоб ему постоянно падал потешный круто-завитой пепельный клок волос, он отводил его ладонью, и круто-завитой клок тут же падал вновь.

Она помнила, что тогда, полтора года назад, у нее было чувство вины — будто это она потянула его за язык, заставила произнести те слова, — и сейчас, видя то здесь, то там написанные на стенах, на заборах масляной краской поздравления ему, она радовалась за него, и в то же время словно бы тревога не давала разрастись этой радости. И чувствовала расположение к нему, и недоверие; как если б он был и другом Ему — и врагом; вроде и соратник — и соперник...

Старший сын с невесткой симпатизировали этому человеку безоговорочно. Они буквально болели за него — совсем так, как за какого-нибудь спортсмена на соревнованиях, — и следили за всеми перипетиями его предвыборной борьбы. И когда он победил, то с неделю все их разговоры за вечерним столом так или иначе сворачивали на него. «Во дает! — У, он еще даст! — Так свалиться — и так подняться! — Другой бы ни в жизнь не смог, а он сумел!» — перебрасывались они друг с другом восторженными фразами. Да, сумел бы, если б Он не захотел, думалось ей, но вслух она ничего не произносила. Если бы те восторженные слова говорил только

сын, она бы ему ответила, но их говорила и невестка, а с невесткой она, непонятно для самой себя, не решалась ввязываться ни в какой спор. Словно бы действительно боялась невестки и старалась оберечь себя от ее возможного недоброжелательства.

— Да бросьте вы, «свалился», «поднялся»! — не выдерживал, взрылся от разговоров молодых муж. — Там все заранее расписано, просчитано на двадцать ходов вперед, что я, не знаю систему?! Все расписали, роли раздали и теперь играют. Для чего спектакль разыгрывают — вот в чем вопрос!

И она снова молчала, не реагировала теперь на слова мужа. Ей, впрочем, было это не очень сложно. Она знала, чем они продиктованы, и, что он ни говорил, ее не задевало. Он, как того и следовало ожидать, проиграл на выборах. В тот специальный список он не попал — не по его рангу было оказаться в нем*, — а в открытом соперничестве провалился так оглушительно, что не мог, конечно, не кипеть теперь желчью. Провал был тем оглушительнее, что его обошел какой-то совсем мальчишка, едва постарше собственного старшего сына, некий младший сотрудник из третьестепенной научной конторы, и вот теперь этот мальчишка покатит в Москву, будет заседать там, принимать решения, а он — читай о том в газетных отчетах!

Однако она не сочувствовала мужу даже теперь, задним числом. Наоборот, некое мстительное удовольствие было в ней: получил?! Думал, все на блюдечке с голубой каемочкой будет? Фига с два! Покушай-ка вот из корытца! Словно он был ей не мужем, словно бы его судьба не имела никакого касательства к судьбе ее, словно они не были связаны так накрепко, что его худо непременно должно было отозваться на ней.

Да, надо сказать, что теперь, после выборов, она пребывала в такой тревоге, в таком напряженном ожидании расплаты, что ей и не могло быть особого дела до мужа. Теперь, после выборов, следовало ждать той самой жатвы, которая должна была воспоследовать ответом на свершившееся, и какая цена будет назначена, что будет востребовано платой? — мысль об этом пробуждала ее в страхе даже среди ночи, и до того было невыносимо ждать, что временами в ней, когда просыпалась вот так, звучало то же: «А не просыпаться бы...»

Но долго ждать не пришлось. Полторы недели, всего лишь. Подводная лодка, ухнувшая в ледяную пучину Норвежского моря, была не обыкновенной, а опять с ядерным реактором, и имела на борту две торпеды с ядерным зарядом, и если сорок два погибших моряка следовало считать жертвой прямой, то сколько людей было обречено сделаться косвенной, — в том неизвестном будущем, в которое протянула свой дамоклов меч готовая ударить фонтаном радиации с океанского дна атомная смерть? **

«Нет, никогда, ни в коем случае!» — с ужасом твердила она про себя тоже давно не возникавшие в ней слова, узнав о случившемся. Хотя и ожидала чего-то подобного, вынести все это было невозможно.

Она думала, что может и в самом деле свихнуться. Она перестала спать, никакое снотворное из тех, что ей выписали, ее не брало, бродила неприкаянно, сжимая руки, в ночной темени по дому, стараясь, чтобы никто не услышал звука шагов, а особенно страшась того, что муж заметит ее отсутствие в постели и все в конце концов завершится вызовом врача... хотя и понимала вместе с тем, что еще одна, еще другая такая ночь, и не выдержит этой бессонницы, побежит к врачу, прося облегчения, сама. Мозг в черепной коробке будто распух, сделался горячим, он как бы закипал, все ближе и ближе подходил к точке кипения, — и вот когда закипел бы, это и значило бы, что она и в самом деле свихнулась.

* Кроме как всеобщим, всенародным голосованием депутаты на съезд согласно утвержденному предыдущим Верховным Советом закону избирались еще и от различных общественных организаций. Общее число депутатов, избранных от общественных организаций, составило треть депутатского корпуса. Больше всего «общественных» депутатов было избрано от Коммунистической партии Советского Союза. Депутатом от КПСС являлся и М. Горбачев.

** Атомная подводная лодка «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 г. в Норвежском море примерно в 180 км к юго-западу от острова Медвежий. Большинство моряков погибло от переохлаждения организма во время пребывания в ледяной воде из-за отсутствия гидрокостюмов с подогревом. Над ними кружили самолеты, сбрасывая спасательные плоты, а у них не было сил до этих плотов доплыть.

Вполне вероятно, она бы действительно оказалась в больнице, если бы то, что случилось следом, стало известно ей на какой-нибудь день позднее. — из официальных сообщений, а не от мужа. Однако известие о происшедшем в ночь на девятое апреля в одном из столичных городов на Кавказе принес домой, получив его по своим негласным рабочим каналам, муж. Девятнадцать человек — все женщины — было убито там при разгоне демонстрации. Раздавлено бронетранспортерами, зарублено остро отточенными саперными лопатками, отравлено боевыми газами*.

И эти девятнадцать убитых вернули ее к жизни. Так, должно быть, клин вышибается клином. Слово бы своей смертью они заперли в сознании Альбины тот провал, который образовался от предыдущих смертей, и сила ее перестала вытекать туда. Как что-то заостенело в ней от полученного известия — вмиг, в ту же секунду, едва он поведal ей об еще державшемся в тайне побоище, — схватилось упругой металлической крепостью. Наступавшее будущее отверзло перед нею свои двери во всю ширь, и она увидела впереди бесконечную череду смертей, все возрастающий и возрастающий их счет, и увидела, как растет и растет число тех мест, где смертям суждено свершаться... и какое же право имела она на слабость? Как она могла отдать себя чувствам? Не имела права, не могла отдать. Все эти смерти не должны ее больше трогать, она обязана перестать видеть и слышать их, чему назначено свершиться — тому свершиться, и воля ее должна быть выше всех чувств.

Наставшую ночь она спала таким глубоким, мертвым сном, что утром ее не могли добудиться, и еле поднялась, когда уже все позавтракали и разбегались. И спала так же новую ночь, и следующую за ней — отсыпаясь, восстанавливая силы, — а потом полностью вошла в норму, вернулась в обычную свою, повседневную колею, будто нигде ничего не произошло. Она чувствовала в себе холодное, твердое спокойствие, даже некое избыточное спокойствие, бесстрастную, чуть ли не безмятежную уравновешенность, временами ей делалось дурно от себя такой, но уж какой была, такой и была, оставалось принимать себя, какая есть.

И с этим холодным, твердым спокойствием она встретила сообщение о кампаниях против двух следователей, что уже года полтора занимались расследованием преступлений в высших властных сферах, об открытии, в свою очередь, уголовных дел против них**, — за все необходимо было уплатить, и человеческими судьбами — прежде всего. И так же спокойно и хладнокровно восприняла сообщение об ужасной резне в Фергане, отнявшей жизнь у ста двенадцати турок-месхетинцев, высланных туда в свою пору, еще до ее рождения, с гор Кавказа уроженцем этих гор***, и совпавшее с ним другое сообщение — о взрыве нефтепровода под Уфой, когда вместе с аварийным участком взлетели на воздух, кореза друг друга, два

* В течение нескольких дней в столице Грузинской ССР Тбилиси на одной из центральных площадей шли круглосуточные демонстрации, лозунгами которых было отсоединение Грузии от СССР. В ночь с 8 на 9 апреля 1989 г. была предпринята попытка вытеснения демонстрантов с площади войсками.

** 15 мая 1989 г. в Прокуратуру СССР обратился член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев, требуя расследовать факт выступления Н. Иванова по Ленинградскому телевидению, в котором тот обвинил некоторых членов политического руководства СССР, в том числе и Е. Лигачева, в причастности к делу о взяточничестве в Узбекистане. Через два дня, 17 мая, с подобным же заявлением в Прокуратуру СССР обратился М. Соломенцев, также член Политбюро ЦК КПСС в недавнем прошлом. 20 мая газета «Правда» под заголовком «В Президиуме Верховного Совета СССР» за подписями одиннадцати человек, среди которых были Генеральный прокурор СССР А. Сухарев, министр внутренних дел В. Бакатин, министр юстиции Б. Кравцов, председатель КГБ В. Крючков, опубликовала текст заявления срочно созданной комиссии по проверке жалоб на следственную работу Т. Гдяна и Н. Иванова. Основной вывод комиссии состоял в следующем: «...полагали бы необходимым: Поручить Прокуратуре СССР организовать тщательную проверку всех заявлений и сообщений о нарушениях законности Гдяном и Ивановым при расследовании ими уголовных дел».

*** Данные погромы произошли 3—4 июня 1989 г. в нескольких городах Ферганской области (Узбекская ССР): Фергане, Коканде, Яйпане. ТАСС сообщил об этом следующим образом: «...экстремистскими элементами спровоцированы беспорядки на межнациональной основе, которые сопровождаются многочисленными избиениями граждан, поджогами домов и автомобилей» («Правда» от 5 июня 1989 г.).

проносившихся встречно пассажирских поездов, перемешав своих пассажиров с железом вагонов *, — расчет человеческой кровью был еще более предпочтителен, чем просто судьбами.

Впрочем, это уже произошло летом, в самом начале его, в разгар съезда. Лето грянуло классическое: с кучевыми высокими облаками, молочно стоящими на жарком голубом небе, с налетающими быстрыми грозами, после которых земля долго чмокала, поглощая пролившуюся на нее влагу, а в воздухе держался, тяжеля его, водяной пар, отцвела вишня, зацвели розово яблони, огород, которым нынешнюю весну она опять почти не занималась, ярко полыхал молодым изумрудом пырея и конского щавеля. А сам съезд открылся в последние дни мая **, и, как ей того хотелось, все его заседания показывали по телевизору и передавали по радио, и она следила за каждой минутой его работы, а если что пропускала по какой-то причине, старалась увидеть или услышать в повторных трансляциях, стала знать депутатов, различать их по политическим взглядам, завела себе блокнотик с их именами, — ей были важны самые незначительные, самые тончайшие, так вернее, нюансы съездовской атмосферы.

И Он, видела она, жадно ловя Его речь, наблюдая за мимикой Его лица, побеждал. Отступая, маневрируя, вроде бы уже сдаваясь, — побеждал. О, как Ему приходилось маневрировать, какое виртуозное мастерство демонстрировал Он в искусстве маневра! Особенно это было заметно по тому, как Он покровительствовал академику со светящимся прозрачным пушком седых волос на голове, недавнему поднадзорному ссыльному за свое несогласие с прежним верховным синклитом ***. Зал ревел, не давая академику слова, и Он вроде бы был солидарен с залом, а выходило в конце концов — давал непременно.

И вот из таких маленьких, ничтожных каждая по отдельности побед, цеплявшихся одна за другую, подобно звеньям цепи, должна была сложиться победа большая. Победа, которую бы должно написать с большой буквы. Но что это за победа, в чем ее смысл, она не знала. Да она и не хотела знать, ни к чему было ей знать. Она доверяла Ему. Она лишь знала, что цена, которую придется уплатить за ту большую Победу, будет громадной, может быть, даже непомерно громадной, чудовищной. Он, наверное, о том не ведал. Даже наверняка не ведал. Полководец, ведущий битву, должен думать лишь о победе, а не о ее цене. Достаточно того, что знала цену она. Знала — и была ответственна, чтобы Он победил несмотря ни на что. Сколько бы ни пришлось заплатить.

20

Что-то она нехорошо себя чувствовала. Какие-то приступы слабости нападали на нее — не могла ничего делать, руки не поднимались, ноги не держали, хотелось лечь и лежать, но и лежать не было сил: всю как-то выкручивало и ломало внутри, будто некие гигантские руки выжимали ее, подобно мокрому белью, что сидеть, что стоять, что лежать — все было невмогуту, и словно бы глухой утробный вой, ни на мгновение не прекращаясь, звучал в груди, рвался наружу, и временами, не в состоянии сдержаться, когда оказывалась одна, выпускала его из себя протяжным стоном. Приступы эти случались с нею и на работе, и если в такие моменты оказывалась одна — металась на подгибающихся ногах по своей комнате, как по клетке, из угла в угол, хваталась руками за лицо, мяла его ладонями, вцеплялась ногтями в кожу, и хотелось разодрать ее до крови, хотелось боли, хотелось, чтобы текло по лицу и теплый, солоноватый вкус на губах...

* «3 июня в 23 часа 14 минут по московскому времени на продуктопроводе сжиженного газа в непосредственной близости от участка железной дороги Челябинск — Уфа в результате аварии возникла сильная утечка газа. При прохождении двух встречных пассажирских поездов назначением Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск произошли взрыв большой силы и возгорание» (Сообщение «От ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР», «Московская правда» от 6 июня 1989 г.).

** I съезд народных депутатов СССР начал свою работу 25 мая и закончил 9 июня 1989 г.

*** Андрей Дмитриевич Сахаров.

Она и раздирала себя до крови. А после, спохватившись, сидела с зеркальцем и пудрилась, затирала ранки до исчезновения.

Однажды, когда очнулась от причиненной себе боли и только взялась за пудреницу, вошла бухгалтерша. И хорошо же, что это была она, никто другой. В глазах бухгалтерши Альбина увидела смятение и страх.

— Ты... чего? — спросила бухгалтерша. — Что с тобой?

Она спросила теми самыми словами, как тогда, по возвращении Альбины из больницы, и Альбина, испытывая острое чувство стыда и позора, вспомнила, как ответила тогда, и ответила точно так же сейчас:

— Геморрой что-то!

— Нет... а это... с лицом-то, — спотыкаясь на каждом слове, выговорила бухгалтерша. И ее осенило: — Что, так ударило, что и в лицо даже?

— Не говори, — злаясь на себя и злаясь на бухгалтершу, что вынуждена нести подобную чушь, сказала Альбина. — Так ударило.

— К знахарке тебе надо, — вглядываясь в ее лицо, решительно произнесла бухгалтерша. — Почечуй, кроме знахарей, никто не лечит. Я же как, только знахаркой спаслась. Дала она мне бутылку пол-литровую, я выпила, и у меня, как у младенца, там стало.

— Меня к ней направить — получится у тебя? — Альбина вдруг подумала: может, ей в самом деле пойти к знахарке? Кто знает, а ну как даст такую вот поллитровку...

— Нет, та умерла. — Бухгалтерша выразительно поджала губы и помолчала мгновение. — А вот я слышала, наводку тебе могу дать: одна тут лечится у какой-то, рак у нее, врачи оперировать собирались, так вроде бабка остановила ей, снова бегом бегают... ой, да ты знаешь ее, ну, Таня, птичница-то, яйца ты еще берешь у нее!

— У Татьяны рак? — Альбина не знала этого. Она уже давно не брала у той яйца, как не брала теперь молоко у Семена. Непонятно почему и вышло, что перестала брать, но ходила, ходила — и перестала ходить, и к ней, и к нему. Татьяна, как начала тогда, перестав носить яйца домой, так и попрекала все чем-то, в чем-то винила — непонятно в чем, а Семен, тот мучил и мучил своими беседами, и в конце концов нашла для себя лучшим и яйца, и молоко брать в магазине.

— Да уж года полтора, как нашли у нее! — удивилась бухгалтерша, что Альбина не знает про птичницу. — И главное, запущенный был, когда к врачам обратилась!

Теперь Альбина вспомнила, что той весной, отказываясь носить яйца, Татьяна объясняла свое решение ногами: устают, не ходят, нет сил. Возможно, тогда уже и была больна.

Но обращаться к Татьяне, просить свести со своей знахаркой — к этому она не была готова. Опять неизбежно выслушивать непонятные, бессмысленные попреки, скреплять себя на молчание ради рекомендации...

— Ладно, — сказала она бухгалтерше, — буду знать. Вдруг действительно...

— Попробуй, попробуй, — с жаром поддержала бухгалтерша. — Геморрой — это ж такое дело...

Альбина видела по ее глазам: бухгалтерша все время ждет от нее подтверждения тому диагнозу, что проставлен шифром в больничном листе, ждет — и боится, и сейчас испытывает облегчение, что подтверждение опять не состоялось. Хотя, безусловно, и невольное разочарование вместе с тем.

Бухгалтерша ушла, забыв сообщить, зачем, собственно, приходила, а Альбина, снова уставая на себя в зеркало, подумала с ощущением отчаяния: что за дохлая кляча стала, что такое, ведь ужас, ужас!

Дом она совсем забросила. Ничего не стиралось, не гладились, вещи, вынутые со своих мест, неделями валялись потом где попало, не было сил готовить еду. — и все ели, что придется, не ели, а перекусывали: жевали бутерброды да жарили яичницу. Муж ярился, искал утром рубашку — и нечего оказывалось надеть, возвращался вечером — стол был не накрыт, и ярость его увеличивалась еще от того, что происходило вокруг. Ну, подумаешь, ну снова яичница, ты на работе, что ли, супа не ел, говорила она ему. Чего так вскидываться, тоже мне, яичница ему надоела! Зная опытом, чем теперь сможет закончиться препирательство с нею, он не решался отпустить вожжи своему гневу, однако тот требовал выхода, и, багрово на-

лившись кровью, жвав кулаки, муж находил способ освободить себя от избыточного давления.

— Я дома расслабиться могу?! — восклицал он. — Я дома расслабиться должен! Я в такой атмосфере варюсь... ведь меня это все напрямую касается, что происходит, видишь?! Видишь, что он творит, этот меченый? Распродает нас, как скотину рабочую! Стену в Берлине строили, строили — давайте, рушьте ее! Германию отдал, Чехословакию просрал, в Румынии до чего довел — первого человека к стенке поставили! Вместе с женой, межд прочим, та-та-та — и нет, а мы не вступились! *. Это дело, да? А он, сукин сын, с Америкой миловаться, встреча на высшем уровне, договор с нею! **. Продав нас Америке со всеми потрохами, можно так?! Народовластие это устроил... говорильню эту... куда катимся с этим народовластием?! ***. Коньяка хорошего даже у нас в буфете купить стало нельзя!

— Ничего, плохим переберешься, — спокойно отвечала она.

Он выплескивал свой гнев в боковое русло, не осмеливаясь обрушиться на нее, — и это ее вполне устраивало. А то, что муж сволочил Его, ее совершенно не трогало. Собака лает, ветер носит. Она была уверена в надежности Его позиций и в Его безопасности. Она знала, с Ним сейчас ничего не может случиться дурного. Ничего такого, что повредило бы Ему. Разогнанные ею качели ходили с колоссальной, умопомрачительной скоростью, путь, который они проделывали, проносясь из одной мертвой точки в другую, увеличился многократно, движение их обрело невероятную, чудовищную инерцию, — никакая сила не могла их остановить, не было такой силы, а если бы встала на дороге, ее бы смело в сторону ничего не значащей, незаметной пушинкой.

Правда, из-за своего состояния ей трудно было следить за Ним так, как бы хотелось. Хотелось — с неотрывностью, за каждым шагом, каждым словом, которое Он произносил, но новый съезд, его заседания, которые Он, как правило, вел, показывали теперь ночью, иногда далеко за полночь, и у нее не было никаких сил сидеть перед телевизором столько. Однако и это ее не беспокоило. Умер неожиданной, скоростижной смертью тот академик с седым венчиком волос на голове ****, которому Он протежировал, который был нужен Ему; немного спустя столица другой кавказской республики разразилась кровавой резней, подобной той, что уже была в этой республике без малого два года назад *****, а при вступлении

* Во время визита в Восточную Германию (7—8 октября 1989 г.) М. Горбачев заявил, что Берлинская стена, разделяющая Берлин на восточный и западный секторы, необходима для сохранения стабильности в Европе. Вместе с тем при разговоре на улице с простыми немцами в ответ на их сетования, что в ГДР в отличие от СССР нет перемен, сказал, что дело перемен в стране — в их собственных руках. Менее чем через месяц Берлинская стена была разрушена толпами молодежи, руководитель страны Э. Хонеккер арестован, и начался стремительный процесс воссоединения Восточной Германии и Западной. Осенью этого же 1989 г. в Чехословакии произошла «бархатная революция», в результате которой к власти пришли противники коммунистического режима, президентом был избран диссидент, недавний политзаключенный, драматург В. Гавел. В Румынии 22—24 декабря 1989 г. вспыхнуло народное восстание, сопровождавшееся многочисленными жертвами. Был создан Фронт национального спасения, который возглавил опальный функционер бывшего руководства страны И. Илиеску. Арестованный глава страны, руководитель национальной компартии Н. Чаушеску после скорого (длительностью примерно час), наспех организованного суда явной политической окраски был расстрелян вместе с женой. Суд и расстрел были засняты на пленку французскими тележурналистами и показаны телевизионными компаниями всего мира, в том числе и телевидением СССР.

** Во время проходившей в конце декабря 1989 г. встречи М. Горбачева и нового президента США Д. Буша, который сменил на этом посту Р. Рейгана, состоялось подписание межгосударственных документов, практически положивших конец длившейся сорок с лишним лет «холодной войне».

*** 12—24 декабря 1989 г. в Москве проходил 2-й съезд народных депутатов СССР.

**** А. Д. Сахаров умер 14 декабря 1989 г. в возрасте 68 лет.

***** В течение нескольких дней, 15—18 января 1990 г., в столице Азербайджанской ССР Баку шли армянские погромы. Было убито несколько десятков человек, несколько тысяч армян бежало из города. Первый такой погром имел место в г. Сумгаите 28 февраля 1988 г.

в город армейских частей для прекращения погромов погибли под гусеницами танков, от автоматных трасс из их люков новые десятки людей*, — все это было ужасно, одно хуже другого, это были удары, от которых Он в прежние времена уже не оправился бы, упал — и не встал бы, но сейчас Он выдержал их, будто укрытый броней, и Его ответный удар был сокрушителен: собравшиеся на свой совет высшие бонзы партии против собственной воли, против желания, не посмев поперечить ни единым словом, подняли руки за то, чтобы их партия не была больше единственной на всю страну, чтобы могли существовать и бороться с нею за власть другие! **.

Все шло, как должно было идти; так лишь и могло идти, никак иначе; за все предстояло заплатить, и, может быть, взятая кровавая плата была еще не самой высокой...

Но жить в таком состоянии, в каком она находилась, было невозможно. Она уже без малого два месяца боролась со своей немощью в одиночку, и уже измучилась, уже надорвалась и чувствовала, что долго одна не продержится. Ей требовалась какая-то помощь, какая — этого она не знала, просто все ее существо вопило о помощи, просило ее, и ясно было, что сама по себе ниоткуда та не придет, под лежащий камень вода не течет, — надо искать эту помощь.

— Может, тебе, слушай, к врачу пойти? — осторожно предложила Нина, когда при встрече Альбина рассказала ей об одолевающих ее приступах.

Они не виделись очень давно, в последний раз год, пожалуй, назад, сразу после больницы, еще до того, как пошла на работу, а потом перезванивались, перезванивались — и все почему-то не получалась встреча. И впервые за все время была встреча не в радость, не возникало того прежнего чувства полета, ради которого всегда и встречались, и не было прежней откровенности и доверительности. Впервые Нина ничего не рассказывала о новом своем любовнике, обмолвилась двумя словами и закончила: «А, в общем!.. Сама понимаешь», — и впервые Альбине не хотелось делиться с нею ничем своим, и она даже понукнула себя на рассказ, заставила себя поделиться, чтобы хотя бы немного встреча походила на прежние. И едва ли в том было дело, что не сумели достать шампанского, а домашнего своего вина она нынче не сделала, пришлось поставить на стол полуопорожненную мужем бутылку коньяка, коньяк не пился, и ни у той, ни у другой не было ни в одном глазу. Раньше пьянели совсем не от шампанского с вином. Похоже, ее больница подвела некую черту под их отношениями. Что-то такое надломилось незаметно, и уже не склеить. Возможно, окажись она в больнице вновь, Нина бы опять ездил к ней туда что ни день, а вот для этой обыденной жизни, видимо, они были теперь слишком чужды друг другу, чем — непонятно, начини выражать словами — не выразишь, но чужды, несомненно. Ну как, например, прежняя Нина могла ей советовать обратиться к врачу? Это же тотчас — снова психушка, и без всякого выбора.

— Нет, ты знаешь, — сказала она Нине, не став обсуждать ее предложения, — мне вот тут о знахарке говорили, есть будто бы где-то в наших краях, может быть, к знахарке?

— К знахарке — хорошо! — тут же, не задумавшись даже и на мгновение, подхватила Нина. — К знахарке — отлично! А может, у тебя какой сглаз, так кто тут, кроме знахарки, что?

Может быть, и в самом деле пойти к знахарке, как тогда, в разговоре с бухгалтершей, вновь подумалось Альбине.

— Не знаешь никого, кто бы мог вывести на нее? — спросила она. Нина возвела глаза к потолку, словно бы перебирая в уме знакомых.

* Войска Советской армии были введены в Баку уже практически после завершения погромов, когда в городе некого больше было защищать, — в ночь с 20 на 21 января 1990 г. Войска, однако, были проинформированы, что они идут для пресечения погромов, и действовали в соответствии с этим.

** Прошедший в январе 1990 г. Пленум ЦК КПСС признал необходимость упразднения статьи 6-й Конституции СССР, где говорилось о руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества, а также согласился с принципиальной возможностью существования других партий помимо коммунистической.

— Да что-то, скажу я тебе... — И ее будто бы осенило: — Да никаких рекомендаций не надо! Они же сейчас не таятся, наоборот — на экран телевизора лезут. Пусть твой благоверный по своей линии пошурудит, наверняка они где-то там на всяких учетах теперь стоят.

От безучастности, с какой Нина отпихнулась от ее просьбы, Альбину помимо воли всю перекоरेжило внутри неприязнью к ней. Кто там и где брал знахарей на какой-то учет, это же надо было изобрести такое!

Она вдруг с ясной, некоей провидческой отчетливостью увидела, что это их последняя встреча и больше не будет.

Они встретились нынче у нее в доме, и так им обычно хорошо было встречаться именно у нее: громадные пустые пространства двух этажей, громада свободного времени среди этих пространств... и вот уже не встречаться. И вина в том не Нины, это ее вина. Это она изменилась так, что она нынешняя стала в тяжесть Нине, превратилась в обузу, от которой следует освободиться.

Но, понимая это, она сделала нечто совершенно невообразимое. Такое, о чем не могла и помыслить, чего никогда не могла бы себе позволить, — и однако же позволила, сделала однако.

— Знаешь, милая моя, — сказала она, перегибаясь через стол, беря Нинину рюмку и со стуком ставя ту около себя, — не хочется тебе глядеть на меня — не гляди, не заставляю! Не естся, не пьется — скатертью дорога, катись!

И будто наблюдала за собой со стороны — ахнула, что говорит, закричала протестующе: нет! нет! Но ахнула с ужасом и закричала та, что наблюдала со стороны, а та, совершившая это действие с рюмкой, с какой-то злобной, холодной мстительностью следила, как Нина пошла красными пятнами, как лепетала что-то недоуменное, а потом вскочила, бросилась в прихожую...

И лишь когда Нина ушла, когда закрылась за нею дверь, а в распахнутую форточку донесся стук захлопнувшейся калитки, лишь после этого, какие-то минуты спустя, та, что кричала «Нет!», и та, что сделала все это, соединились. Они соединились — и на нее обрушилось такое бессилие, такая неимоверная, никогда еще до того не посещавшая ее немочь, что подогнулись ноги, и она рухнула на пол, и, катаясь по нему, колотила себя кулаками, рвала, выдирала волосы, царапала, не ощущая боли, ногтями лицо, и выла зверино, выкрикивала утробно, обдирая горло:

— Не могу! Не могу! Не могу!..

Стояла середина зимы, самое начало февраля, морозило, вьюжило, сыпало с неба колочим снегом... а к знахарке она попала уже в марте. Уже дышало весной, уже в воздухе пахло талой водой, сугробы чернели и проседали; впрочем, она ничего, происходящего в природе, не замечала: этот безумный утробный крик, вырвавшийся из нее в тот февральский день, когда выгнала из дома подругу, раздирал ей грудь неумолчным воем и делал ее неспособной видеть вокруг что-либо. Знахарка была та самая, которая будто бы подняла на ноги Татьяну-птичницу. Альбина уговорила бухгалтершу взять на себя роль посредницы, бухгалтерша сходила к Татьяне и принесла адрес.

Знахарка жила в деревне, ехать туда оказалось нужно лесной дорогой, которую Альбина открыла для себя, катаясь на лыжах. Дорога еще держалась, но уже начала расквашиваться, колесные трактора пробили в ней глубокие коричневые колеи, и персональная «Волга» мужа, полученная ею на поездку, то и дело садилась на брюхо, задние колеса бешено вращались в пустоте, и шofer, весь кипя, вылезал наружу, открывал багажник, доставал оттуда лопату, ложился, подстелив фуфайку, и принимался долбить слежавшийся снег под брюхом машины, чтобы она опустилась на колеса. Несмотря на фуфайку, которую стелил под себя, через полчаса такого пути он весь был мокр, от него тяжело ударило запахом пота, и, стронувшись наконец с места в очередной раз, он говорил Альбине, дозволяя себе даже и матерок:

— Нет, все, узнавайте другую дорогу, этой я больше не поеду! Еще назад возвращаться! Конец света. Узнавайте как хотите, а больше этой не езжу!

Но больше ехать и не пришлось. Одного раза вполне хватило.

Знахарка жила в обычной избе, стоявшей посередине деревни, не боль-

ше других и не выделявшейся никакими украшениями или пристройками, но найти ее не стоило никакого труда: около палисадника стояло с десяток легковых автомобилей, стояла пара мотоциклов, стоял даже небольшой автобус, а около калитки и во дворе толокся народ — мужчины, женщины, старики, дети, — и это был лишь конец очереди, а начало ее, как выяснилось, скрывалось в сених. «Ничего, ничего, — успокоила Альбину женщина с ребенком, за которой она заняла очередь. — Тут долго только те, кто по первому разу. Мы вот четвертый раз, так первый — минут десять, а потом — минута-другая да и иди. Часа на три очередь, так готовься».

Три часа, с ума сойти, стоном отозвалось в Альбине. Она не представляла, как ей вытерпеть три часа ожидания. Такое изнеможение было во всем теле — словно его разнимало в суставах по косточкам, не было у нее сил ждать три часа.

Однако ждать ей пришлось всего несколько минут. В сених вдруг произошло движение, там загомонили, и по ступеням крыльца на расчищенную от снега, утоптанную площадку перед ним сбежала легонькая, сухая старушка, простоволосая и в цветастом фартуке поверх домашнего платья. Она что-то спросила людей, топтавшихся около крыльца, те, отвечая ей, дружно обернулись в сторону калитки, и от человека к человеку понеслось: «Последний! Где последний? Вот приехал только что?»

Альбина решила, что определяют того, на ком прием сегодня будет закончен. Я, подняла она руку, я последняя. И, подстегнув себя, пошла по широко расчищенной в сугробах дорожке в глубь двора.

— Я последняя, — сказала она сухонькой старушке в фартуке, приближаясь. — Но вы заметьте, кто передо мной. Женщина там с ребенком. Я, наверное, не буду стоять, уеду.

— Ага, не надо стоять, пойдем, — поманила ее следовать за собой старушка. — Пойдем, зовет тебя. Пойдем, холодно мне, пойдем скорее!

Недоумевая, Альбина двинулась за ней, поднялась на крыльцо, вошла в сени. Люди, стоявшие там, молча расступались перед ними, вглядывались в лицо Альбины с любопытством и завистью. Позвала чего-то, будто бы кто последний, поймешь разве, надо чего-то, услышала Альбина голоса за спиной. Хочет заметить меня сама, не доверяет никому? — подумалось ей с невольным неудовольствием.

И внутри изба тоже оказалась совершенно обычным деревенским домом. С выпершей вперед мощною русской печью, чисто побеленной мелом, с цветастой ситцевой занавеской, укрывавшей от глаза полаты, стояли на лавках кринки с корчагами, покрытые сверху чистыми полотняными тряпочками, стояли чугуны со ступками. И только вот этих ступок с торчащими из них пестами, медных и чугунных, самых разнообразных размеров, вплоть до громадной, полведерной, неподъемной, наверное, только их было ненормально много для обычного деревенского дома. Травы толочь, наверное, машинально отметила про себя Альбина. Обычного ли вида горница, как обставлена и находился ли в ней, кроме знахарки, кто еще, Альбина не запомнила. Она запомнила только знахарку, и с такой отчетливостью, будто пробыла с нею некое долгое, неизмеримое время, хотя на самом деле ее пребывание у знахарки длилось едва ли более десяти минут.

Знахарка в отличие от своей похожей на перышко посылной была старухой большой, громоздкой, с широким большим лицом, усеянным бородавками, она сидела в широком объемном кресле с одной стороны окна, а напротив, с другой стороны, стояло такое же пустое — видимо, для пациента. Жидкие, но только лишь чуть седые черные волосы знахарки были убраны под черный платок с белым горошком по полю, и концы платка, завязанного под подбородком, терялись на черном глухом платье, в которое она была одета. Знахарка сидела, облокотившись о круглые подлокотники кресла и сложив руки одна на другую перед собой на животе, ноги ее в толстых шерстяных носках тоже были перекрещены и зацеплены мысками за круглые ножки кресла. Но больше всего Альбине бросились тогда в глаза ее крупные, тяжелые бородавки, которых было на лице не менее десятка. А что, себя от бородавок не может избавить? — мелькнуло у нее с неприязнью.

— Ух ты, сердечная, — не меняя своей позы, сказала знахарка, когда Альбина приблизилась к ней, — надо же, как измаялась-то, горемычная прямо...

Спину Альбине облило жгучим кипятком озноба. Волосы ей на голове шевельнуло, и все эти мысли о бородавках тотчас оставили ее, как их и не было. Знахарка почувствовала ее через стены, потому и позвала, что почувствовала, а вовсе не для того, чтобы отметить как последнюю.

— Садись, — кивнула знахарка на кресло напротив себя, и Альбина, не понимая, это она садится или кто другая, опустилась на его край.

— Ладом сядь, ладом, — потребовала знахарка, — расслабься и в глаза мне глянь. Дай я тебя рассмотрю как следует.

— Это... нужно? — зачем-то спросилось у Альбины помертвелыми губами.

Знахарка, действительно разглядывая ее, как неодушевленную вещь, ощупывая взглядом, будто руками, и все возвращаясь и возвращаясь взглядом к ее глазам, ничего не ответила ей.

— Здесь болит? — показала она потом на солнечное сплетение.

Альбина покивала молча. Она поняла, что ей — во всяком случае, пока — не нужно говорить ничего.

— У врачей лечилась?

Альбина вспомнила свое пребывание в больнице и снова покивала.

— В церковь ходишь?

Альбина помедлила с ответом. Можно ли было считать то ее давнее посещение церкви, что она ходит в нее?

— Некрещеная? — помогла ей с ответом знахарка.

Ага, ага, согласно покивала Альбина.

— Горемычная прямо, прямо горемычная... — опять сказала знахарка непонятно.

Она смолкла, продолжая ощупывать ее взглядом, и Альбина посмела разлепить губы:

— Вот я прямо не могу ничего — такая слабость. И не слабость даже, а вот...

Знахарка не стала слушать ее.

— Исхудала-то здорово, поди? — прервала она Альбину.

А ведь да, в самом деле, только сейчас, когда знахарка спросила ее, дошло до Альбины, она же ужасно похудела за этот прошедший год, после больницы. Похудела не только до прежних платьев, а и те стали ей велики, просто непристойно велики, и все пришлось ушивать!

— Как вы знаете? — не удержалась она от вопроса.

Но знахарка будто не слышала ее. Она повозилась на кресле, отцепила ноги от кресла, перекрестила их по-другому и снова зацепилась мысками.

— Болезнь твою я не вижу, — заговорила она, — а током от тебя бьет — сто молний в тебе. Спустить их нужно. Не спустишь — сгоришь. Чего некрещеная-то?

— Так... — Альбина почему-то испугалась. Ей показалось, она ответит — и знахарка прогонит ее. — Родители были неверующие... ну и...

— Чего сама не крестилась?

— Так вот... вот так вот... — пролепетала Альбина. Она боялась сказать знахарке, что никогда перед нею не стояло этой проблемы, жила и жила, и как-то не думалось о том.

— Неверующая, что ли? — спросила знахарка.

И это было не так; сказать, что неверующая, — тоже было бы сказать неправду, и она не знала, как ответить.

— Не-ет... видите ли... то есть... — забормотала она, и знахарка снова прервала ее:

— Ладно, твое дело. Была бы крещеная — пошла бы помолилась. Другим, глядишь, помогает.

— А если мне... — решила вставить со своим вопросом Альбина, — если мне настой какой-нибудь... если бы вы...

— Какой тебе настой, — сказала знахарка. — Не вижу твою болезнь. Молнии в тебе.

— А... а... — как тужась, выговорила Альбина, — это такое... что?

Знахарка перекрестилась.

— Пьет тебя кто-то. От него и молнии. Насыляет их на тебя. Горишь, и сок идет, и этот, кто насыляет, сок твой тот пьет. Вампир с тобой рядом.

По спине у Альбины снова прокатилась обжигающая волна ознобного ужаса. Она не понимала знахарку, но почти верила ей. Знахарка почувст-

вовала ее через стены дома и прониклась к ней сочувствием, а кроме того, знала о ней такое, догадаться о чем было немислимо.

— И-и... что? — сумела спросить она. — Что же мне делать? Может... заговоры какие-нибудь?

Знахарка покачала головой.

— Не знаю, горемычная, заговоров. Я травница, не колдунья. Хочешь жить — избавь себя от вампира. Сама уйди или прогони. Без всякой жалости, как собаку шелудивую.

— А как я узнаю, кто это? Есть способы?

— Понять должна. Вот этим местом. — Знахарка подняла свои крупные, почти мужские руки с живота и приложила к груди. — Не поймешь — сгоришь, всю тебя выпьет. А поймешь — рви, хоть тебе это дочь родная.

— Сыновья у меня, — сказала зачем-то Альбина.

— Хоть сын. Ясно, горемычная?

Альбина вышла из горницы к русской печи со стоявшими подле нее лавками, покачиваясь. Знахарка крикнула ей вслед: «С этой не бери ничего!» Альбина с трудом повернулась, думая, что это к ней, но сухонькая старушка уже оказалась рядом, подхватила ее под руки и повлекла к выходу. «Это не тебе, не тебе, иди, милая, — скороговоркой приговаривала она на ходу. — Уже другие ждут, другим надо». Альбина приостановилась, сделав попытку открыть свою сумочку и достать деньги, но старушка ударила ее по рукам и снова пихнула к двери: «Ты что, ты зачем? С тебя ничего, ты что, не слышала?» «Почему с меня ничего?» — подумалось Альбине, но додумывать эту мысль было некогда, — старушка уже открыла перед нею дверь и подтолкнула вышагнуть в переполненные людьми сени, а переполненные сени уже сами собой вытеснили ее из своего темного закутка на крыльцо, а там — любопытствующие взгляды и любопытствующие вопросы, от которых хотелось убежать как можно скорее, и мысль о деньгах исчезла.

Вернуться к ней заставил водитель. «Что, сколько бабка дерет? — спросил он, когда уже ехали. Пока она отсутствовала, он выяснил у других автомобилистов более приличную дорогу, ехал ею, и настроение его улучшилось. — Я почему спрашиваю, матушка тут у меня... думаю, может, тоже свозить?» Понятия не имею сколько, пришлось ответить Альбине. Почему, действительно, с меня ничего, тут же, вдогонку ответу вновь подумалось ей. И мысль об этом мучила уже до самого конца пути, и не оставляла, когда оказалась дома, и получалось, что единственное объяснение тому. — потому что знахарка ничем не смогла помочь. А выводом из этого выходило, что помочь себе может только она сама, все в ее собственных руках, и не сможет — ничьей вины, кроме ее личной, в том, что с нею случится, не будет.

Вечером за ужином она приглядывалась к сыновьям. В ушах стоял голос знахарки: «А хоть и сын!» Младший нынче чудом был дома, обычно он появлялся за полночь, а то и совсем не появлялся, выговорив, а вернее, вырвав себе это право — не появляться, и что он там делал вне дома, чем занимался, — оставалось только надеяться, что урок прошлого все же пошел ему впрок. Нет, едва ли чтоб это был он, наблюдая, как он наворачивает за обе щеки, решила Альбина. Он так мало бывал около нее, она его совсем не видела, если он и пил ее соки, то совсем по-другому. Старший, наоборот, редкий вечер теперь отсутствовал дома, они с невесткой последнее время заделались совсем домоседами, утром — на работу, после работы — прямым ходом обратно. Закончив институт, он было распределился на один из городских заводов по специальности, но вскоре у них пошли всякие разговоры с отцом, муж что-то объяснял ему, даже покрикивал: «Мы в своих людях нуждаемся! Все там теперь будет решаться!» — и уже несколько месяцев старший занимал какую-то высокую должность в некоем возникшем недавно коммерческом банке. Сейчас он сидел за столом, держа корпус с идеальной прямизной, будто доска была привязана к его спине, со столовым прибором в руках, вилка в левой, нож в правой руке, хотя потребности в ноже по той еде, которую ели, не было никакой, — это он сделался таким, начав работать в банке, и в волосах у него появился ровный, прямо-таки лезвийный пробор. Нет, сказалось в Альбине, и он тоже едва ли. Можно было бы допустить вероятность подобного, если б он

не был так сосредоточен на себе. Зачем ему пить кого-то, — он упивался собой.

«Муж?» — подумала Альбина, переводя взгляд на того. С этого бы началось. Он теперь был ей непонятно кем. — совладельцем дома, наверно, не больше, она спала с ним за прошедший год, после выхода из больницы, считанное число раз, не возникало никакого желания, а если что и возникло, то скорее отвращение — и какие чувства ответно могло вызывать в нем такое ее поведение? Приходилось, наверно, искать на стороне, но одно дело прихватывать для сладости на стороне, когда у тебя дома на столе каша с мясом, и совсем другое — перебиваться изо дня в день конфетками да конфетками. Да еще по нынешней поре, когда у них с этими конфетками стало туго.

— Мамочка, соль подайте, около вас там стоит! — сказала невестка.

— Да-да, где-то здесь, — засуетилась, заметалась глазами по столу перед собой, отыскивая солонку, Альбина. — Вот, пожалуйста! — И, встав, передала соль невестке.

— Спасибо, мамочка! — сказала невестка, принимая солонку, улыбнулась благодарно, глаза их встретились, и Альбина поймала себя на том, что ее собственная ответная улыбка угодлива и подобострастна.

Она поймала себя на этом. — и ее озарило.

Словно в молниевой вспышке, она увидела все свои отношения с невесткой — с той встречи по ее выходу из больницы до нынешнего дня, — и они впервые предстали перед нею как непрерывная цепь этой угодливости и подобострастия. Она боялась невестки с того мгновения, как увидела ее в своем доме, боялась необъяснимо, беспричинно, она чувствовала себя с нею кроликом перед удавом и, страшась этого страха, изо всех сил отпихивалась от него, делая вид, будто его и нет. Словно бы какие невидимые волны исходили от невестки, заливали ее, накрывали с головой, она барахталась в них, пытаясь удержаться на поверхности, а они заливали и заливали ее... Боже праведный, ведь она едва не утонула в них!

Это была невестка. Невестка пила ее, никто другой. Невестка, несомненно.

— Шифоновое мое платье тебе как, хорошо? — необъяснимо для себя спросила Альбина.

Когда оказалось, что вся ее прежняя одежда болтается на ней, как на пугале, и пришлось все перешивать, невестка буквально повисла на Альбине, прося отдать несколько вещей, переделать которые не получилось: «Мамочка, кланусь, буду так осторожна — нигде не зацеплю, не испачкаю!» И носила она платья Альбины с каким-то особым удовольствием, видно было — прямо наслаждалась ими, упивалась, как особой, необыкновенной наградой, и Альбине, конечно, было это приятно.

— Я шифоновое не надевала еще. Не было случая, — отозвалась невестка. — Оно такое... ну, не для будней ведь. А сидит как... сидит изумительно. Я вам ужасно, мамочка, благодарна.

Она была удивительно почтительна к Альбине, всячески подчеркивала свою младшесть, вежлива была и предупредительна необыкновенно; казалось бы, что Альбине бояться ее?

И вообще она оказалась значительно лучше, чем то представлялось вначале. Никакой не девкой оказалась, а очень даже приличной, заботливой, внимательной женой. — это заметно было невооруженным глазом, по одному тому, как подбирала сыну галстук к костюму, а то, что любила тряпки, любила одеться да пофорсить, — так это нормальное дело для женщины, вполне естественное. И оказалась недурною хозяйкой: собственной волей потихоньку-помаленьку перенимала на себя брошенные Альбиной домашние дела, следила, чтобы имелось чистое постельное белье в гардеробе, а грязное вовремя бы сдавалось в прачечную, взяла под контроль холодильник, чтобы не пустовал, нашла какую-то женщину наводить чистоту в доме, — хозяйкой, хозяйкой оказалась!

Ага, вот именно, хозяйкой, уличающе, дополнительным обвинением прозвучало в Альбине. Получалось, что невестка отбирала уже у нее и дом!

— Ты вот что... знаешь ли, — чувствуя, как все в ней дрожит и трепещет от кроличьего страха, но полная истерической, звенящей решимости перебороть его, проговорила Альбина, не глядя в лицо невестке. — Ты шифоновое, знаешь ли... не надевай. Я его у тебя забираю. Я его сама буду носить.

Зачем она сказала это, что за глупость была — отбирать платье, которое, конечно же, если б поправилась, снова могла носить, как и любые другие? Но ей необходимо было сказать это, ей нужно было сделать что-то — для самой себя, и прямо сейчас, немедленно, — показать себе, что способна защититься, может пойти наперекор своему страху, и сделает шаг сейчас — пройдет потом и весь путь.

Старший сын, схватила она краем глаза, весь напрягся, опустил вилку с ножом в тарелку, лезвийный пробор сверкал у него в волосах, подобно кинжалному жалю.

— Ну-у... мама... если вы так... хотите... если вы так считаете, — потерянно сначала, слегка даже заикаясь, но потом обретая спокойствие и придавая голосу твердость, сказала невестка, — разумеется, если вы так считаете, то, конечно, мама.

Она жарко запунцовела, кровь залила ее всю: лицо, уши, шею, — но никаких ее чувств наружу не выплеснулось. И Альбина ощутила, что по-прежнему боится невестки, ощутила свой дрожащий кроличий хвостик и прижатые к черепу боязливые уши, — и осознала, что тот путь, который, казалось ей, впереди, должно пройти, не откладывая, раз решила ступить на него.

— А тебе я вот что... что хочу, — сказала она, взглядывая на старшего сына, к нему обращаясь, потому как к невестке — было немислимо. — Вы сколько будете здесь жить? Вы ж собирались отдельно. Квартиру там снимать... Сколько мне за вами... ухаживать. Что не ищите ничего, на отца с матерью сели?

— Подожди, подожди, — произнес сын, со звяком выпуская из рук вилку с ножом и замедленным, особо неторопливым движением сцепляя перед собой пальцы. — Что с тобою? Что случилось? Успокойся.

— То со мной случилось! Что, мать чиканутая, думаешь?! А если и чиканутая! Не было у вас денег снимать — жили, а теперь что? Сколько в своем банке теперь огребаешь? Давайте ищите себе квартиру, и чтоб духу вашего больше здесь не было!

Муж пытался увещевать ее, вставитьсь со своим словом, — она не дала ему произнести ничего связанного.

— А ты заткнись! Ты чего вообще? Защитник мне! Ты вообще молчи! Она преодолела себя, переступила порог, — и теперь ей было по силам все, что угодно. «Ай да молодец, ай да я, ай да вот так!» — одобрила она свое поведение с язвительно-трезвой усмешкой. Оказывается, одна она сидела за столом и кричала все это в беспамятстве, а другая она, с холодной, ясной головой, откуда-то извне, откуда-то со стороны наблюдала за той первой и даже, пожалуй, руководила ею.

21

— Что, Альбина Евгеньевна, — осторожно сказал врач, — может быть, давайте отдохнете? Ну, если тяжело. Оформим, давайте, инвалидность, ваш диагноз нам это позволяет. Будете пенсию получать, сможете больше времени проводить на воздухе...

— Какой мой диагноз? — с запозданием прервала его Альбина. — Что вы имеете в виду?

— Ну, какой-какой, — улыбнулся врач. — Вы же все прекрасно знаете. И вы интеллигентная женщина, вы понимаете, что ничего страшного в вашем диагнозе нет.

Альбина усмехнулась:

— В шизофрении-то?

— Ой, я вас прошу, Альбина Евгеньевна! — Врач был ласков и любезен до отвращения. — Их двести видов, шизофрении, вы же должны понимать. Это когда в молодости открывается — вот тогда тяжелый прогноз. А у вас так, нервы.

— Нет у меня никакой шизофрении, — сказала Альбина.

— Конечно, конечно, — лучась улыбкой, подтвердил врач. — Это только общее такое название... а вы просто устали, нервы у вас обтрепались, надо отдохнуть. И нужно воспользоваться вашим диагнозом. Отдохнете как следует, а потом снова пойдете на работу. Ну, не туда, где были, так в другое место. Я думаю, с этим делом проблем у кого-кого, а у вас не будет.

— Знаешь разве, откуда они вылезут, проблемы, — ненужно откомментировала его слова Альбина.

Она сидела у того самого врача-мужчины, который когда-то назначил ей в качестве лечения лыжки. Теперь, после больницы, он стал ее главным, основным врачом, и без его заключения никакой другой врач не мог ничего ни прописать ей, ни предписать. Она старалась попадать к нему как можно реже, хотя он и бомбардировал ее письмами с требованием прийти, показаться; если уж только никак не обойтись без него, тогда лишь и шла. И нынче была как раз подобная ситуация.

Она прогуляла на работе неделю с лишним. Не было сил ходить туда, заниматься всеми этими бумагами, подшивать, перепечатывать, видеть все те же и те же обрыдшие лица, — и не ходила, махнув рукой на последствия: что будет, то будет! У нее и прежде уже случались такие прогулы, но тогда муж снимал трубку и обо всем договаривался с председателем поссовета, а сейчас она не жила дома и что же, для того уходила из него, что бы обращаться к мужу за помощью?

— Нет, ну а что вас смущает, Альбина Евгеньевна? — спросил врач. — Оформим инвалидность, будете получать пенсию — и вам сразу станет легче: отпадет эта обязанность ходить на работу, которая так гнетет вас.

Засранец, подумала о враче Альбина. Знает за меня, что мне хуже, что лучше.

Она и не против была бы получить эту инвалидность, чтобы прикрыться, в самом деле, ею и жить, как того требовала ее главная нынешняя жизненная обязанность, чтобы быть свободной от всяких прочих, вроде работы в поссовете, но получить инвалидность — значило совсем уж попасть в зависимость от врача. Захочет — и отправит в больницу, как ты ни протестуй. А в больнице сотворят с ней такое... опять забудет обо всем, и о Нем тоже. Нет, ей следовало быть очень осторожной с врачом, ни в коем случае ни в чем не раскрываться перед ним, путать его и обманывать.

— А может, у меня опухоль? — не отвечая на вопрос врача, спросила она.

— Какая опухоль? — недоуменно вскинулся он.

— А вот, когда я тогда приходила, вы говорили.

Врач задумался, напряженно вспоминая.

— А, тогда! Ну, что вы. Это я просто предположение такое... Нет у вас никакой опухоли, анализы ваши ни на что подобное не указывают. А тогда, — вспомнил он еще, — мы вам прекрасную диспансеризацию провели — нет у вас ничего. А что это вы вдруг об опухоли? Вас что, мучают мысли о ней?

Чтоб тебе, ругнулась про себя Альбина. Она сообразила, что врач заподозрил ее теперь в новом навязчивом состоянии.

— Ничего меня не мучает, — сказала она. — Мне справка нужна. Задним числом. Что вам, трудно дать?

Врач, ласково улыбаясь, покачал головой.

— Задним числом — никак. Я же вам предлагаю, давайте инвалидность. Лучший выход.

— Не хочу я никакой инвалидности.

— Ну, тогда новые и новые неприятности, из-за того, из-за этого... будете реагировать, переживать, нервы вдребезги. — нужно это вам?

— Будут вдребезги — вот вы и будете виноваты. — Альбина встала со стула и пошла к выходу из кабинета. Она знала, что ей с ее диагнозом да особенно в этом кабинете вполне допустимо говорить подобные вещи. У порога, уже взявшись за ручку, она проговорила: — Чего б вам не дать...

И вышла, не дожидаясь ответа. Она не особо заботилась о том, чтобы поддерживать с врачом хорошие отношения. Она знала: она больше не попадет в эту больницу. Она им не даст такого повода, чтобы снова могли засадить ее туда.

Вызванный лифт остановился перед нею, она вошла в него, нажала кнопку первого этажа, и лифт, тихо пошоркивая тросом, понес ее вниз.

На первом этаже, когда двери открылись и вышагнула наружу, она вышагнула прямо на невестку, собиравшуюся садиться в лифт.

— Мама! — ахнула невестка. И не стала заходить в лифт, пошла, топчась и заглядывая сбоку в лицо, рядом. — Мама, подождите! Мама, од-

но слово, пожалуйста! — быстро приговаривала она на ходу, пытаясь остановить Альбину.

Альбина молча миновала холл, подъездный тамбур из стекла и белого металла и остановилась только уже на крыльце.

— Что такое случилось? — спросила она, оглядывая невестку.

Судя по всему, у той уже пошел седьмой месяц, живот уже был вполне отчетлив — не ошибешься, беременная или нет, и видимо, она пришла по какой-нибудь надобности к гинекологу. Одетая невестка была, отметила Альбина, в ее костюм — тот самый, что вместе покупали тогда по талону, давно слишком большой самой Альбине, а невестке сейчас оказавшийся впору, костюм был делового, строгого кроя и не очень шел невестке, диссонировал с ее молодым, даже юным обликом, и однако она была именно в нем. Может быть, подумалось Альбине, потому она так любила ее вещи, что это ей было необходимо, чтобы пить ее?

— Мама! — сказала невестка умоляющим голосом. — Ну, почему, почему? Я себя чувствую такой виноватой... Но в чем, в чем? Вы меня так заставляете терзаться. И это в моем положении! Чем мы вам так мешаем? Скажите, мы попробуем исправиться. Мама, пожалуйста, я прямо не могу, ведь я же с вашим внуком или внучкой хожу! Чем, чем мы вам так мешаем?!

А то не знаешь, вурдалачка, хотелось бросить Альбине, но она помнила, как однажды, все тогда же, когда после ее больницы ходили с невесткой покупать платье, совершенно неожиданно для себя проговорила невестке о своей тайне, и сейчас все в ней было настороже, чтобы не допустить похожего промаха.

— Живи, чего ты терзаешься, — сказала она вслух. — Не терзайся, нечего. Не можете уйти вы, — ушла я. Какая разница.

— Но, мама, мама!.. — снова начала невестка. Альбина прервала ее:

— Бога ради, Бога ради! Только не страдай, я тебя умоляю. Прими как факт. И не уговаривай возвращаться. Это исключено.

Она не жила дома с середины мая. Оказывается, когда ей открылось, кто может пить ее, невестка уже ходила с ребенком. Оттого они и стали вдруг так домоседствовать. Она ходила с ребенком, и, узнав об этом, Альбина поняла, что не сможет выгнать их из дому. Сын, правда, предпринял несколько попыток найти что-нибудь подходящее, но или он недостаточно упорно искал, или действительно так трудно было с нормальным жильем, однако все его попытки закончились безрезультатно, и она осознала, что нужно уходить ей самой.

Первую пору после ухода из дома она жила у бухгалтерши. Бухгалтерше было лестно иметь ее в постоялицах и страшно, — Альбина чувствовала это по каждому слову той, обращенному к себе, по каждому ее движению в своем присутствии, по всему ее поведению; лестно — потому что Альбина принадлежала для нее к тому могущественному вершинному слою, который вроде бы вот он, рядом, вместе работаете, но лишь попытайся коснуться — так недоступен, как Небеса, и оттого искушающе привлекателен, манящ и рождает желание любым способом приобщиться к нему, а страшно — потому что бухгалтерша боялась Альбиного диагноза, ожидала каждое, должно быть, мгновение каких-нибудь непотребностей с ее стороны, каких-нибудь выходов... И этих же сумасшедших выходов, видела Альбина, ждали от нее все домашние бухгалтерши — жить в такой обстановке долго было нереально. Да вдобавок ко всему тому дом у бухгалтерши оказался весьма невелик, и Альбине не выкроилось не только своей комнаты, но даже отдельного угла, все среди чужих людей, у них на виду и с ними вместе, и она начала искать что-то собственное через несколько дней, как перебралась к бухгалтерше.

Сейчас она жила в летнем домике на садовом участке в шесть соток, в полудне ходьбы через лес от окраины поселка. От мысли найти квартиру в городе она отказалась с самого начала — это было не по ее силам, она хотела снять себе какую-нибудь комнату с отдельным входом в своем же поселке, но и поселковые цены оказались велики несусветно, и все, что она в конце концов смогла снять, — этот летний домик в одном из тех многочисленных коллективных садов, что, прячась по болотинам в лесах, окружали город со всех сторон. Владельцами домика была бездетная молодая пара, возраста ее сына с невесткой, участок достался им в наследство от

умерших родственников, никакого интереса к садоводству с огородничеством они не имели, но и продавать дом им не хотелось, и они пустили Альбину в него едва не бесплатно. Дом был маленький, даже крохотный — комната и веранда, печь дымилась, а напряжение в электросети до того скверное, что вскипятить стакан воды для чая уходило чуть не полчаса, но Альбину все устраивало. Она взяла в прокате переносной телевизор с маленьким экраном, приволокла с работы стоявший там без употребления стабилизатор, чтобы телевизор мог работать и с таким напряжением, и жила вдвоем с Ним — ловя каждое Его появление на экране, каждое поминание Его имени и просиживая перед телевизором, когда показывали в записи заседания прошедшего в июле партийного съезда *, до самого утра.

Она чувствовала, что должна быть с Ним сейчас непрерывно, не отвлекая Его своим вниманием ни на день. Качели носились с прежней неудержимой стремительностью, с бешеной неудержимой силой вращались колеса, — у Него все должно было получаться, ничто не могло стать Ему помехой; но только если она все время будет держать Его в фокусе своего зрения. Так она чувствовала.

И у Него все получалось. Несмотря ни на что. Ни на какие противодействия. Еще тогда, в марте, словно пройдя по бритвенному лезвию, Он победил на одних выборах, а теперь на этом партийном съезде победил на других ** — победил, хотя волны, что угрожали Ему, были такой высоты и мощи, что, казалось, сметут Его, сомнут, перекрутят в своем нутре и выбросят наружу жалким бездыханным комком плоти. Ему все удавалось, все выходило, как было нужно Ему.

При том, что счет к Нему все возрастал и возрастал. Республики, примыкавшие к Балтийскому морю, одна за другой объявляли себя отдельными странами, унося с собой порты с флотами и побережья с курортами ***; с продуктами в магазинах стало так плохо, что впервые после войны, которой она не застала даже своим младенчеством, повсюду вводили распределительные талоны; и пожар кавказских погромов дохлестнул своим пламенем до дальней Средней Азии: Ош называлось место, где выхлестнуло это пламя, сжегши разом полтысячи жизней, где-то в Киргизии, никогда прежде она и не слышала такого названия ****. Ужасный счет можно было бы предъявить Ему к оплате, поскольку Он на каком-нибудь из тех крутых виражей, что Ему приходилось закладывать.

Но она знала: никакой счет не будет Ему страшен, все пойдет Ему в зачет, а не в вину, если она будет с Ним, сможет быть с Ним, не отвлечется ни на что другое в жизни; а и не имеет она никакого права ни на что отвлекаться: нет у нее сейчас ничего важнее в жизни, чем Он.

— Что мне передать дома? — спросила невестка. Она буквально сочилась страданием. — Я вас видела. Не скрывать же мне, что видела вас.

Честная какая, с издевкой подумалось Альбине. Вурдалачка! И сообразила, что может использовать невестку для разрешения своей безвыходной ситуации. Почему нет. Вдруг получится. Что дурного может та сделать ей на расстоянии.

— Передай своему свекру, — сказала она, — пусть организует звонок моему начальнику. А то меня с работы попросят. Я тут опять не ходила неделю... Поняла? Прямо немедленно.

* XXVIII съезд КПСС, которому суждено было стать последним, проходил в Москве, в Кремлевском дворце съездов, со 2 по 10 июля 1990 г.

** 12—15 марта 1990 г. в Москве состоялся 3-й, внеочередной, съезд народных депутатов СССР, на котором М. Горбачев был избран Президентом СССР. Выдвижение его кандидатуры на этот высший властный пост сопровождалось сильным противодействием тому со стороны большого количества депутатов. На XXVI съезде КПСС он был вновь избран также Генеральным секретарем Центрального комитета партии, несмотря на наличие сильной оппозиции ему в высших эшелонах партийной власти.

*** 11 марта 1990 г. Верховный Совет Литвы принял декларацию о государственной независимости Литвы и выходе ее из состава СССР. В течение весны 1990 г. о практическом отсоединении от СССР объявили и Латвия с Эстонией.

**** В июле 1990 г. в Ошской области на территориях компактного проживания узбеков имели место столкновения на национальной почве между киргизами и узбеками. В центральной печати упоминания о произошедшей резне были крайне скупы.

— Хорошо, — покивала невестка. Альбина тронулась идти, и невестка потянулась за ней следом: — А где вы хоть живете-то?

Ах ты, знать ей, где живет! Альбина остановилась и выставила перед собой заградительным жестом ладонь:

— Бога ради! Вот это не надо! У-вольт!

И теперь рванула вниз по ступеням едва не бегом. Невестка с ее животом, как бы того ни хотела, не могла позволить себе двинуться за нею с подобной же резвостью.

А ладно, Бог с ней, оправдывалась после перед самой собой Альбина, мучаясь, что соблазн извлечь пользу из встречи с невесткой оказался сильнее очевидности: не иметь с нею никакого дела. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Раз уж такой случай — грех даже было бы не воспользоваться им. Не может же невестка из-за того, что передаст поручение, сделать ей что-то дурное...

И страхи Альбины действительно оказались безосновательны. Ничего, кроме пользы, не принесла ей нечаянная встреча с невесткой. Назавтра она вышла на работу. — и будто не отсутствовала неделю без всяких оправдательных причин: председатель вел себя с нею так, словно этой прогулянной недели просто не было в календаре. И бухгалтерша потом сообщила Альбине: вызвал и дал указание — проставьте ей в табеле, что работала.

Видимо, невестка не имела больше никакого воздействия на нее. Видимо, расстояние и впрямь сводило это воздействие к нулю.

Подтверждением тому было ее самочувствие. Нет, такого, чтобы она вновь стала чувствовать себя полной сил и здоровья, какой была, помнилось ей, год назад, особенно до больницы, такого не произошло, силы ее до конца к ней не вернулись, оставались и слабость, и вялость, но в ней была воля одолевать их — вот главное. И ко всему тому она перестала худеть. И даже чуть-чуть поправилась, — она заметила это по своим ушитым платьям, которые, еще немного, и пришлось бы расставлять.

С неделю после встречи в поликлинике она внимательно следила за собой: худеет, не худеет, поправляется? — все с нею оставалось, как до встречи, и ее переполнило ликованием: невестка ничего не могла ей сделать, она ускользнула от нее, избавилась от ее упырьих пут!

Ее подмывало поделиться своими ликованием и довольством с бухгалтершей, и она едва сдерживала себя. Ужасно хотелось. Бухгалтерша заместила в ее жизни Нину.

Они теперь постоянно пили с ней на работе чай, перемывали косточки председателю и всем остальным, кто работал с ними в поссовете, дальше поссовета бухгалтершу ничто не волновало, никто не интересовал, и это Альбину очень даже устраивало. Потому что, если бы иначе, разговор непременно выходил на Него, и нечаянно, забывшись, она могла бы проговориться о своей тайне, а это было нельзя ни в коем случае. Недопустимо.

Бухгалтерша единственная знала, где она живет. И единственная, кроме самой Альбины, появлялась в ее жилище. Здесь они тоже пили чай, подолгу кипятя воду на электроплитке, Альбина водила ее по чужим, заброшенным владениям, предлагала угощаться ягодами. Но все было неухоженное, вырождающееся — малина червивая и с болезненно-сухой земляной корочкой по краям, смородина мелкая и кислая, — и бухгалтерша, клюнув раз-другой, устремлялась обратно в дом. Пойдем, закипело уже, наверно, говорила она, не веря, что за такое время вода успела лишь хорошо нагреться. Приходи ко мне, я тебя такой малиной поточую! У меня малина нынче уродилась, не малина, а чудо... Да, гляди-ка! — недоумевала она, обнаружив воду только еще пускающей со дна серебристые пузырьки. Ну, у тебя тут!.. И после, когда все же сидели с чашками горячего чая в руках, хрустели печеньем, говорила с этим же недоумением:

— Ну, лето ладно, лето — оно лето. А как же ты тут зимой-то будешь?

— А что зимой, — отвечала Альбина. — Сейчас народу здесь много, вот напряжение и падает. А зимой нормально будет.

— Ну, может... — недоверчиво тянула бухгалтерша. И оглядывала стены: — Да ведь он же, поди, холоднющий!

— Да уж не жаркий, конечно. — соглашалась Альбина. — Дровами надо запастись. Да топить не жалеть.

— Ну, если не жалеть... — тянула бухгалтерша.

— Да уж, конечно, не жалеть, как же иначе, — выношенно подтвердила Альбина.

Она уже договорилась с хозяином соседнего участка, имевшим бензопилу, что тот распилит ей дрова, когда привезут, и уже выписала себе через поссовет целых десять кубометров, чего должно было хватить на зиму за глаза, и только ждала, когда на базе появится береза, чтобы поехать и взять ее.

— А вообще ты чего, как ты дальше-то собираешься? — время от времени начинала допытываться в такие посещения бухгалтерша. — Долго ли можно так. Бросила все, и у самой ничего... мужика даже нет. Это же ты все равно, как в воздухе висишь! Ну, повисишь-повисишь, а потом?

— А потом — суп с котом, — усмехаясь, традиционно отвечала Альбина.

Она ничуть не задумывалась ни о каком будущем. И ни о чем не загадывала вперед. Она знала: нужно пережить зиму, а там будет видно. Главное, пережить зиму, а там все само собой расставится на свои места.

Первые утренники стали схватывать землю ломким, хрустким панцирем и опускать траву белой щетинкой инея в самом начале октября. Печь оказалась хуже, чем она полагала, и, чтобы не остывала, ее пришлось топить чаще, чем бы хотелось. А сам дом хуже держал тепло, чем она надеялась; едва печь остывала, тепло из него выдувало, по утрам она просыпалась оттого, что у нее ломило от холода лоб. Листья с деревьев и кустов облетели, садовое пространство, тесно набитое маленькими яркими домиками, просматривалось насквозь, до темной стены окружавшего его леса, в домиках вокруг уже почти никого не осталось, десяток человек — не больше, и отсыпанные песком дорожки сада оживали только еще по субботам-воскресеньям, слышалось хлопанье дверей, стук каблуков по ступеням крыльца, далеко разносились звуки голосов, а потом и в субботу-воскресенья сделалось тихо, и от сторожа, обитавшего со своей старухой в хорошей, крепкой избе около садовых ворот, Альбина узнала, что они остались здесь втроем.

Что за зима ей предстоит, Альбина поняла лишь тогда, когда температурный столбик прочно переместился за нулевую отметку. Около пола воздух в доме не нагревался вообще никогда, и она все время, не снимая ни на минуту, была вынуждена ходить в валенках, оставшихся, надо полагать, от прежних, умерших владельцев, а вода в ведре около двери всегда была подернута сверху целлофановой пленкой ледка. И это при том, что теперь она топила печь три раза в сутки, даже и ночью, специально ставя будильник, просыпаясь по нему, напихивая полную топку дров и поскорее ныряя обратно под одеяло, пока постель не остыла. Выпадавший снег больше не таял, пушистый слой его делался все толще и толще, пришлось расчищать себе тропинку лопатой, и чистить приходилось громадное расстояние — до самого дома сторожа. Чистить так же получасового хода тропу в лесу было немыслимо. Пока в лесу снега лежало немного, ощутимо меньше, чем на садовом открытом пространстве, и одолеть путь до поселка было вполне возможно. Но через самое недолгое время снежный покров неизбежно нарастет и там, и как же ей добираться тогда? А на лыжах, как, ответил ей сторож, когда она спросила его, как добирается он. Как еще-то. А моя старая вон всю зиму здесь сидит, никуда и не выбирается. Да что вы, удивилась Альбина. А если с сердцем вдруг что-то, ну, вообще с самочувствием, как «скорую» вызвать? А помирай, чего вызывать, отозвался сторож. Но потом ответил: а опять все на лыжи, до поселка — и оттуда по телефону. Будет дорога расчищена — приедут. К саду и в самом деле вел довольно приличный проселок, но он кружным путем в огиб леса вел сразу в город, и если добираться на работу по нему, это заняло бы целый день в одну лишь сторону.

Что же, ходить на работу на лыжах? Альбина не знала, как ей быть. Ну, лесом на лыжах — это туда-сюда, это еще приемлемо. А потом, по поселку?

Мысль о том, что придется ходить на лыжах по поселку, угнетала Альбину. Она не могла представить себе этого. И ведь, наверное же, с рюкзаком за плечами, чтобы положить куда-то и сумку со своими вещами

и купленные продукты... Этими лыжами она сразу ставила себя в какое-то особое, ущербное положение по отношению ко всем остальным людям, выходила из ряда вон, делалась если и не посмешищем, то притчей во языцех...

Но другого способа добираться до работы она не видела, и получалось, что придется пойти на него.

Лыжи, помнила она, стояли в кладовой рядом с туалетом, под лестницей на второй этаж, она помнила даже, как они там стоят, и знала, где палки от них и ботинки, ей было бы достаточно пяти минут, чтобы зайти, взять это все и уйти, — лишь бы никого не оказалось дома. Но всякий раз, набрав номер, напарывалась на голос невестки: «Алле-о! Да говорите же!» — и до нее, наконец дошло: невестка уже в декретном отпуске, ждет родов, мало куда, наверное, выходит, и идти за лыжами — увидиться с ней.

После очередного невесткиного «Алле-о?» Альбина принялась звонить по справочнику в различные городские магазины, где могли торговать лыжами. С лыжами, однако, была, оказывается, сейчас проблема, почти не купить; оказывается, в их края привозили лыжи обычно из Эстонии, а теперь все, кончились эстонские лыжи, больше не будет. Но несколько дней звонков увенчались в конце концов успехом: лыжи нашлись на некоей загородной лесоторговой базе, где им совершенно не полагалось быть, — должно быть, завезли туда по обычной нелепости, и вот они стояли там, пылились вдали от своего покупателя.

Поездка за ними стоила ей полного дня. И пришлось еще искать мастерскую, где бы прикрутили крепления и подковали металлом ботинки, ехать туда в другой день, забирать лыжи, и все это делалось Альбиной не с легкостью, что вдыхается в любую заботу ощущением неизбежной необходимости ее, а через силу, с натугой, словно бы сквозь рыдание.

Что-то надламывалось в ней, — она чувствовала, боялась этого и боялась признаться себе в своем страхе.

Вернувшись на неделю тепло съело почти весь снег, заставив Альбину ходить в резиновых сапогах, и снова обрушился мороз и сразу взял десятиградусную отметку, — вскочив среди ночи по звонку будильника заправить топку дровами, она осознала, что температура в комнате почти нулевая, несмотря на то, что последние угли в печи перестали пыхать язычками пламени и она закрыла заслонку всего каких-нибудь часов пять назад. И тут, швыряя в печь приготовленные с вечера тоненькие полешки, чтобы огонь скорее охватил их, вся содрогаясь от пробиравшего до костей озноба, Альбина осознала, чего боится.

Она боялась бессмысленности своей жизни здесь — вот чего!

Ей мнилось до нынешней ночи, что она боится не выдержать своего существования в этом домике, боится, что все ее старания выжить здесь будут напрасны, пойдут прахом, слишком непривычна была она к подобному быту, слишком изнежена комфортом, — и не выдержит, сорвется, убежит в дом, под бок к невестке, пьющей ее силу, а на самом деле она боялась совсем другого: бессмысленности своей жизни здесь!

Ведь Он же был напрочь лишен ее внимания все последнее время! Эта ее нынешняя жизнь здесь съедала ее всю, без остатка, растворяла ее в тысячах бытовых забот, будто в какой-нибудь серной кислоте, сжирала все ее дни, все ее силы, — ее не оставалось на Него ни капли! Ей нужно было колоть дрова, щепать лучину, носить воду, выносить помои, готовить себе еду и очищать кастрюли от сажи, которой они покрывались во мгновение ока, поставь их только раз на огонь, а еще и стирать, и устраивать себе баню в таких условиях — ей непрерывно нужно было крутиться белкой, чтобы обеспечить свое существование здесь, и ее уже не хватало даже на то, чтобы смотреть, хоть вполглаза, информационную программу по телевизору каждый вечер! И это еще лишь преддверье, а когда грянет действительно зима? Этот ее быт здесь замкнул всю ее жизнь на себя, загнал ее в себя, как в клетку, и что тогда за смькл был в ее жизни здесь, польза ли была от этой жизни?

И после, лежа в постели, слушая в темноте, как, потрескивая, разгорается в печи огонь, глядя на первые слабые отсветы его на потолок, она поняла: Он упуонь ею. Что она наделала, как так получилось?! Такого не случалось еще никогда, даже в пору ее сумасшествия с этим прокля-

тым афганцем, оказавшимся сыном Гали-молочницы. Она упустила Его, несомненно, — и безусловным свидетельством тому являлось то, что Он делал сейчас. Он сдавал позицию за позицией, программа реформ, которую еще в конце лета и начале осени Он одобрял, была Им оставлена без поддержки *, а оставляя ее без поддержки, Он оставался без поддержки сам, окончательно и навсегда расхотелся с тем хитроглазым, с круто-завитым пепельным клоком волос на лбу, Он рубил сук, на котором единственно и мог усидеть, рубил, чтобы с неизбежностью рухнуть, — это было так очевидно, почему Он не видел этого?

Впрочем, вопрос — почему Он не видел? — прозвучал в ней риторически. Она знала почему. Потому что ее не доставало на Него. Качели носились, маховики вращались, но то было действие инерции, она оставила их движение без своего пощения, и если в происшедшем есть чья вина, то это ее. Ее, и ничья больше.

Печь уже разгорелась, поленья уже полыхали вовсю, стреляя разрывающимися волокнами и шипя изливающимся соком. Альбина вскочила с постели, всунулась ногами в валенки, распахнула топку и бросила туда еще несколько поленьев, хотя в том не было пока никакой надобности. Ее лихорадило, сотрясало ознобом, но происходило это сейчас совсем не от холода.

Она попала в ловушку, вот что. Да, это несомненно и точно: она попала в ловушку. И все так ловко было подстроено, вход в нее выглядел столь естественно, что она заскочила вовнутрь, совершенно не заметив того; заскочила, дверца захлопнулась — а она даже не услышала ничего. Прогнала от себя Нину, сошлась с бухгалтершей, кто для нее была бухгалтерша? — да никто! а она сошлась с нею! И ведь это бухгалтерша, никто другая, подсунула ей знахарку. И что за бред наговорила знахарка, что за чушь? А она поверила ей, и не просто поверила, — а как глаза открылись, но на что открылись, что она увидела? Мираж, который приняла за реальность! Ловушка, все это была ловушка, и она далась поймать себя!

Альбина легла обратно в постель, от печки начал исходить не сильный еще, но явный жар, однако дрожь все не оставляла ее. Она сворачивалась калачиком, забиралась под одеяло с головой, но ничего не помогало, лоб, как повязкой, стягивало жуткой болью, и внутри нее все повторялось почти рыданием: что же делать теперь, что же делать?! Она видела теперь: жить здесь невозможно. Жить здесь и дальше — только во вред Ему, жить здесь и дальше — наверняка уже ничего не исправить, надо было немедленно выбираться отсюда, но куда? снова к бухгалтерше? Нет, отныне это исключено, какая бухгалтерша!

Днем ей на работу позвонил старший сын. Ни разу за все время, как она ушла из дома, он не звонил ей и не появлялся здесь в поссовете; муж, тот, особенно поначалу, и названивал, и появлялся, и несколько раз, затрудняясь звонком, приходил даже младший сын, а старший — не появлялся ни разу.

Он звонил ей, чтобы сообщить, что она стала бабушкой.

— Родила уже? — удивилась Альбина.

— Почему «уже»? — оскорбленно произнес сын. — Три недели задержки, я тут на ушах стоял. Стимулировать не хотели, взятка пришлось насовать, не думал никогда, что так берут.

— А что такое? — снова удивилась она. — Разве отец не устроил ее в их роддом?

— Какой «их», ты что! — сказал, как ругнулся, сын. — Нет у них больше роддома, в народное пользование пришлось отдать. Так пойдет, скоро и поликлиники вообще не останется.

— Кто? Мальчик, девочка? — поинтересовалась Альбина.

* Неправительственная программа экономических реформ, так называемая «Программа 500 дней» (Шаталина — Явлинского), в которой детально прорабатывался переход советской экономики на рыночные рельсы в максимально сжатые сроки, была отвергнута всеми властными структурами СССР, и вместо нее принята программа тогдашнего премьер-министра Н. Рыжкова. Итогом реализации правительственной программы стало разрушение советской экономики уже несколько месяцев спустя, к весне 1991 г.

Девочка, ответил сын. Сообщил вес, рост и спросил то, ради чего, конечно же, и звонил:

— Ты скажи, а то если нет, то я ее мать вызывать буду. Няньчиться сможешь? Придешь домой, нет? Только прямо скажи, мне без крутежа ответ нужен. Да, нет.

Альбине перехватило горло. Она не могла ничего ответить и боялась, что сейчас разрыдается. Этого она и хотела после нынешней ночи: вернуться. Только не знала, как можно устроить свое возвращение, не видела способа. И думала уже, что ничего не получится, придется оставаться в этом дощатом холодильнике.

— Ну, ты чего там? — крикнул в трубке сын. — Да, нет? «Нет», так я ее матери звоню, вызываю.

— Да, — совершенно онемевшими губами выговорила Альбина. И нашла силы, слицемерничала: — Ради внучки.

22

Первой увидела эту мертвую собаку она.

Было сумеречное раннее утро, солнце, еще не вышедшее из-за земной кромки, подняло лучами ночную темь пока лишь над самым горизонтом, небо в той стороне обозначилось перевивами сизо-слоистых облаков, а тут, над головой, еще было единой мгlistой пеленой, света, чтобы придать очертаниям предметов достаточную резкость, не хватало, и она, вглядываясь в темное размытое пятно на сером снегу около уличной изгороди, все не могла ответить себе с определенностью: действительно ли то собака или нет. Вполне это могла оказаться и просто какая-нибудь тряпка, и кусок рубероида, давно валявшийся там и на который при ярком дневном освещении глаз не обращал никакого внимания.

Был первый день новогодних праздников, тридцатое декабря, воскресенье; минувшую субботу как выходной день специальным указом правительства перенесли на понедельник, тридцать первое, и впереди простиралось целых три нерабочих дня — невиданная для зимы, чрезвычайная роскошь, беспрецидентный новогодний праздник. Все в доме спали. Спала б и она, но после утреннего кормления невестка принесла ей девочку и отправилась к себе в комнату отдыхать, девочка спустя недолгое время обмаралась, Альбина распеленала ее, подмыла под струей воды в ванной, вытерла, смазала промежность от раздражения детским кремом, снова запеленала, поносила на руках усыпляя, положила к себе в постель и пошла в ванную замыть обмаранные пеленки. Звук льющейся из крана воды вызвал в ней чувство жажды, выйдя из ванной, она свернула на кухню, налила себе из начатой бутылки полстакана минералки и, цедя ее маленькими глотками, подошла к блекло-лиловому окну.

Нет, просто кусок какой-нибудь дряни, решила она. Мусор какой-нибудь.

Она вернулась к себе в спальню, вытащила из губ недовольно зачмокавшей, но тут же смирившейся с утратой и успокоившейся внучки пустышку, легла рядом и закрыла глаза. Муж, как возвратилась домой, спал на диване в столовой, и она испытывала чувство блаженства, ложась на их широкую супружескую кровать не с ним, а с маленьким, беспомощным, сладковато-кисло пахнущим материнским молоком существом.

И однако вновь заснуть ей не удавалось. Темное пятно на снегу стояло против воли перед глазами и мучило вопросом: а вдруг собака? Если это тряпка или кусок рубероида, валявшиеся там бог знает сколько и примелькавшиеся глазу при дневном свете, почему их не замело снегом? А если их принесло ветром сегодня ночью, то как могло переметнуть через довольно высокую изгородь, когда, вероятней всего, прибило бы к ее основанию? Потом ей подумалось, а может быть, то просто игра ночных теней? И, только подумалось, тотчас так и стало казаться: безусловно, игра теней, конечно, игра теней, и ничего больше.

Но, чтобы успокоиться и заснуть, нужно было окончательно удостовериться в этом.

Она снова поднялась и пошла обратно на кухню.

Солнце уже взошло, малиново стояло над кромкою горизонта в дымчатой заволочи морозного воздуха, разделенное точно посередине витую

нитью длинного кучевого облака, заметно посветлело, и даже наметились, лилово обозначив себя, дневные тени, чтобы сделаться явственными через какие-нибудь минуты. Размытого пятна на снегу около изгороди не было. Лежала, рельефно вылепясь всеми видовыми чертами, крупная породистая собака, подогнув передние и далеко назад откинув задние ноги, — словно бежала во весь опор. Малиновый свет еще не окрепшего утра придавал ее светло-коричневому телу нежно-розовый оттенок и какой-то глазурированный блеск, так что она казалась даже бесшерстной и удивительно гладкокожей.

Альбина смотрела на мертвую собаку в своем дворе и почему-то не могла поверить в реальность того, что видит. Стараясь не шуметь, она проследовала в коридор, всунула ноги в чьи-то стоявшие около двери большого размера сапоги — мужа или кого-то из сыновей, — надела поверх ночной рубашки чье-то первое попавшееся под руку пальто, нахлобучила на голову чью-то шапку, повернула ключ в замке и, открыв дверь, вышла на улицу.

Приблизиться к собаке было страшно, и некоторое время она стояла, глядя на нее с крыльца. Но некая сила влекла ее к собаке, и она сошла с крыльца, пошла по расчищенной дорожке к калитке и еще некоторое время стояла, смотрела на собаку оттуда, от калитки. Собака была поразительно странная. И в самом деле какая-то бесшерстная, с блестящей кожей, на удивление поджарая и с резко очерченными контурами тела — как у человека.

Альбина ступила с дорожки в снег, почувствовав голой ногой, как сверху в сапог пушисто наваливается и, мгновенно тая, бежит струйкой к лодыжкам, сделала шаг, другой — и ее облило ужасом: собака была освежеванной! Во дворе у них лежала освежеванная, со снятой шкурой собака; кто-то выманил ее у хозяев, убил, ободрал, чтобы сделать потом из шкуры модную длинномехую шапку, и бросил мертвое тело к ним через забор.

Ее замутило, из желудка к гортани вытолкнуло спазмом кислый комок, и она метнулась прочь от собаки, на дорожку, обратно к дому — скорее заскочить в него, скрыться в нем, отгородиться его стенами от жуткого зрелища зияющей голой плотью собаки...

Но на крыльце уже ее внезапно остановило. Словно некая сила, не подчиниться которой было не в ее власти, развернула Альбину и вновь обратила лицом к собаке. Глаза отказывались смотреть на нее — и взглянули, хотели увидеть там в отчаянной надежде одну чистую снежную холстину, — но увидели мертвое тело.

И в этот миг, пытаясь не глядеть туда и все-таки глядя, она вдруг ощутила: жизнь кончена. Что было — то было, и больше уже ничего не будет.

Не-ет! — тотчас завопило все в ней ответом на это жуткое чувство. Она хотела жить, ей нужно было жить, и те звучащие в ней в свою пору слова — «А не просыпаться бы!» — они были неправдой, наваждением, они ничуть не соответствовали истине!

Не-е-ет! — вопил в ней с истерическим страхом внутренний голос, и посетившее ее чувство близкого жизненного конца с тою же неожиданностью, с какой возникло, исчезло, растворилось легким летучим дымком — как не было, а она сама уже находилась в доме, скидывала с себя мокрые внутри сапоги, сбрасывала пальто, срывала шапку и бежала в столовую поднимать мужа.

— Собака! Там! У нас! Убрать ее немедленно! — затрясла она мужа. И бросилась в комнату к младшему сыну: — Вставай! Сейчас же! Мертвая собака у нас! Помоги отцу!

Из своей комнаты выскочил старший сын:

— Что случилось?!

Забывшись, он выскочил в одной майке, без трусов — как спал, и следом за ним в дверь вытолкнулась невестка:

— Возьми! Ну, ты что! Надень!

В спальне Альбины, разбуженная шумом, закричала, подала голос и заплакала девочка.

— Там! Там! Гляньте в окно! В окно гляньте! — потыкала пальцем в сторону кухни Альбина, бросаясь к себе в спальню.

Сыновья, одевшись, оттащили собаку на старой, хотя еще и вполне пригодной, скатерти в лес, оставив, как им велела Альбина, скатерть вместе с собакой, и, вернувшись, легли досыпать, а она уже не могла спать, сидела все так же в ночной рубашке над внучкой, смотрела на нее и думала с вялым чувством вины, что совершенно не любит девочку, никакой теплоты к ней в груди, нянчится — но как с чужим ребенком, и что бы это все значило? Однако, задавая себе этот вопрос, она вовсе не собиралась отвечать на него, он бесследно истаявал в ней, ничего не оцарапав в душе, а перед глазами, уже в который раз, вновь вставала розовая ободранная собака на белом снегу в их дворе. Почему именно к ним забросили мертвое тело? Вот вопрос о собаке мучил ее, не давал покоя, все пыталась додуматься до чего-то — непонятно чего, осознать, может ли происшедшее что-то значить, и, конечно же, не могла ни до чего додуматься, а только растревляла себя, и все внутри дребезжало, голову разламывало несусветной болью — будто ее стиснуло железным кольцом.

Но когда за завтраком, как положено в предпраздничный нерабочий день, основательно поздним, так что за окном все уже сверкало и переливалось полным светом, разговор, неизбежно зашедший о собаке, начал разворачиваться в долгое обсуждение, она прекратила его:

— Все, ни слова больше! Никто! Чтобы больше ни слова ни от кого о ней не слышала! Ясно?

— Да, конечно, правильно, совершенно ни к чему говорить об этом, — тут же поддержала ее невестка.

Невестка всегда, во всем без исключения брала ее сторону. И не просто брала, а брала активно — старалась угодить ей, ублажить ее, лизнуть в сердце. Буквально стелилась под нее — как коврик под ноги: ходи и топчи, я для того и создана. Альбина первое время по возвращении в настороженной готовности дать, если понадобится, отпор все присматривалась к ней: что она, права знахарка, делает что-нибудь против нее? Тот прежний неясный, непонятный страх перед невесткой, теперь уже, впрочем, имевший вполне конкретное содержание, все сохранялся в ней, но невестка не давала ни малейшего повода для подозрений. Наоборот, только наоборот! Как шелк была с нею. И тягостное, настороженное напряжение в Альбине мало-помалу рассосалось, истончилось и исчезло, она словно бы махнула рукой: ну, как оно есть, так пусть и есть. Она смирилась со своим незнанием. Что будет, то будет. Она не жила с невесткой вместе несколько месяцев, и что путное вышло из этого?

— А что такое, собственно? Что это за затыканье ртов?! — протестующе вскинулся муж в ответ на их женский запрещающий дубль. — Подумаешь, происшествие, раздувать из него события!

— Именно, нечего раздувать! — прерывая мужа, бросила на стол перед собой зазвеневшие вилку с ножом Альбина. — И нечего указания давать, не на работе у себя. Все, ни слова больше!

Она не могла позволить никому говорить о собаке, запретила бы любому. Ей хотелось скорее забыть о той, и достаточно было с нее собственных мыслей, от которых никак не могла отделаться.

И однако она действительно была невольна над своими мыслями об этой ободранной собаке. То и дело весь день они всплывали в ней, неожиданно, беспричинно, без всякой связи с происходящим вокруг: ставили, наряжали елку — и обнаруживала себя погруженной в них, как в кипящее масло, готовили с невесткой холодец к завтрашнему праздничному столу — и вдруг подступали к горлу желудочным спазмом, тем самым, что еле сдержала в себе там, во дворе... И то же было на следующий день, и когда без десяти минут полночь сидела перед включенным телевизором, жадно ожидая Его появления на экране для поздравления с наступающим Новым годом, вновь, ни с того ни с сего, увидела перед собой лежащее на утреннем розовом снегу освежеванное розовое тело и, вместо того, чтобы слушать Его, вглядеться как следует в Его стремительно, на глазах стареющее лицо — что желалось, — переполняясь ненавистью к себе и страхом перед своим видением, изо всех сил, безмолвно, с бешено грохочущим сердцем боролась с собой, выталкивала из себя стоящую перед глазами картину, и в итоге от Его появления на экране осталось только нечто смутное, неопределенное — ни лица, ни интонации, ни смысла Его речи.

— Мамочка, ваше здоровье! — искательно заглядывая ей в глаза, сказала невестка, касаясь своим бокалом Альбинового, вместо традиционного «С новым счастьем!», и Альбина, поблагодарив ее кивком головы, подумала: а что, в самом деле, невестке не желать ей здоровья, она нянчится с ее дочкой, как же тут не желать!

— К здоровью — многих лет жизни! — произнесла она; вышло для всех — будто она пожелала долгой жизни себе, но она имела в виду совсем не себя. Мысль ее, оттолкнувшись от пожелания невестки, естественным ходом пришла к Нему, и она не смогла отказать себе в хулиганском удовольствии произнести собственное пожелание вслух, а что подумали все вокруг — ей было неважно.

И странно, после этого первого полночного тоста всю наступившую новогоднюю ночь мысли о собаке больше не мучили ее. Во всяком случае, она не запомнила того. И не мучили потом, когда год побежал отсчитывать дни: первое, вторник, — праздничный день, второе, среда, — выходить на работу... Нет, посещали время от времени — это она отметила, но уже без той мучительной яркости, как перед самой новогодней полночью, и реже, реже день ото дня, и она вообще перестала отмечать для себя: думает о том происшествии, не думает, вспоминает, не вспоминает.

С прежней, предновогодней силой эта убитая, ободранная собака вспоминалась ей две недели спустя, в день наступившего юлианского Нового года. На телевизионном экране была ночь, горели прожектора, слепя снимавшую камеру, стояли бронетранспортеры с сидевшими на их броне солдатами в защитной пятнистой форме с автоматами в руках, валялось на земле битое стекло, кричала что-то непонятное толпа одетых в гражданское молодых людей за сетчатым металлическим ограждением. — это был телецентр одной из трех отделяющихся прибалтийских республик, его только что, оставив за собой след в четырнадцать убитых и более полутора сотен раненых, взял штурмом специально натренированный для подобных дел отряд сил безопасности*.

Вернее, ей вспомнилась даже не сама собака. Ей вспомнилось то чувство на крыльце, когда неожиданно для себя остановилась, оглянувшись и ее как прошло: жизнь кончена!

И странным образом это чувство было теперь связано с Ним. Конечно, кончена, звучало в ней, и страх, охвативший ее тогда, заставивший закричать в ужасе: «Не-ет!» — не имел больше отношения к ней, то был страх за Него.

Почему за Него? С чего вдруг? Что это значило?

Ей стало все ясно спустя еще несколько дней, когда нечто подобное произошло в столице другой прибалтийской республики. Опять на экране телевизора бликовали прожектора, вспыхивали огневыми цветками автоматные дула, прочерчивали тьму трассирующие пули, и пятеро вечером еще живых человек были к утру бездыханными трупами**.

Кровь этих двух городов была совсем не та, что прежде. Это не была кровь цены. Кровь неизбежной платы. Это была кровь угрозы. Угрозы Ему.

И как так случилось, что она допустила это, в чем ее просчет, где ошибка?

Между двумя разделенными неделей событиями в прибалтийских столицах далеко на юге, в чужих жарких краях произошло другое событие — началась самая настоящая война, взлетали один за другим с палуб авианосцев, с бетонных аэродромных полос гигантские самолеты-бомбардировщики и ракетносцы, обрушивали свой ужасный груз на объекты, намеченные к уничтожению, и счет убитым шел не на десятки, а десятки

* События ночи с 12 на 13 января 1991 г. в столице Литвы Вильнюсе. За несколько дней до того там был образован анонимный «Комитет национального спасения», объявивший о том, что берет власть в республике в свои руки. Штурм телецентра был частью акции комитета «по возвращению зданий, принадлежащих КПСС и военным организациям».

** Поздним вечером 20 января 1991 г. отряд милиции особого назначения (ОМОН) в столице Латвии Риге взял штурмом здание Министерства внутренних дел республики. Неизвестными лицами в гражданском обстреливалось здание прокуратуры Латвийской ССР. Незадолго до того в Риге по образцу Литвы был также создан «Комитет общественного спасения».

тысяч *, — но она как не заметила ничего этого, слушала радио, смотрела телевизор — и все проходило мимо нее. Происходящее там не имело отношения к Нему. Не имело касательства к тому делу, для которого Он был предназначен.

А вот эта, ближняя, малая кровь, она была страшна. Она была пробой, знаком; она была предупреждением.

Альбина панически металась по своей памяти, ища совершенные промахи, отчаянно пытаясь понять, какие ошибки она совершила в последнее время, и выходило, что ей не в чем упрекнуть себя. Вся ее жизнь по возвращении домой была одним непрерывным слежением за Ним, о некоторых Его днях она знала, как Он провел их, едва не по минутам, вылавливая подробности из разных газет, из сообщений радио, телевидения и потом сопоставляя, она следила за Ним с такой истовостью, с таким тщанием, с какими еще никогда того не делала. Она должна была искупить свою вину перед Ним, ей нужно было исправить то, что она натворила финальными неделями своего садового затворничества. Качели были раскачаны — не остановить, но одного их движения явно недоставало, необходимо было не выпускать Его из поля зрения, не оставлять без своего внимания ни на минуту, и если в чем-то она ошиблась, то в чем?

Ей казалось, что со времени ее возвращения домой все у Него получалось так, как Он того хотел. Как Ему требовалось. Или Он вовсе не хотел этого, а поступал так подневольно? Подчиняясь чьей-то невидимой ей, неосознаваемой ею чужой воле? А она, способствуя воплощению Его желаний в реальную жизнь, тем самым вредила Его же собственным намерениям?

Ей вспомнилось лицо мужа, с каким он встретил первое, а потом и второе сообщение из прибалтийских столиц. Боже милостивый, осознала она, это было лицо самого счастья! Всю эту пору после возвращения она испытывала невольную жалость к нему. На него в самом деле было жалко смотреть. Он был раздавлен, расплюсчен в лепешку, он имел вид человека, чья жизнь обратилась в прах, вид человека, потерявшего все. Но раз сейчас он польхнул счастьем, раз происшедшее распрямило его, — это являлось верным признаком, что происшедшее в столицах во зло Ему. Все, что во благо мужу, твердо знала она, Ему во зло, однозначно. И ведь муж, еще вспомнилось ей, не просто распрямился, а как-то вдохновенно посуровел, озарился изнутри некоей силой и даже пару раз, чего давно не позволяя себе, прикрикнул на нее, а она, совершенно отвыкнув от того, еще растерялась и не ответила. Он теперь не делился с нею никакими рабочими новостями, но, несомненно, все творящееся с ним было связано с его службой, с тамошними их делами и настроениями, — не хватало только того, чтобы она помогала им!

И как оценить всю эту ситуацию с тем медвежателым и хитроглазым, что стал почти ровень с Ним, побеждая раз за разом на всех других выборах? Кем был Ему все-таки тот: другом, соратником или недругом и соперником? Они почти уже шли рука об руку минувшей осенью, и чем было это их недолгое сближение для Него: добром или злом? И если добром, то не она ли повинна в их расхождении? А если злом, то при чем тогда те послания, что отправил в окропленные кровью прибалтийские столицы медвежателый, винясь за случившуюся кровь и моля простить ее **, — таким явным спасательным кругом оказывались они для Него, так облегчали для Него борьбу с угрозой, высказанной Ему этой кровью?

В чем я ошиблась, в чем я ошиблась, дребезжаще звучало в Альбине бесконечной магнитофонной записью, голова разламывалась, в груди над ложечкой лежала чудовищная тяжесть, продавливала внутренности, мешала дышать, ей казалось, вот еще немного, вот еще одно напряжение

* В ночь с 16.01 на 17.01 1991 г. началась американо-иракская война, продолжавшаяся около полутора месяцев и получившая название «Войны в Заливе». Целью войны было освобождение захваченного ранее Ираком Кувейта.

** 14 января 1991 г. Б. Ельцин, являвшийся в то время главой российского парламента, на собранной им пресс-конференции зачитал обращение к российским военнослужащим, находящимся на территории Прибалтики, где призвал их не стрелять в безоружных людей. После событий 20—21 января в Риге в латвийский парламент от него пришла телеграмма со следующими словами: «С тревогой и болью воспринимаю происшедшие в Риге трагические события. Осуждаем применение оружия против мирного населения...» («Известия» от 22 января 1991 г.)

мысли, еще чуть-чуть — и она все поймет, ей все станет ясно... но никакой ясности в ней не возникало, и совершающая свое бесконечное кружение мысль естественным ходом раз за разом возвращалась к невестке. Что, все-таки пьет, думала Альбина, незаметно, чтобы невестка не видела, вглядываясь в нее. Она снова уже допускала подобное. Но и вдаль от невестки все оказалось в итоге скверно, разве что перестала худеть, так при чем тогда тут невестка? Получалось, что невестка — жертва навета. Но если и в самом деле верно последнее, то кому нужен был этот навет? Бухгалтерше? Ведь это через бухгалтершу она вышла на ту знахарку. И это с бухгалтершей, уйдя из дому, сблизилась так, как не была близка никогда за все прежние годы совместной работы! Бухгалтерша, как всегда, в обычное время, пришла к ней пить чай, принеся целую килограммовую коробку сахара-рафинада, который стал в магазинах громадной редкостью, — необыкновенная щедрость, Альбина пила чай и, предоставив вести разговор бухгалтерше, сама все разглядывала ее. Разглядывала — и ничего ей не открывалось, не могла, не в состоянии была ничего понять до конца! Ноги неожиданно для нее самой понесли ее к Татьяне-птичнице. Год назад не могла заставить себя пойти к ней, а сейчас не пошла, а именно будто понесло туда.

Увидев Татьяну, она поразилась перемене, происшедшей с той. Татьяна и всю-то жизнь была худой, с посеченно-морщинистым лицом, теперь ее встретила сухая, как древесный корень, старуха, но, как корень же, твердо-костяная и здоровая даже на вид.

— Ну дак что, правда, — ответила она на вопрос Альбины, действительно ли врачи определили у нее рак, а знахарка вылечила. — Дала поллитровку, велела пить — и видишь, бегаю. Знает свое дело. Не то что доктора эти, тютюрки-матюрки драные. — И спросила: — А тебе чего? Тоже клещей ухватил, что ли?

— Да нет, ты что, нет! — вмиг переполняясь ужасом, будто отталкивая от себя ее вопрос, заприговаривала Альбина. — Это у меня знакомая... просила узнать... обращаться, не обращаться...

Знахарка была настоящей — вот единственное, что она вынесла из разговора с Татьяной-птичницей. А то, что сама знахарка утверждала про себя, будто бы всего лишь травница, так это могло быть ложью. И, наверное, являлось ложью: ведь почувствовала ее появление через стены дома! Озарение, сошедшее на Альбину, было чудовищным в своей сути.

Оно обрушилось на нее тихим звездным вечером — безветренным, ясным, бесснежным и царственно-величественным в этом подкупольном небесном дрожании бархатного свежее-морозного воздуха. Она вернулась с работы, и невестка подгадала как раз к ее возвращению с коляской — выгулять внучку. Можно, конечно же, было просто выставить внучку в коляске у крыльца, а заплачет — выйти потрясти, но невестка категорически не хотела оставлять ребенка без присмотра. Альбина, в общем-то, ее понимала. Когда рожала своих, только и слышала об одном случае, происшедшем у «Гастронома»: зашли в магазин, а вышли — ребенка нет, теперь же детей воровали — что ни месяц, то похищение, и двоих за последний год украли у них в поселке. Говорили, будто бы крадут нищие, чтобы просить милостыню, может быть, это и не соответствовало правде, но нищих в городе и в самом деле, несмотря на зиму, обратила Альбина внимание, становилось все больше и больше, и ходили уже, побирались по домам.

Она заскочила на минутку домой, утеплилась, чтобы, гуляя, не замерзнуть, переняла у раздетой дрожащей невестки коляску и двинулась с нею на улицу. Нелепо было стоять с коляской во дворе, притопывая ногами, уж лучше двигаться. И тут, едва отойдя от своей калитки, остановившись под первым горящим фонарем проверить платок, закрывавший внучке нос от мороза — не слишком ли плотно тот прилегает, глянув на младенческое чистое, свежее лицо, она едва не закричала от открывшегося ей знания: вот кто пьет ее! Вот кто мешает ей, сжирает ее энергию! Это она, она, эта девочка, ее внучка! Она, конечно! И вспомнить, когда начала чувствовать себя скверно, — как раз, когда невестка, еще незнаемо для всех, понесла!

Альбина почти бежала по улице, толкая перед собой коляску, дыхание ее сбилось, она вся горела, сердце стучало обезумевшей швейной ма-

шинкой. Она поняла вслед озарению: она в кольце. Она была окружена, замкнута наглухо со всех сторон, отделена от Него, как забором: невестка, бухгалтерша, знахарка и вот еще, значит, внучка. И, чтобы Его предназначение исполнилось, чтобы Он сошел с ложного и вернулся на путь истинный, ей должно было разорвать стиснувшее ее кольцо.

Она останавливалась под фонарями, вглядывалась в безмятежное, сонное, словно бы невинное лицо внучки, раздумывавшееся от мороза, и чувствовала, как в ней поднимается чугунная, люта я ненависть. Недаром же она никогда не испытывала к внучке никаких теплых, положенных вроде бы как бабушке, умилительных чувств. Ах, мерзавка, ах, гадина, распалено звучало в ней, и несколько раз, не сдержавшись, тряхнула на ходу коляску, так что внучка едва не вылетела оттуда.

И все же на окончательный шаг нужно было решиться. Нужно было внутренне укрепиться, чтобы сделать то, что должна была сделать. Хотелось совета. Вернее, не совета, а стороннего взгляда и мнения. Хотя, ощущала она, если это мнение не совпадет с ее собственным, оно все равно ничего в ней не изменит.

Лучшей кандидатуры, чем Нина, для необходимого разговора было не найти. Конечно, она тогда обидела Нину, прогнав ее от себя, но тем не менее Нина не откажет ей во встрече, не посмеет отказать, — почему-то она твердо знала это.

Нина отозвалась на ее просьбу встретиться без раздумий, мгновенно. Да, жду тебя, подъезжай, сказала она.

Они встретились в стоячем кафе-забегаловке около Нининой работы. Нина выскочила к ней из подъезда в наскоро наброшенной на плечи шубке, схватила за руку и повлекла за собой:

— Пойдем согреемся кофейком.

Кофе подавали в граненых стаканах — переваренную бурду с молоком, но горячим он действительно был. Они заняли столик в углу — только для двоих, не больше, — чтобы никто к ним наверняка не пристроился, и Нина спросила с поощряющей своей улыбкой, совсем как в старые времена:

— Ну? Что такое? Неуж опять афганец какой-нибудь?

— Да какой афганец, — отмахнулась Альбина.

Она открывалась Нине, чем она живет эти последние годы, что происходит с нею, с какими соблазнами приходится бороться и какие сложности одолеть, Нина слушала ее с потрясающим пониманием, согласно кивала головой и только, когда Альбина принялась объяснять, какой способ ей видится наилучшим, чтобы разорвать кольцо вокруг себя, уточнила:

— А что это такое — «приспать»?

— Что, сама не знаешь? — Альбине не хотелось входить в подробности.

— Нет, первый раз слышу, — сказала Нина.

— Ну, в деревнях так часто случалось. — Альбина поморщилась внутренне — неприятно было описывать вслух все эти частности. — Положат ребенка с собой спать, ночью ненароком навалятся на него — и задохся. А ненароком, нет — пойдя после доказывай.

Она и сама не знала, откуда в ней подобное знание. Никогда на ее памяти ни с кем не приключалось такого. Но откуда-то знание это в ней было, почему-то хранилось в тайниках ее подсознания и возникло в сознании еще тогда же, тем тихим звездным вечером во время прогулки.

— А может быть, ошибаешься, может быть, ни при чем девочка? — спросила Нина. — Младенец же. Невинный, говорят, как младенец.

— Младенец! — Альбина усмехнулась невольно. — Невинный... Младенец тебя так высосет — никакому взрослому не удастся!

Каким-то образом имелось в ней и такое вот знание.

— А грех на душу? Как потом жить с ним? — еще спросила Нина. Но в Альбине был уже готов ответ и на это.

— Не сделаю этого — еще больший грех приму на себя.

— А, конечно. Конечно, — согласилась Нина. — Разумеется.

Альбина, проводив ее обратно до работы, ехала в автобусе к себе в поссовет и думала благодарно: вот Нина, вот настоящая душа, вот все-таки настоящий друг, все поняла! Какая молодец, как жалко, что тогда про-

гнала ее от себя и прежним отношениям уже не быть. Такая тонкость, такая чуткость. — изумительно!

Она чувствовала себя полной решимости, сил, — она готова была сделать назначенное ей. Дожить день до конца, пережить вечер с его общим ужином, программой «Время» в девять часов по телевизору, лечь спать, а там под утро после кормления невестка откроет к ней дверь: «Мама, вы возьмете?..»

23

Потом, задним числом Альбина сообразила: должно быть, пока она ехала к себе, Нина дозвонилась до мужа, тот, в свою очередь, тотчас позвонил куда надо, — потому ее в поссовете уже и ждали. Ей даже вспомнилась машина «скорой спецпомощи», стремительно обогнавшая автобус на въезде в поселок.

Чего она потом никак не могла понять — это того, как так случилось, что открылась Нине. Ведь нельзя же было открываться никому, и Нине тоже!

Потрясение, которое она испытала, когда, войдя в свою комнату, увидела там двух здоровенных мужиков в белых халатах, оказалось столь сильным, что первую неделю в больнице она не могла ни есть, ни разговаривать, а только то и делала, что лежала днями неподвижно на кровати. Но, едва она оказалась в больнице, к ней вернулась полная внятность и трезвость мысли. Это же в самом деле нужно было сойти с ума — открыться Нине! Что за помрачение нашло на нее? Все отрицать, ни в чем не признаваться им, этим следователям-врачам! Все они специально хотят выведать у нее побольше, чтобы ослабить ее, сделать неспособной стоять на страже, и она не должна поддаться им! Не поддастся, — может быть, еще получится помочь Ему. Вернее, не так. Она поможет Ему уже тем, что не поддастся им.

Через неделю она почувствовала себя способной встать с кровати. Врачом ее снова оказалась та гренадерша с белокурыми кокетливыми локнами из-под белой докторской шапочки.

— Ну, полегче немного стало? — ласково спросила она, позвав Альбину к себе на беседу. И упрекнула: — Лекарства, наверное, которое вам прописывали, не пили, да?

Это, разумеется, было правдой, той, от которой вполне можно было бы и не отказываться, но, раз уж постановила для себя ни в чем не открываться, Альбина решила остаться верной этому принципу и тут.

— Как не пила, — сказала она. И не удержалась, брякнула: — Двойной мерой.

— Двойной? — мгновенно насторожилась врач. — Зачем двойной? Кто вам так подсказал?

Нелепая Альбинина шутка оказалась спасительной. Врачиха приняла ту за правду и вцепилась в нее, как мертвую хваткой вцепляется голодная собака в мозговую кость.

— Ну и ну! Двойную порцию! — сокрушенно произнесла она, когда Альбина, подыграв ей, повинилась, что никто ничего не подсказывал, а хотела как лучше, чтобы скорее выздороветь. — Ну и ну! Тогда все понятно... — И задала новый вопрос: — А значит, раз говорите «выздороветь», чувствовали себя больной, осознавали, что с вами что-то не так, не в порядке?

— Как не чувствовала, конечно, чувствовала, — продолжая сбивать врачиху со следа, отозвалась Альбина. — Я вам верю. Говорите — «больна», значит, так и есть.

— Но как у вас вдруг появилась мысль убить внучку? — с особой, предупредительной мягкостью спросила врач. — Если вы сознавали, что вы больны, вы ведь должны были понять противоестественность такого желания. Или вам показалось что-то? Голос какой-то приказал как бы?

— Да не было у меня никаких таких мыслей! — сказала Альбина. — Бред какой!

— Нет, может быть, это вы сейчас так считаете, когда уже не пьете тех лекарств. Двойную порцию. А тогда, припомните, все-таки хотели? Альбина собрала всю свою волю и засмеялась.

— Да ничего я не хотела. Это все от этой моей... подружки моей идет. С нее станет. Она все и придумала. Мстит мне. Она мужа рогатит — у него там, как у оленя. Мы, было, с нею поссорились, и я, дура, ему сказала. Вышло так. А теперь она мне в отместку решила. На меня же все можно наговорить.

Альбину несло — как по хорошей лыжне под уклон. Слово ложилось к слову, она и не знала, что может так сочинять, ей вралося с таким вдохновением — захватывало дух от восторга перед самою собой.

Врачиха смотрела на нее с видимым недоверием.

— Но если вы пили лекарства больше, чем нужно, у вас вполне могли появиться всякие побочные эффекты.

— Могли, да? — сделала Альбина растерянный вид. — Наверное. Вы знаете. Может быть, были какие-нибудь. Я не заметила. Но насчет того... что вы! Бред какой!

— А если повспоминать, хорошо-хорошо повспоминать? Вдруг это вам только сейчас так кажется?

Теперь Альбина сделала вид, будто очень крепко задумалась.

— Ну, я не знаю, — сказала она потом. — Если вы очень хотите, я, конечно, могу вам признаться... мне ведь все равно, я в любом случае здесь... но это будет неправдой.

Лишь бы не посадили на инсулин, молилась она. Логично, не логично ее вранье — о том она не думала. Ее не заботило это. Пусть сами разбираются. Лишь бы избежать инсулина. Она боялась: если инсулин — опять у нее, не заметит сама, отобьет всю память, опять потеряет Его из поля зрения, при том, что именно сейчас Он больше всего нуждается в ее охране, и, не дай Бог, повторится что-нибудь похожее на то ужасное землетрясение... нет, она не имела права допустить подобного!

Инсулин ей не назначили. Кто знает, может быть, действительно благодаря ее дурацкой шутке. Что-то кололи, давали какие-то таблетки. От уколов было не увернуться, а таблетки, научившись прятать их в защечных пазухах, показав медсестре чистый рот, выплевывала потом в туалете. И каждый вечер перед информационной программой заранее занимала место около телевизора.

Однако озонная грозовая атмосфера вокруг Него не рассасывалась. Она физически ощущала: как бы стремительные маленькие молнии беспрерывно трещали над Его вконец поседевшей и на макушке совсем теперь безволосой головой, целя безжалостно и смертельно кольнуть своим острым жалом. И спасало Его лишь то, что, несмотря на несметное свое число, они были слабы и пробить панцирь, которым она невидимо окружала Его, было им не по силам. Но, если б они соединились вдруг в единый разряд, прочности панциря наверняка не хватило бы; угроза, выказанная Ему кровью двадцати человек в начале года, никуда не исчезла, она сохранялась, и это слияние молний в одну могло произойти в любой миг.

Временами теперь ей стало казаться, что оно возможно через посредство того властно-хитроглазого, что поднялся едва не вровень с Ним, с падающим на лоб круто-завитым клоком волос. Он так и назывался у нее про себя: Крутым. Крутой, добившись показа своего выступления по телевизору, держась с неестественной прямизной, будто был под одеждой в корсете, объявлял с экрана, что больше не верит Ему, что прежде, веря Ему, ошибался! *

Это был молниевый разряд — куда сильнее всех остальных. И все же что-то в Альбине сопротивлялось тому, чтобы окончательно утвердиться в своем ощущении. Словно бы не доверяла самой себе. Как бы сама же и сомневалась в верности того, что чувствовала.

Подтверждение сомнению ждать себя не заставило. Неимоверной мощи удар обрушился на Крутого. Шесть человек из того парламента, который он возглавлял, ближайшие его помощники, затеяли кампанию по его низвержению, и были мгновения — чудилось, что затеянное удастся им. Собравшийся съезд кричал и топал ногами, сгоняя Крутого с трибуны, столичные улицы, смотрела она с замирающим сердцем хронику, были

* Выступление Б. Ельцина по Центральному телевидению в феврале 1991 г.

забиты колоннами военных грузовиков с солдатами*, удар был нанесен с таким расчетом, чтобы ему уже не подняться. Случившееся было того же рода для Крутого, что январская кровь для Него, и она поняла: Крутой ни при чем. Он не являлся ни соратником, ни соперником, он находился в какой-то иной связке с Ним, какой — непонятно, но совсем иной, чем она полагала, и были они связаны неразрывно, связаны так — не разъять, и неуспех одного означал бы поражение другого.

Ее особая заинтересованность в политических новостях не прошла мимо внимания врачахи.

— А почему вас так все эти дела волнуют? — спросила врачахи во время очередной беседы с Альбиной. — Я заметила, как по телевизору что-то о высших сферах, — вас прямо не оторвать от него. Другие хотя бы фильм, а вы — чуть не до драки с ними: сессию смотреть.

— Ну, а почему... я не поняла... если интересно... — Альбина вся напряглась, боясь неосторожным словом нанести какой-нибудь ущерб Ему. Слишком близко подступила врачахи к ее тайне.

— Нет, это хорошо, что интересно, — согласилась врачахи. — Но мне кажется, вам как-то по-особенному интересно. Слово бы вас это как-то лично касается. Да?

Альбина понимала, что нужно запутывать след. Она ощущала себя зайцем, убегающим от гончей, и горячее собачье дыхание уже опаляло сзади ее беззащитное заячье тело.

— Ну так ведь нужно же развлекаться каким-то образом, — сказала она. — Скучно ведь. А там, на сессиях этих, такой цирк! Да что цирк! Цирк ни в какое сравнение не идет.

— Значит, это для вас, как развлечение? — уточнила врачахи.

— Ну так! — подтвердила Альбина.

Врачиха сидела, молча смотрела на нее, и по глазам врачахи Альбина не могла понять, удалось ей сбить преследующую ее гончую со следа или нет.

Ей казалось, что все-таки удалось. О том свидетельствовало и собственно это вот растерянное врачахино молчание, и то щадящее лечение, которое она не заменяла ни на какое другое.

И Альбина решила пойти в атаку сама. На очередной беседе она потребовала от врачахи выписать ее из больницы.

Врачиха, похоже, ждала от нее чего-то подобного. Она вся переменялась лицом, глаза ее оживились, и рука, потянувшись к волосам, поправила белокурый локон, убрала со лба, спрятав наполовину под шапочку.

— Выпишем, непременно, — сказала она. — Только нужно вам хорошенько поправить здоровье.

— Так уж поправляете, поправляете... разве не поправили? — сделала удивленный вид Альбина.

— Вы же нам не помогаете, — сказала врачахи.

— Как это не помогаю? Что я такое делаю?

— А вот к знахарке вы ездили, обращались к ней. Почему вы к ней ездили? С чем обращались, с какими жалобами?

Муж сообщил, машину брала у него, сообразила Альбина. А может быть, и бухгалтерша. Наверное, врачахи приглашала на беседу и бухгалтершу.

— С геморроем обращалась, — сказала она, вспоминая свой разговор с бухгалтершей.

— С каким вы геморроем обращались, что вы! — увещевающе и лас-

* Вскоре после выступления Б. Ельцина по телевидению с критикой М. Горбачева в печати появилось так называемое «письмо шести», в котором шесть членов Президиума Верховного Совета РСФСР заявили протест против действий Б. Ельцина, призвав к его переизбранию. По их инициативе 28 марта 1991 г. был собран внеочередной съезд народных депутатов России с единственной целью: сместить Б. Ельцина. С незначительным перевесом голосов Б. Ельцину удалось удержаться на своем посту главы Верховного Совета. В день открытия съезда в Москве состоялся многотысячный митинг в поддержку Б. Ельцина. Дабы воспрепятствовать его проведению, весь центр столицы был перекрыт военными грузовиками. Численность привлеченных к операции войск составила, должно быть, несколько десятков тысяч человек.

ково произнесла врачаха. — Нет у вас никакого геморроя, неделю назад наш специалист вас смотрел. Зачем вы мне врете?

— Сейчас нет, тогда был, — нашлась Альбина. — Вылечилась.

Врачиха улыбнулась, отрицательно качнув головой.

— Не было у вас никакого геморроя. Я на этот счет специально поинтересовалась. Дурака вы валяете и больше ничего!

Альбина потерялась, не зная, как отвечать. Она услышала за спиной запаленное дыхание гончей, и ее обожгло воспоминанием о прошлом пребывании здесь, об ужасе инсулиновой смерти, о том землетрясении... о, она не хотела повторения этого, она не могла этого допустить!

— И про мужа подруги вы мне наврали, не отрицайте. Вы ведь все врете. Врете и врете. Оно бы и бог с вами, но в вашем случае, при вашей болезни — это очень нехороший симптом. Мне бы хотелось, чтобы вы признались, что говорили неправду. Признаетесь, и ваш организм сам собой начнет излечиваться. Это такая болезнь. Сам себя будет лечить. Только признайтесь!

Зубы гончей, пытаясь схватить ее, уже роняли слюну на ее кроличью шерсть, еще мгновение, другое — и ей конец, летит кубарем, острые клыки, прорывая шкуру на горле, перекусывают артерию... Она была разоблачена, хитрость ее была разгадана, и ее будут теперь держать здесь и держать, теперь ей не выбраться отсюда, не сдавшись им на милость... Но ждать от них настоящей милости — это бессмысленно.

Она использовала, чтобы освободить себя от дальнейшего разговора с врачихой, то единственное средство, что было доступно ей сейчас в ее положении: заплакала. Рыдала, уткнув лицо в ладони, сотрясалась всем телом, а надо сказать, и не особенно ей приходилось стараться, изображая свое страдание: так горько было, что и вправду хотелось рыдать.

Ей тут же, в кабинете, вкатили успокаивающий укол, увели в палату, она уснула, а когда проснулась, едва открыла глаза, отпуская от себя стремительно несущиеся качели, уже знала: бежать отсюда! Бежать во что бы то ни стало!

Мозг работал с четкостью и стремительностью компьютера. Без сторонней помощи, формулировал он, бежать из больницы она не сможет. Нужен кто-то, кто принесет ей одежду, даст хорошие деньги медсестрам за разрешение, когда из врачей никого не останется, встретиться вечером за дверью отделения на лестничной клетке; и, если заранее будет готов ключ от наружной двери, тогда уже покинуть больницу ничего не стоит. И кто это может быть ее помощником, компьютер внутри нее тоже выдал без промедления: младший сын. Ни муж, ни невестка, ни старший сын — никто, равно как и Нина с бухгалтершей, не был заинтересован в ее побеге. И младший сын тоже не имел в том, конечно же, никакой корысти, но для него, чувствовала она, было бы заманчиво способствовать ей в этом деле из чисто спортивного интереса. И, кстати, вместо ключа он вполне мог бы воспользоваться отмычкой; если у него самого и нет ее, то именно он, никто другой, представляет себе, где ее достать.

Что делать, как быть после того, как оставит больницу, — вот этого она не знала. Возвращение домой исключалось. Ее тут же сдали бы обратно, без всякой жалости. А если бы вдруг не сдали, то из больницы, разыскивая ее, первым делом пришли бы куда-нибудь, а, конечно, домой, и уж когда бы пришли, то едва ли кто предпочел ее укрывать, а не вернуть на лечение.

Но между тем она даже не хотела задумываться, как быть после побега. Бежать, неумолчно звучало в ней, бежать! А что там простиралось за бегством, было словно бы неважно, несущественно было; словно бы этим ее бегством само собой и окончательно разрешалось и все дальнейшее.

Уже совсем ночью на следующий день, когда, наверно, спал уже и дежурный врач, она за две шоколадные плитки медсестре получила доступ к телефону в ординаторской. Медсестра, чтобы не допустить больше ничего противозаконного, стояла в дверях, следила, но она не собиралась ни делать, ни говорить ничего непопозволенного. «Ал! Кто это?! — рванул там у себя трубку муж. — Который час, понимаете?!» Младший сын, на ее счастье, был уже дома и даже спал. Подними, распорядилась она. Младший за все время, что она лежала нынче в больнице, появился у нее всего раз, и она будто бы хотела попенять ему за то.

Несколько дней спустя младший сын был у нее.

— Ты что, мамань, совсем с болтов соскочила, бегать отсюда?! — в свойственной ему манере воскликнул он, когда она объяснила ему, что от него требуется. — Это тебе лагерь, что ли, тебе срок, что ли, мотать, как до Луны, невтерпеж стало?

Он уже не работал на оборонном заводе, на который его в свою пору устроил муж, а болтался в охране кооперативного ларька, одного из тех, что во множестве выросли за последние месяцы на центральных улицах города, армии больше не боялся — хрен они меня в военкомат затащат, ссал я на них, не те теперь времена, говорил он, и все качал и качал мышцы, так что руки уже были у него, как два калача.

— А может быть, тут хуже лагеря, — сказала Альбина. Она знала, на что бить, чтобы ее младший загорелся помочь ей. — Без суда, без следствия, ничего не доказано, а держат. Может, меня десять лет тут продержат!

— Какие десять, что говоришь! — воскликнул сын. — Как это так?!

— А есть, и по двадцать сидят, — перебивая свои слова тяжелым вздохом, сказала Альбина. — Без суда, без следствия...

Они стояли у сетчатой металлической ограды прогулочной площадки, за спиной у себя Альбина слышала чавканье раскисшей земли и расквашенного снега под ногами ходивших по кругу больных, — был уже апрель, все таяло, но тепло наступало на холода по-черепаши, и эта вялость весны раздражала Альбину. Раздражала и подстегивала к побегу. Тем более что молниевое кипение вокруг Него усиливалось день от дня. Широкий человек, с непомерно объемным животом, весь — и лицом — похожий на неторопливого, основательного хомяка, в тонкой оправы очках на клювистом носу и редкостно стриженный бобриком, избранный Им своею правой рукой вскоре после той январской угрозы кровью, выступая на очередном сборе высшей партийной власти, вдруг произнес речь, распалившую съехавшихся бонз до белого накала, человек за человеком они поднимались на трибуну и требовали Его отставки, ревели из зала: «Вон!» — Хомяк ослаблял Его, действовал Ему во вред*, она ясно видела это. Хомяк был врагом, настоящим, неприкрытым, она это видела, и не защитит Его от Хомяка сейчас — потом уже будет поздно. Бежать, бежать, колотилось в Альбине. И казалось, что как убежит, так окончательно полыхнет и весна, придет настоящее тепло, снег мгновенно дотает, земля высохнет и ударит из себя свежей зеленью, и свежей зеленью опухнут деревья с кустарниками.

— А ты, мамань, что думаешь, в самом деле отсюда рвануть можно? — спросил сын.

24

Было уже совсем темно, фонари горели только на центральной боковой дороге, ведущей к выходу, и, пробираясь хлюпающей тропой в зарослях ветвистого колючего кустарника к пролomu в бетонном заборе, Альбина то и дело оскальзывалась, влетала в секущее царепливое кружево и раз-таки упала, глубоко утонув рукой в жидкой холодной земле. Идти центральной дорогой, а затем проходить через будку дежурного в воротах — это было отвергнуто ею с самого начала, и она попросила сына как следует исследовать территорию и найти другой путь. Исчезновение ее могло быть обнаружено сразу же после бегства, дежурный в будке уведомлен о том, и ее бы элементарно задержали там.

— Ну, пролезешь? — спросил сын, ловко проныривая вместе с сумкой в пролом между бетонными спицами.

Она вся подобралась, наклонив голову, перенесла ногу на другую сторону забора и, ухватившись руками за спицу, стала протискиваться. Грудь под пальто смялась, ягодица, пролезши наполовину, застряла, она проталкивала себя мелкими червеобразными движениями, и ничего не получалось.

* 14 января 1991 г. Верховный Совет СССР утвердил по представлению М. Горбачева премьер-министром СССР Валентина Павлова, бывшего до того министром финансов. Делая доклад на объединенном Пленуме Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии КПСС 24 апреля 1991 г., В. Павлов выступил по сути с ревизией прежнего экономического и идеологического курса М. Горбачева.

— Да смелее ты, е-мое! — схватил ее под локоть сын и рванул.

— И-и! — каким-то писком невольно вырвалось из нее от боли в груди и крестце, но была уже на свободе, здесь, с вольной стороны забора, и только еще вторая нога оставалась внутри.

— А ты, дурочка, боялась! — снисходительно проговорил сын.

В ней все так и полыхнуло неприязнью к нему. Он произнес это, словно она была какой-то его девчонкой, его покорной шлюшкой, и он мог обращаться с нею, как ему заблагорассудится.

— Все, давай, — протянула она руку к сумке. В сумке лежала ее одежда и всякие мелкие личные вещи, которые сын по составленному списку взял из дома, все это, по ее разумению, могло потребоваться ей в ее послебольничной жизни. — Давай. И иди.

Кроме неприязни к нему, она не испытывала больше ничего. В ней не было даже чувства благодарности. Та отстраненность, с которой она всегда относилась к детям, сделалась теперь более чем холодностью; ей казалось: она исполняла свой долг, исполнила его, вырастив их, и ныне свободна от всякой ответственности.

— Да чего ты, потащ! — отдернул он сумку, не давая ей взять ту. — Мне — ништяк, а тебе тяжело.

— Давай, говорю! — ухватила она за ручки, потащила к себе, и он отпустил их. — Все, иди! Спасибо, помог. Иди теперь!

— Да ну, а ты что? Ты-то куда? — непонимающе заприговаривал он. — Ты что, не домой?

— Не твое дело! Все! Иди! — снова приказала она.

Он переступил около нее с ноги на ногу, матюгнулся, отступил на шаг, постоял, снова матюгнулся и быстро, не произнеся слов прощания, пошел прочь.

Он пошел, и она вспомнила еще об одной вещи, которая нужна была ей от него.

— Постой, эй! Скорый какой! — окликнула она сына.

Он остановился. Опять переступил там, на расстоянии, с ноги на ногу, как бы покачался вперед-назад, и медленно направился к ней обратно.

— Чего такое еще?

— Деньги с собой есть? — спросила она.

Она знала, что есть. У него с той поры, как стал охранять этот ларек, всегда теперь были полные карманы денег.

— Ну, есть деньги. А что?

— Дай, сколько можешь. Рублей сто. Или двести.

— Зачем тебе деньги? Ты чего хочешь-то? — сообразил наконец спросить он.

— Брось мне — «чего хочешь»! — взвилась она. — Ты мне бежать помог, ты соучастник, давай без допросов! Чего хочу — того хочу. Денег давай!

— Триста возьмешь? — пошуршав у себя в карманах, протянул он ей деньги. Она взяла, и он спросил: — Так ты не домой, что ли?

— Иди, все! — махнула она рукой. — Иди, не зли меня. И не треплись ни о чем. Молчи как рыба!

Сын исчез в темноте, окружающей пространство больницы, она постояла, прислушиваясь к себе, что ей подсказывает некий руководящий ею голос, и, подняв с земли сумку, пошла к автобусной остановке. Она вспомнила: ощущение свободы все последние дни в больнице ассоциировалось у нее с автобусом, с поездкой в нем, с бегущими за автобусными окнами мокрыми улицами, силуэтами деревьев, горящими окнами домов... Нужно было сесть на автобус.

Конечная остановка автобуса, в который она села около больницы, не глянув на номер, первый, какой подкатил, оказалась вокзалом. Она вышла вместе со всеми, попав в спешащую, звучногласую толпу, текущую к ярко освещенному многими огнями вокзальному зданию, и ноги после некоторой заминки понесли ее в этом потоке по течению.

Мигающая разноцветными лампочками стеклянная доска со стрелкой указывала дорогу в видеозал, где, согласно написанной от руки афишей рядом, показывали сегодня американский супербоевик под названием «Терминатор». И снова, словно бы сами собой, ноги повели ее туда, куда указывала стрелка, ближайший сеанс начинался через полчаса, она купила

билет, походила по гулким, кипящим народом, грязным вокзальным просторам минут двадцать и вернулась к видеозалу. В зал уже запускали, она показала билет, прошла к дальним рядам, хотя из-за маленького экрана все стремились сесть на первые ряды, устроилась в самом последнем ряду и стала ждать темноты.

Тут, в этом видеозале, она и провела всю ночь. Выходя после сеанса, покупая новый билет и тотчас возвращаясь на свое прежнее место. Спать в зале ожидания, открытой любому взгляду, это было исключено, так ей подсказывал голос внутри. Не хватало только выставиться на обозрение обходящим залы дежурным милиционерам, которые своим наметанным глазом тотчас распознали бы в ней никакого не пассажира.

Последний ночной сеанс закончился около семи утра. В туалете, вход в который был теперь платный и стоил рубль, Альбина обнаружила, что вся ее левая рука в грязи, как в перчатке, и, когда шевелишь пальцами, с них сыплется серый прах. И весь левый рукав пальто прямо с обшлага тоже в засохшей грязи, и в грязи весь подол сзади. Вчера она этих последствий своего падения на осклизлой тропе просто не замечала.

У входа в туалет, за спиной у смотрительницы, взимавшей плату, висела, обратила внимание Альбина, еще принимая от нее сдачу со своей пятерки, довольно чистенькая, покрытая розовой салфеткой полочка с лежащими на ней обувной и плательной щетками. Не моя рук, она подошла к смотрительнице и попросила ту:

— Щетку вашу, почиститься, можно?

Смотрительница, с непонятым интересом разглядывавшая деньги в выдвинутом ящике тумбочки перед ней, подняла на Альбину глаза, пытаясь осознать, о чем ее попросили, и вдруг лицо ее осветилось радостью:

— Мобут твою Касавубу, кого вижу! Давно от Изольдовны?

Изольдовна — было отчество гренадерши-врачихи, смотрительница точно ни с кем не спутала Альбину, и в следующий миг Альбина узнала ее: это была та самая маниакальщица, с которой лежали в больнице в прошлый раз. И странно, к собственному удивлению, Альбина тоже обрадовалась.

— Мобут твою Касавубу! — увидев, что ее узнали, снова, теперь с удовольствием, щегольнула ругательством их юности маниакальщица.

— Не трожь святое, — в тон ей отозвалась Альбина, — еще Патриса Лумумбу вспомни! — И, не отдавая себе отчета в том, что делает, по некоему наитию призналась ей: — От Изольдовны я вчера вечером. Вчера днем, как тебя, ее видела...

— Ни хрена себе! — перебив ее, ахнула маниакальщица, услышав, что Альбина сбежала. — А как ты будешь? Куда ты денешься-то? Ни на работу пойти, ни бюллетень закрыть... Ты же в капкане, куда из капкана? Все равно к ним обратно придется! Только теперь сульфазин в жопу — и лай по-собачьи. Сульфазином кололи тебя? Нет? Инсулин твой — бирюльки против него. Это тебя как на дыбу поднимут.

— А я к ним не попаду больше, — сказала Альбина. — Не получат они меня.

Она была уверена в том: не получат. Не вернется она туда к ним ни за что! А как там все образуется с ее дальнейшей жизнью — это ее совершенно не заботило.

Они разговаривали, а за спиной у Альбины накопилась между тем очередь в несколько человек.

— Погоди, в девять меня сменят, ко мне поедем, — отстраняя Альбину рукой с пути очереди, предложила маниакальщица.

В девять Альбина снова была в туалете, маниакальщица немного погодя освободилась, и они вместе вышли на кипящую народом привокзальную площадь.

— Знаешь, где живу? — сказала маниакальщица, когда уже ехали в автобусе. И зашлась в смехе: — Ни в жизнь не угадаешь! Наостомыздила я им обоим с циклотомией своей, не знают, куда от меня деться, ну, у меня тоже гордость, я им говорю: ладно, не хотите моих щей, жрите консервы...

— Кому «им»? — спросила Альбина.

— Ну, кобелям своим, шоферам. Они у меня оба шоферы: и муж и сын. Рос — космонавтом хотел, вырос — в шоферы пошел. Я их

понимаю: восемнадцать метров в коммуналке, им на меня глядеть — как укус пить, а тут нос в нос все время... Ну, вот увидишь!

Автобус привез их на неизвестную Альбине окраину города. Дома стояли лишь с одной стороны шоссе, а с другой — раскинулось поле, шел широкой полосой кустарник, начинался лес; и по окраине леса, поднятая насыпью, тянулась железная дорога.

Маниакальщица глянула на забрызганные доверху грязью Альбины туфли на шнурках и поморщилась.

— Ладно, а что делать, — как самой себе сказала она потом и махнула Альбине рукой: — Идем.

Они прошли обочиной пустынного шоссе метров сто, до полосы кустарника, маниакальщица, велев Альбине ждать, полезла в гущу ветвей и, наклонившись, вытащила оттуда измызганный белый полиэтиленовый пакет с ручками. Из пакета она извлекла красные резиновые сапоги в засохшей грязи, обстучала их и, придерживаясь за Альбину, стала переобуваться.

— Ничего, и ты пройдешь, — приговаривала она, переобуваясь. — У меня там какие-то коты есть, их возьмешь. Промокнешь — обсушишься, у меня там печка — у, зверь!

— Что там у тебя, — спросила Альбина, — садовый домик?

Маниакальщица захохотала.

— Садовый домик у меня там, — сквозь смех с довольством приговаривала она. — Ага, садовый. Вот увидишь!

Путь и в самом деле оказался не слишком грязен. Вдоль кустарника была натоптана тропка, снег на ней уплотнился под ногой, заледенел от весеннего солнца и до сих пор не сошел. Альбина вспомнила, как она жила в своем садовом домике и какой неодолимой проблемой для нее стала в наступающей зиме дорога через лес.

— Много народу ходит, так утопано? — спросила она.

Маниакальщица снова захохотала.

— Трамвай одиннадцатый номер ходит. Мои две на собственной тяге. После пурги, было, раз десять туда-сюда пропахивала. С утра до вечера, целый день.

Альбина не поверила.

— Как это?

— Так это, как это! — не вдаваясь в объяснения, отозвалась маниакальщица. — За идею народ — что? знаешь? — Зимний штурмом брал.

Они перебрались через насыпь, за насыпью оказался овраг со звеневшим по дну ручьем, но в продолжение натоптанной тропки через ручей были переброшены две жердины, а когда поднялись на другую сторону оврага, в лес, там в самых тяжелых местах оказались набросаны для удобства даже горбылевые доски.

Альбина ничего не понимала.

— У тебя избушка в лесу, что ли? — спросила она.

— На курьих ножках, ага! — хмыкнула маниакальщица.

Они снова вышли к оврагу, видимо, сделавшему где-то неподалеку поворот, спустились немного по его склону, маниакальщица опять пошарила в кустарнике, но вытащила оттуда на этот раз никакой не полиэтиленовый пакет, а маленький ломик-фомку.

— Ну-кося! — попросила она сойти с ее места Альбину. Сунула ломик в дерн с прошлогодней мочальной травой и, присев от натуги, потянула ломик наверх. Квадратный большой кусок дерна отделился от склона и отвалился на сторону.

Это была землянка — где она жила!

— Годи! — приказала маниакальщица. Застучала по деревянным ступеням вниз, из темноты землянки до Альбины донеслись звуки ее движений внутри, какой-то шорох, какой-то звяк, ширкнула затем спичка, и в мгновенном вылете огня от сгорающей серы Альбина увидела керосиновую лампу со снятым стеклом и малиновые руки маниакальщицы, несущие спичку к фитилю. — Теперь давай! — сказала маниакальщица, спустя полминуты, надев стекло и отрегулировав огонь. — Теперь не навернешся.

Пригнув голову, Альбина шагнула на ступеньки, осторожно сошла по ним и еще спускалась, грудь ей сжало от сперто-сырого погребного духа, стоявшего внутри.

Маниакальщица дала ей сойти вниз и бросилась обратно наверх, закрыв замаскированную дерном дверь.

— Не хрена студить, потом проветрим!

Альбина, опустив на пол тяжелую парусиновую сумку, которую маниакальщица еще на вокзале дала нести ей, с изумлением оглядывалась. Она не могла и представить себе, что где-то и у кого-то возможно такое жилище. Потолок землянки — сучкастые, плохо обработанные, с неряшливо снятой корой бревна — был в тридцати сантиметрах над ее головой, одна стена, около которой стояла железная кровать с постелью и кучей одежды сверху, обшита горбылем, а остальные слюдянисто сочились живой весенней влагой, пол деревянный, но в щелях между досками поблескивала в красноватом свете керосиновой лампы вода, и в двух или трех местах с явственной отчетливостью перешлепывалась капель. Кроме кровати, стоял стол посередине, две табуретки рядом, больничного вида тумбочка в одном углу, да в другом — небольшая печка, видимо, из тех, что именовали прежде «буржуйками», с выходящей из нее коленом и вонзающейся в потолок трубой. Альбина вспомнила, что, когда начали спускаться вниз по склону, ухватила рукой за какой-то странный, гладкокорый, идеально прямой безветвистый обломанный ствол с непонятною полукруглой нашлапкой наверху, о котором, как отняла руку, тут же забыла, и поняла сейчас, что это была выкрашенная бурой краской, закамуфлированная под засохшее дерево асбестовая труба.

Маниакальщица закрыла дверь и протопала по ступеням вниз.

— Сейчас с тобой «голландку» нашу зажжем, десять минут — и тепло, до голяка разденемся, чай заварим, у меня тут еще картошка вчерашняя...

Она хлопнула дверцей «буржуйки», открыв ее, пошерудила внутри железным прутом, освобождая колосники от золы, сунула туда газету, положила сверху заранее заготовленные, лежавшие под печкой лучины, а на них — два тонких березовых полешка, достав их из-под кровати.

— Она у меня, милая, — с одного раза, такая подруга — лучше нет, — приговаривала маниакальщица, чиркая спичкой и подсовываясь с ее пламенем к смятой газете. — Ты там из сумки-то доставай, чай ставить будем, — снова приказала она Альбине.

Альбина расстегнула большие пальтовые пуговицы, на которые застегивалась самодельного изготовления парусиновая сумка, там оказались голубая пластмассовая канистра и белая пластмассовая фляга, в них плескалось, и Альбина сообразила, что это вода.

Огонь в печи затрещал, охватывая лучины, маниакальщица захлопнула дверцу и рогулькой стала скидывать круги с конфорки.

— Чайник вон возьми, — распорядилась она, ткнув рукой куда-то в темноту около печки. Альбина подошла, присмотрелась, увидела горку кастрюлек, сковороду, чайник на полу и, наклонясь, взяла чайник. — Ставь на огонь, воду наливавай, — распорядилась маниакальщица дальше, полезши под кровать за новыми поленьями.

В землянке действительно стало тепло очень быстро, они стали скидывать с себя одну одежду за другой, и маниакальщица приоткрыла дверь, подперла ее колом, чтобы внутрь заходил свежий воздух. И все это время, возясь по хозяйству, мечась по землянке туда-сюда, она рассказывала с довольством:

— Ни хрена я обосновалась, да? Хрен меня кто здесь достанет! Шоферюги мои придут ко мне на вокзал на опохмелку просить: где да где? — а я им: нигде! — И хохотала: — Скажи, да? Год скоро будет, как здесь. Как из дурдома вышла. И что думаешь? Осень проскочила, не попала туда. Что значит — спокойная жизнь! И весну эту, гляжу, проскочу. Раньше, как март, я — непременно, а теперь апрель, гляди! Я выписалась, шоферюги мои на меня — ну шипеть! Да нужно мне это! А сюда никто не заходит, место тут: ни город, ни лес, — а какой иднот забредет, увидит жильё — дает деру, пятки сверкают!

— Что, сама все копала? И все остальное? — вставилась в этот рассказ с волнованшим ее вопросом Альбина.

— И сама, чего! — горделиво сказала маниакальщица. — А лес валить, бревна пилить — драля своего заставила. Ему ж самому ко мне ходить сюда. Вот он придет, увидишь. Без драля все ж нельзя, скажи?

И драль, он драль и есть, не муж, не сын, я ему ничего не должна, сам мне еще должен, скажи? У тебя какой есть, нет, как ты устраиваться будешь?

— Никак, — сказала Альбина.

— Как это никак? — изумилась маниакальщица.

— Ну так, — с неохотой отозвалась Альбина. Не было у нее желания говорить ни о чем подобном. — Не интересует меня все это.

— А-а! — поняливо протянула маниакальщица. — Депрессия у тебя, значит. — И спросила с заботой: — Может, тебе не нужно было сбегать? Может, подумаешь-подумаешь — да вернешься?

В Альбине при этих ее словах все содрогнулось от судороги ненависти к тем помещениям, в которых находилась еще полсуток назад, и завопило истошно: «Нет! Нет! Не-ет!»

— Так чего ты тогда делать-то собираешься? — спросила ее маниакальщица уже не в первый раз, просто до того Альбина не отвечала ей, когда наконец сели за стол, за парившую аппетитно вареную картошку, за горячий чай с сахаром вприкуску.

— Подаяние пойду просить! — все так же, не зная, что ответить ей и чтобы хоть как-то отвязаться, брякнула Альбина.

Но маниакальщица неожиданно возбудилась.

— Дело! Дело! — заприговаривала она. — Я тебе помогу! Это, думаешь, просто: оделась, пошла — и встала? Хрена с два! Раз сойдет, на другой поймают — отмыздат так, ползать не сможешь.

— Кто? Что ты говоришь? — поражаясь серьезности, с которой маниакальщица восприняла ее бред, спросила Альбина.

— А сами они, кто! Или их пристебаи! — сказала маниакальщица. — Ты же куда, ты же в центр пойдешь? А там каждый угол расписан, ты не суйся!

Альбине сделалось интересно. Гляди-ка ты!

— А как же тогда? — осведомилась она.

— Вот я ж тебе говорю, я тебе помогу! — рассердилась на нее за непонятливость маниакальщица. — Драль мой там ходы знает, он сделает. Все в лучшем виде будет!

— А жить здесь у себя позволишь? — неожиданно для себя поинтересовалась Альбина. Поинтересовалась — и снова вся содрогнулась; только теперь это была судорога омерзения к самой себе: словно бы внутренне она уже приняла предложение своей больной знакомицы и примерялась сейчас к реальности той жизни, которую сулило ей занятие попрошайничеством.

— Чего, поживи пока, а там видно будет, — ответила маниакальщица. — Чего-нибудь придумаем, соорудим постель тебе.

— У тебя здесь славно. Хорошо у тебя здесь, — сказала Альбина. И поймала себя на том, что ей действительно нравится здесь, хорошо ей здесь, по сердцу, и уж не замечает сырости и спертости воздуха, запаха мокрой земли, — все здесь по ней, все ее здесь устраивает.

25

Так Альбина стала нищенкой. Место ей определили на улице, в квартале от одного из центральных городских «Гастрономов»; народу здесь было много всегда, и монетки на расстеленную перед нею на асфальте темную тряпицу летели постоянно: и десятички, и пятнадцатки, и двадцатчики, а если медь, то сразу несколько монет. Иногда кидали и рубли, что случилось все-таки редко, а молодые шикарные люди в стильных длинных пальто с поясами, которых во множестве развелось за последний год, давали и по тройку, если бывали с женщинами. Наряд из двух милиционеров, несших дежурство неподалеку от Альбины на углу перекрестка, где сходились трамвайные пути, была трамвайная остановка и народ там по-вокзальному кипел, совершая обход прилегающих к перекрестку людных участков улиц, словно б не замечал ее, только кто-нибудь из милиционеров, приблизившись, вдруг начинал почему-то звучно постукивать себя по ноге висящей на кисти черной резиновой дубинкой.

Просидев, сколько у нее хватало сил и собрав достаточную, по ее разумению, на сегодня сумму, Альбина поднималась и шла в определен-

ный ей магазин менять мелочь на купюры. Для обмена ей был назначен маленький магазинчик на тихой малолюдной улице, она заходила вовнутрь, за прилавок, разыскивала замдиректора, толстотелую, кругощеку бабу, та вела ее к стоявшим у себя в закутке весам, взвешивала Альбинину мелочь и отсчитывала затем положенное количество бумажных денег.

Раз в неделю, в строго условленный час, она должна была отдать обговоренную сумму человеку, который ждал ее в одном из городских парков культуры и отдыха на скамейке около скульптуры гипсового дискобола. За неделю положено ей было отдать четыреста рублей. Четыреста разделить на семь или на шесть, — получалось, подсчитала она, ей полагалось собирать в день не меньше семидесяти рублей; случались дни, особенно в непогоду, когда она не набирала этой суммы, но бывали и такие, когда набирала по несколько раз столько.

Собирать милостыню, чтоб ее никто не опознал, она ходила в чужой одежде, выменяв у маниакальщицы свой приличный шерстяной костюм из сумки на какой-то темно-серый, почти черный балахон и совершенно черный грубоотканый платок, который надевала на голову кульком, так что лицо ее все утонуло в его глубине, скрываясь в тени, как в коконе, да еще ваксила тушь подглазья, чтобы исказить собственно черты лица, и сидела на тротуаре, всегда опустив взгляд в асфальт перед собой. Может быть, проходили мимо и даже бросали ей монетки на расстеленный платок сыновья, — но ни они не могли признать ее, ни она, наблюдающая в основном лишь ноги, не могла бы утверждать, что кто-то из сыновей действительно прошел мимо.

Поменяв в магазине у замдиректорши звенящую мелочь на беззвучные купюры, она заходила в облюбованный двухэтажный дом рядом, поднималась на чердачную площадку лестничного марша и здесь стаскивала с себя нищенскую одежду, убирая ее в большой полиэтиленовый пакет. Под нищенским одеянием она носила одежду обычную, и процесс перевоплощения занимал не более полминуты. Но тени вокруг глаз она не стирала и остаться без платка тоже не решалась, она лишь заменяла черный на темно-коричневый в цветочках и повязывала его таким же кульком, что и нищенский.

Следующим делом, которое она совершала, было посещение газетного киоска, где для нее оставляли набор газет, который она покупала ежедневно. Киоскер никогда не подводил ее, всегда весь набор газет был подготовлен, и еще всегда же предлагал что-нибудь дополнительное: «А вот «Неделя», очень интересная статья про итальянскую мафию, не желаете?» Она отказывалась. Не интересовала ее никакая итальянская мафия. Ее интересовало одно: Его дела, — и она покупала газеты только из-за Него.

Взяв в киоске газеты, она садилась на трамвай, проезжала три остановки и, сойдя, отправлялась в обнаруженную ею диетическую столовую, где в эту пору, когда она приходила, народу почти не было, сплошь пустые пластмассовые столы, и сиди после обеда, читай газеты, хоть целый час, — никто не гнал.

Однако одних газет ей не хватало, ей требовалось видеть Его, и после столовой она ехала автобусом в специализированный магазин радиотоваров, — там в квадратных ячейках на стеллажах стояли исчезнувшие отовсюду телевизоры, которые в этом магазине продавали по некоей особой разнарядке только участникам Великой Отечественной войны, три-четыре телевизора были всегда включены, и она проводила около них время, оставшееся до закрытия магазина. Магазин закрывался в семь часов, и, выйдя из него, она ехала в центральный городской универмаг, работавший до девяти: там раз-другой в неделю телевизоры тоже появлялись в продаже, и тогда в восемь вечера можно было посмотреть новую информационную программу, которая стала выходить в дополнение к основной, девятичасовой, только по другому каналу.

Бегство ее из больницы, как она смогла убедиться почти незамедлительно, оказалось совершенно оправданным. Тот клювоносый, в тонкой оправе очки на хомячем лице, пытавшийся навредить Ему, ослабить Его, был повержен Им, как тряпичная кукла, как огородное пугало, возмнившее себя под порывами ветра, шевелившими его, действительно живым существом, — она видела в магазине радиотоваров Его выступление,

когда Он топтал клювоносого, показывая тому его место, и все в ней захлебывалось и заходило радостью: спасен, спасен, спасен! *

О, это были удивительно счастливые дни. Как крылья носили ее, она чувствовала себя и в самом деле едва не птицей, такая легкость была в груди — хотелось разбежаться, замахать руками и взмыть в воздух.

И погода, едва обрела свободу, тоже тотчас переменялась, весна словно бы обрела силы, температура скакнула за один день к двадцати градусам, снег стаял в мгновение ока, асфальт повсюду сделался сух, земля запарила, подсыхая, и в одно утро, приехав в город просить милостыню, Альбина увидела, что очистившиеся газоны окурились зеленым дымком.

Поле, однако, через которое пролегал единственный путь до землянки, совершенно раскисло, и Альбине пришлось искать себе по магазинам сапоги — магазины были пусты, голые полки с пирамидками пластмассовых плоских банок с обувным кремом, — и в конце концов она купила их с рук на городском рынке. По утрам, выходя на шоссе, она снимала сапоги, клала их по примеру маниакальщицы в плотный полиэтиленовый пакет и так же, как та, прятала пакет в кустах.

В обязанности ее входило приносить овощи и воду в белой пластмассовой фляге. Без овощей иной день можно было и прийти, а вода требовалась ежедневно, и она всегда возвращалась нагруженная. Спала она на полуразвалившейся раскладушке, которую приволок любовник маниакальщицы, впрочем, та неизменно называла его только драль, и никак по-другому. Альбина некоторое время опасалась, что придется терпеть рядом с собой их возню, но маниакальщица почти всегда дежурила ночью, возвращалась утром, и любовник ее приходил к ней обычно в дневную пору, а ночи Альбина проводила в землянке одна.

Раз, проходя мимо застекленного стенда на стене дома с наклеенными внутри листовками, крупная типографская надпись на которых гласила: «Их разыскивает милиция», она, словно бы повинувшись некоему невнятному зову, остановилась, стала просматривать листовки и увидела свою фотографию. Только на ее листовке текст гласил: «Помогите найти человека», и вместо слов «за совершение тяжкого преступления» стояло: «потерялась». Альбина читала, перечитывала текст — и будто не про себя читала, будто не про нее писалось, про кого-то другого. Фотография была ее, ее была фамилия и имя, но она, читавшая все это, не имела к пропавшей женщине никакого отношения.

И такая уверенность была в ней, что между женщиной на портрете и собственно ею нет ничего общего, что она даже не запаниковала — вдруг ее опознают, ничуть не обеспокоилась объявленным розыском: не опознавали до того, не опознают и впредь.

А весна между тем все неудержимей рвалась к лету, раскрылись почки на деревьях в городе, а немного спустя зазеленел и лес, прокатились майские праздники, потом праздник Победы, и в один прекрасный день Альбина неожиданно обнаружила, что можно наконец пересечь поле и без сапог.

Что ее беспокоило и даже несколько угнетало, — это ее физическое состояние. Она и вообще-то с той поры, когда пришлось обратиться к знахарке, не чувствовала себя вполне здоровой, всегда оставалась какая-то слабость в теле, и то вдруг страшно, жутко хотелось есть, то не могла засунуть куска в рот, но сейчас, может быть, оттого, что целыми днями еще до наступления тепла сидела на холдном асфальте и несколько простудилась, ей приходилось перемогаться, сидела, смотрела на идущие мимо ноги — и ноги виделись словно бы сквозь колыхание воздуха. Правда, она старалась не обращать на свое состояние внимания, как бы даже не замечать его, и ей это удавалось: день она чувствовала себя лучше, день хуже, однако не так, чтобы свалиться с ног.

Но длиться этой жизни было суждено лишь до первых июньских дней. Маниакальщица в те редкие их встречи — чаще всего по утрам, когда

* На объединенном Пленуме Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии КПСС, проходившем 24—25 апреля 1991 г., М. Горбачев заявил о своей отставке с поста Генерального секретаря партии, которая, однако, не была принята. Свое заключительное слово на Пленуме М. Горбачев, не называя имени В. Павлова, практически посвятил полемике с фундаментальными положениями его доклада.

Альбина еще не ушла, а она, оддежурившись, уже возвращалась — стала вдруг проявлять к доходам Альбины повышенный интерес.

— Драль мой говорит, ты пятьсот рублей в день имеешь, так, нет? — спрашивала она.

— Ну что ты, какие пятьсот, — отвечала Альбина.

— Как нет, он знает, — говорила маниакальщица.

— Да нет же, ну!

Альбина раскладывала перед нею полный пасьянс из своих доходов, маниакальщица слушала с недоверием, слушала и перебивала неожиданно:

— А где ты хранишь-то их, такие тысячи? Такие тысячи с собой не потаскаешь ведь, да?

— Да какие тысячи, господи! — теряла терпение Альбина.

Маниакальщица осекалась со своими вопросами. Минута, другая, третья проходили в молчании, и она нарушала это тягостное молчание плотоядным хохотком:

— А вот бы заявить о тебе врачам, а? Как думаешь? Тут бы и откупиться не грех, а? Стоит того свобода, нет?

— Ну... давай... я тебе за постой буду платить, — растерянно говорила Альбина. — В общем-то... правильно будет. Твоя землянка. Не я строила. Стесняю тебя...

— Жи-ви! — махала рукой маниакальщица. — Стесняю! Хрена ты меня стесняешь, живи!

Так продолжалось с неделю, и в одну из тех нечастых ночей, когда маниакальщица не дежурила в туалете, а спала в землянке, Альбина проснулась оттого, что в темноте вокруг нее происходило какое-то движение, тесное пространство подземного жилища было наполнено различными приглушенными звуками, частым дыханием напряженно работающего человека, и то и дело, будто вырываясь из некоего заслона, промелькивал световой луч.

Альбина осторожно повернула голову набок, в сторону, откуда вырывался свет, и увидела, что маниакальщица стоит на коленках в углу около тумбочки и шарит в ее сумке, с которой она бежала из больницы, выкидывая одну за другой на грязные доски полового настила ее вещи. Было мгновение — осторожность приказала Альбине: молчи, ни слова! — но возмущение оказалось сильнее.

— Что ты делаешь?! — сказала она, приподнимаясь на локте. — Очумела? Что ты там ищешь?

Носоглотка маниакальщицы издала от неожиданности резкий, лошадиный всхрап, фонарь в ее руке дернулся, но в следующий миг луч его уже слепил Альбину.

— А, рвань, проснулась! — сказала маниакальщица. — Курва драная! Невинность изобразить хочешь?!

— Ты что, ты очумела, что ты несешь? — заприговаривала Альбина, скидывая с себя ворох одежды, которой была укрыта, и пытаясь встать, но резкий удар в лицо опрокинул ее обратно.

— Куда мои сто тысяч дела? — наваливаясь на нее, завизжала маниакальщица. — Куда? Говори, курва! Говори, я с тобой за сто тысяч, знаешь, что? Говори, ну, говори! — вцепилась она Альбине в волосы и принялась таскать ее голову по раскладушке из стороны в сторону. — Убью курву, зарезу падлу! Сто тысяч! Куда дела, признавайся!

Только уже потом, когда вырвалась из землянки, когда, убегая от преследующей маниакальщицы, забралась в лес так далеко, в такую глушь, что пришлось после плутать по нему и плутать, выбираясь, Альбина поняла, что произошло: у маниакальщицы начался очередной приступ, и все ее разговоры последних дней о деньгах превратились в бред об украденных у нее ста тысячах.

Она вернулась к землянке, когда солнце стояло уже высоко, роса почти высохла, воздух прогрелся, и ей, в ее ночной тонкой пижаме и босой, не было больше холодно.

Ломик-фомка валялся в кустах на положенном месте. Она нашла им в дерне железную петлю, прибитую к деревянной основе двери, потянула лом вверх, дверь открылась, — изнутри не раздалось ни звука.

Землянка оказалась пустой. Все в ней было перевернуто вверх дном, ее сумка выпотрошена до дна, и вещи из нее раскиданы по всему полу, но главное — маниакальщицы внутри не было.

Не закрывая двери, торопясь, Альбина собрала свои вещи, набила сумку, прихватила, подумав, раскладушку и рванула обратно, наверх. Она знала, что больше сюда не вернется. И знала, что больше ей не сидеть, прося милостыню, на тротуаре неподалеку от одного из центральных «Гастрономов». Маниакальщица со своим приступом непременно попадет в больницу, не сегодня, так завтра — самое позднее, несколько дней подряд она будет представлять из себя словесный фонтан, и ей просто доставит удовольствие рассказать гренадерше в белом халате об общей знакомой. Что эта знакомая, где и как ее найти.

Альбина обосновалась на чердаке того двухэтажного дома на тихой улочке, который использовала обычно для своих переодеваний. Тихой была улочка, и тихим был дом, по три квартиры на каждой лестничной площадке, шесть на весь подъезд, а чердачная дверь, обнаружила она еще раньше, только считалось, что закрыта на замок. Щеколда замка, обнаженно торчащая в расковырянной широкой щели между торцом двери и косяком, открыла она для себя как-то, движется совершенно свободно в любую сторону, без всякого ключа. Достаточно зацепить ее ногтем мизинца, вполне пролезавшим в щель, подвинуть — и путь на чердак открыт.

Три дня после случившегося она бродила по городу, ничем не занимаясь. Сидела, купив газеты, в сквере напротив здания, в котором работал муж — напрочь забыв об этом, но, впрочем, не забыв, несмотря на изрядно жаркий день, упрятать лицо в кулке платка, — выковыривала из тысяч напечатанных слов, как изюм из булки, любое слово о Нем; стояла в магазине радиотоваров около светящихся экранов, заранее наметив для себя по опубликованной в газетах программе, что ей необходимо увидеть; на всех углах по городу раздавали листовки с призывом прийти на митинг в поддержку того, кого она называла теперь про себя Крутым, соединенного с Ним непонятными скрепами так прочно — не разъять, и в назначенный час была на указанной площадке, постояла в толпе, послушала проносимые речи: Крутой хотел совсем сравняться с Ним, хотел встать совсем рядом, называться абсолютно так же, как Он, скоро для того должны были состояться новые выборы, и ораторы призывали поддержать Крутого в его стремлении*. Молниевый вихрь кружил вокруг Него, она буквально физически видела этот блестящий, ослепительный смерч и видела с той же ясностью, что панцирь вокруг Него крепок и надежен, как никогда, и Он неуязвим, ничего Ему не грозит.

Через три дня она снова пошла просить милостыню. Она не знала, за что ей взяться еще, что ей придумать другое, чтобы добывать деньги.

Только теперь, прося милостыню, она избегала центра города и все время меняла места, где побиралась. Она сменяла за день едва не десяток мест. Она не была уверена, что не попадет на такую точку, которая контролируется, и день ее с утра до вечера был наполнен страхом. От этого страха требовался отдых, и она то и дело устраивала его себе.

Отдыхом для нее была баня. Чердачная жизнь располагала к тому, чтобы завонять, ей всегда был неприятен запах немывтого тела, и при одной мысли, что от нее может шибать, как от других нищих, ей становилось дурно до ненависти к себе, и она старалась ходить в баню как можно чаще, не жалея на нее денег.

Она покупала себе обычно отдельную кабинку. Замачивала там в шайке белье, не торопясь, стирала его и после, так же не торопясь, мылась сама, намыливаясь и два, и три и даже четыре раза, — ей это все доставляло удовольствие.

Иногда почему-то ее тянуло в общий зал. К многоголосому гулу, виляющему в парном, туманном воздухе, многозвучному плеску воды вокруг, жестяному бряканью шаек о камень многоместных, длинных скамеек. И, если со стиркой терпело, она покупала билет в общий зал. И там, в общем зале, хотя ничего не стирала, а только мылась, она проводила еще

* В преддверии всенародных выборов Президента РСФСР, состоявшихся 12 июня 1991 г., кандидатами в президенты была развернута активная предвыборная кампания. Президентом РСФСР на выборах был избран Б. Ельцин.

больше времени, чем в отдельной кабине. Сидела, намылившись, поплескивала на себя горстью из шайки воду, смотрела по сторонам, слушала окружающие звуки, вода в шайке остывала, она выплескивала ее под ноги, шла к крану с большими деревянными ручками, наполняла шайку горячей водой и снова сидела, смывалась, намыливалась и опять сидела.

Здесь, в этом общем зале, когда сидела так, на нее временами нападало непреодолимое желание разглядывать себя. Похоже, помнилось ей, было в детстве, когда ходила в баню с матерью и, оказавшись перед своей неожиданной голизной, поражалась множеству таинственных складочек на себе повсюду, впадинок, выпуклостей и изумительному блеску мокрой кожи. И сейчас она тоже рассматривала себя с тем почти детским пристрастием — руки, ноги, живот, — разве что без восторга первого узнавания; тело ее, открыла она для себя, как бы подвяло, усохло, кожа сделалась какой-то одубелой и поддрябшей, в нем явно была некая нездоровость, и было это раньше, до ее побега из больницы, или то сказывалась таким образом нынешняя ее жизнь?

Вопрос, однако, оставался без ответа, и, выйдя наконец в раздевалку, вытершись, одевшись, она покидала баню, расслабленная и убаготворенная, — чтобы в этот день уже нигде не сидеть, ничего не просить. Банные дни были и выходными днями.

Почему она ходила в баню, не боясь быть там узнанной? Позднее, анализируя свое поведение, она поняла: в бане, раздетая, она не ощущала себя собой. У нее было чувство, что раздетая — это уже не она, тем, кто ее знает, она известна в одежде, а без одежды лицо исчезает, скрывается в телесной наготе, и узнать ее обнаженную невозможно.

Наверное, это действительно было так, и, не осознавая того, она подчинялась знанию инстинкта. Но, ведомая инстинктом, она забыла о том, что входила и выходила в баню она одетой, и если входила всегда повязанная платком и с подчеркнутыми подглазьями, то выходила, расслабившись баней, не надев порой даже платка.

— Твою мать, кого вижу, ну, мадам! — схватили ее за руку; в блаженной усталости она спускалась по широкому каменному крыльцу вниз, и, когда над ухом раздался голос, сознание пробило током: без косынки! — Во фокус, ну, мадам! — повторил человек, схвативший ее за руку, и она, вмиг переполняясь ужасом, увидела, что это бывший ее любовник. — Ее, твою мать, везде повсюду, всех трясут — до тюрьмы, а она... твою мать, она — вот!

— Пошел вон! — вырвала она свою руку, но не сумела сделать по ступеням и шага, он снова схватил ее и дернул к себе так, что она бы упала, если бы он же и не подхватил ее.

— Не, мадам, стоп-сигнал! Я афганец, я тебе говорил, со мной шутки плохи! Меня, как гада, трясли... тюрьма, нары... я при чем? А ты — тут, вот ты где, ты у меня — теперь все!

«Помогите!» — стоял в ней крик, рвался наружу, но она заталкивала его обратно, не позволяла гортани вытолкнуть из груди воздух. Того ей только и не хватало, чтобы попасть в милицию!

— Чего тебе нужно? — спросила она. — Чего ты хочешь — схватил меня? Пошел вон!

— Чего я хочу? — переспросил он, не отпуская ее. — Во фокус, чего я хочу! Трясли, как гада... чего я хочу!

Она начала понемногу успокаиваться. Ничего он не хотел от нее. Не имел понятия, чего хочет. Глаза увидели — и рука цапнула, сама собой. А раз так, раз у него нет никаких намерений, вполне будет возможно отделаться от него.

— Ну? — сказала она как можно спокойней. — Так и будем стоять?

— Ну, а чего! — вскинулся он, не понимая глупости своего ответа, и она увидела сейчас, что он еще ко всему тому и на хорошей поддаче: глаза у него тяжело, металлически блестят, и сжимающая ее рука не очень-то чувствует силу, с какой сжимает.

— Ну, давай, — сказала она, от боли в запястье невольно переступая с ноги на ногу. — Давай. Стоим. Что дальше?

Он помолчал, глядя на нее.

— Твою мать! — вырвалось из него потом. Не выпуская ее руки, он повернулся, поглядел куда-то, она посмотрела вслед ему и поняла, что эта

группа посмеивающихся парней, четыре человека на краю лестницы — это его, он с ними, и, посмеиваясь, парни сейчас наблюдают за ним. — А? Как афганцы? — перевел ее бывший любовник взгляд на нее обратно. — Ничего? — И, ухмыльнувшись, проговорил сквозь сжатые зубы: — Давай, дай им всем!

Она даже не сразу поняла, что он сказал. А когда поняла, как что-то в ней оборвалось обреченно, словно чего-то такого она и ждала все время и вот оно обрушилось на нее.

— Мерзавец! — вырвалось у Альбины, и она снова сделала попытку вырвать свою руку, но она бы не вырвала, если бы он не позволил ей сделать того.

— Ну, иди! — вновь ухмыльнувшись, отпустил он ее, она, не веря случившемуся, стояла мгновение, и он даже понукал ее: — Иди-иди!

Компания его, когда она уже была на тротуаре и, торопливо, доставая на ходу из сумки платок, чтобы повязаться, застучала по асфальту прочь от банного крыльца, взорвалась хохотом.

Только бы пронесло, только бы пронесло, Господи Боже милостивый, только бы пронесло, — колотилось в ней.

Шел август, вторая половина его, и в ней откуда-то, уже несколько дней, было чувство, что нужно дотянуть до сентября, буквально до самого его начала, продержаться — так в ней звучало, а там все станет легче. И вполне вероятно, станет даже возможным вернуться домой. А там — хоть и в больницу, пусть забирают. Тогда пусть, тогда уже будет можно.

Господи, помоги, завонила она про себя, оглянулась почему-то и увидела то, чего боялась, о чем знала и во что не хотелось верить: компания, отстав метров на двадцать, шла за ней.

Она невольно дернулась ускорить шаг, но тут же вернулась к прежнему. Она не могла ни оторваться от них, ни убежать, — они бы мгновенно догнали ее. Надежда была лишь на то, что все-таки день, народ кругом...

Впрочем, был уже не день, светло, конечно, как и положено летом, но уже начало седьмого, уже вечер, по сути, и народу на улицах тоже было немного. Заканчивалось воскресенье, и, как всегда в воскресенье, набегавшись за два дня выходных по магазинам, люди уже сидели по домам.

Она ходила по улицам в надежде, что они наконец отстанут от нее, с полчаса, — они не отставали. Она переходила с одной стороны улицы на другую, поворачивала в обратном направлении, — они повторяли за нею все зигзаги ее маршрута. Ясно было, что они отнюдь не случайно пошли за нею от бани, они вполне намеренно следовали за ней.

Тяжело отфыркнувшись, коричнево-красный заплясанный автобус, обдав перед тем волной теплого воздуха, когда прокатился мимо, остановился на остановке метрах в пятнадцати впереди. Двери его раскрылись, человек пять лениво сосупили на землю и пошли каждый в свою сторону, два человека, ожидавших на остановке, с тою же ленивой неторопливостью поднялись по ступенькам внутрь, автобус снова всфыркнул мотором, выпустив струю белого дыма, Альбине оставалось до него метра четыре, и, словно кто ее подтолкнул, она рванулась и впрыгнула в сходящиеся дверные складки. Сумку у нее защемило, некоторое время она возилась с нею, освобождая, и, когда, наконец, освободила, поднялась по ступеням наверх, в заднее стекло сквозь навешенную на него пыль увидела, что компания ее любовника осталась уже далеко позади и автобус стремительно уносит ее от них все дальше и дальше.

Расстояние до следующей остановки было весьма изрядным, и можно было бы сойти прямо на ней, но после того, что пережила, ноги ее не держали, голову стягивало тугим обручем, — нужно было посидеть, прийти в себя, и, бросив сумку на сиденье, она опустилась рядом. Господи, благодарю тебя, сказало в ней.

Если все будет хорошо, сказало в ней следом, нужно будет креститься. Что будет хорошо, что могло подразумеваться под этим, она не знала; так в ней прозвучало, и ничего в том не было для нее странного.

Проехав минут десять, она решила сойти. Голову отпустило, сердце успокоилось, автобус как раз подъезжал к парку, в котором, было извест-

но ей, есть крытый летний кинотеатр, — пойти в него независимо от того, что там идет, перекусить в буфете, сеанс закончится — уже будут поздние сумерки, можно идти к себе на чердак.

Автобус ушел, пронеся мимо нее свое большое металлическое красное тело, дверцы остановившихся за ним синих «Жигулей» прохлопали одна за другой, закрываясь, Альбина непроизвольно глянула на звуки, и ноги у нее задрожали мелкой, отвратительной, неуправляемой дрожью: это из «Жигулей» вышли они. Они поймали машину и ехали за автобусом, дожидаясь, когда она выйдет. Вот она вышла. Они преследовали ее, как гончие зайца, и не собирались от нее отвязываться. Они только ждали удобного момента, чтобы вонзиться в нее своими жаждущими крови клыками.

Между ними и ею было каких-нибудь десять — двенадцать шагов, не больше.

— Ну, иди-иди, чего ты! — ухмыльнувшись, бросил ей бывший ее любовник. — Давай иди, ну!

Она стояла не двигаясь, смотрела на него, и вместо произнесенного им сейчас в ушах у нее звучало: давай, дай им всем!

— Что тебе нужно? Оставь меня! — выговорила она.

— Ха! — раскрыл он рот. — С какой стати?

Ей вдруг вспомнилось, что и его отец, и его старший брат — оба прошли через лагерь, а сам он говорил ей тогда с удовольствием: «Убивал!».

Усилие, которое она приложила, чтобы заставить себя пойти, показалось ей равным тому, как если б она стронула с места что-то вроде только что уехавшего автобуса. У нее было намерение пойти в парк, и она пошла в его сторону, дошла до входа, до выкрашенной в зеленый цвет с белыми полосками решетчатой арки, и тут, около установленных в дверях турникетов, застыла в неподвижности. Силы окончательно покинули ее, ноги не двигались. Не оглядываясь, она знала, что они в двадцати метрах от нее, и знала, что куда ей от них не деться. Мгновенною лентой перед ней прокрутились те полтора недолгих часа до темноты, что она проведет в блужданиях по городу, и ужасною, ослепительной вспышкой ударило по глазам видением того, что с неизбежностью последует затем. Она была обречена, спасение отсутствовало, она не могла даже позвать на помощь — ведь они ничего не делали ей дурного!

В ней не осталось энергии на сопротивление. Она ощущала себя бьющимся в конвульсиях, с перекушенным, разодранным горлом зайцем, настигнутым гончими.

Они стояли от нее много ближе, чем она думала, — метрах в пяти. И посмеивались, глядя на нее. Все с теми же своими хищными, молодыми улыбками. Теперь их вместе с ее бывшим любовником было четверо; видимо, один не влез в машину, когда они догоняли ее.

Подойди, молча позвала она пальцем бывшего своего любовника. И, когда он подошел, сказала севшим голосом:

— Ну? Где вы собирались со мной? Давай!

Он оглядел ее быстрым хищно-ликующим взглядом и, повернувшись к своей компании, бросил:

— Снимайте тачку! Поедем!

И, изогнувшись, взялся за ручки ее сумки:

— Чего самой мучиться? Отдохни!

Она молча разжала пальцы, сумка перешла к нему, он качнул ее вверх-вниз, как взвешивал, и вновь ухмыльнулся:

— Пивка афганцы попить хотели. В бане там пиво отличное. Не вышло! Ну, им компенсацию надо? Надо! Таким-то ребятам!

Машина на этот раз подкатила — настоящее такси, «Волга». С водителем, видимо, был договор, и он взял всех пятерых. Бывший ее любовник сел на переднее сиденье, а ее посадили на заднее, жарко стиснув с обеих сторон мускулистыми молодыми телами.

— Из баньки! Мылом пахнет! — сказал один, поводя носом около ее лица. Он подсунул ей под ягодицу руку и шевелил ею, стискивал ягодицу пальцами.

— Из баньки — да в баньку! — хохотнул другой, сидевший от нее через одного.

Она молчала. Она была мертва. Кровь из перекушенной аорты вся вытекла, и жизнь оставила ее.

Дом, к которому ее привезли, был многоэтажный, и на нужный этаж поднимались лифтом. Открывал квартиру тот самый, что обещал ей баньку, наверное, он являлся хозяином.

Дверь захлопнулась, замок звучно провернулся, закрываясь на щеколду, провернулся второй, звякнула цепочка. Из комнаты грохнула жестяная магнитофонная музыка.

— Ну вот, чего ты, надо дать, как же нет, — беря ее снизу за ягодицы и поигрывая ими, будто мячами, подтолкнул Альбину в глубь квартиры бывший ее любовник. — А то в тюрьму, на наркы... За что? Не, мадам, стоп-сигнал!

— Пойдем, водочкой мадам угостим, пусть хлобыстнет, — сказал тот, что был, видимо, хозяином.

— Давай, угостись, — толкнул ее, отпуская, в сторону кухни бывший ее любовник.

Тот, что нюхал Альбину в машине, достал из холодильника колбасу и стал на весу отхватывать от нее толстые кривые круги. Нож, которым он резал, был большим, длинным разделочным ножом того рода, какими любила дома готовить еду Альбина, и, судя по тому, как резал, очень острым.

Водку ей налили в захватанную, мутную стопку с самым верхом. У них, впрочем, были такие же.

— Чего смотришь? Ну! — приказал ей взять стопку бывший ее любовник.

Она покорно потянулась к той, и вдруг ее быстрым мгновенным махом пронесло по некоему безмерному, безграничному пространству, и она ощутила себя на вершине холма, в ноги, сотрясая ее, с неимоверной, чудовищной мощью бил колокол, все кругом было застлано мглой — ничего не увидеть, неистовствовала буря, выла десятками ужасных голосов, и в ней самой тоже все выло — визжало, рычало, хрипело одновременно.

Страшный, неподвластный ей рев вырвался из Альбины. Лежавший на столе длинный разделочный нож оказался у нее в руках — будто ей кто подал его, и рука соседа, метнувшаяся перехватить нож, с непостижимой быстротой окрасилась перед глазами красным.

Беспощадная, звериная сила была в Альбине. Она знала, что она не сдастся, знала, что снесет любые преграды, ей все было нипочем, все было игрой и шуткой, все подвластно.

Рука с ножом металась перед нею, оставляя за собой сверкающую металлическую восьмерку, что-то на миг задержало движение руки, словно бы прилипло на миг, заскрипев, и отпустило, а она сама была уже в коридоре, двигалась вперед спиной к входной двери, и в сознании с графической ясностью стояла картина запоров: цепочка, один замок накладной, второй — внутренний, со всунутым в скважину ключом.

— Подколола! Сука, подколола! — пробился в ее сознание вопль, несшийся из кухни, когда, нашарив рукой, сбрасывала цепочку.

Летящий на нее стул, нацеленный верхним ребром спинки, оказался перед глазами. Она дернулась в сторону, и ребро со страшной силой ударило ее в левое предплечье, тотчас отняв у нее левую руку, но правая с ножом, словно по закону качелей, выбросилась вперед, и следом в барабанные перепонки ударил новый вопль, и снова перед глазами вспыхнуло красное.

От страшного удара стулом она бы должна была чувствовать боль, но боли не было, только не действовала рука: тянулась ею к замку, провернуть щеколду, и не могла поднять ее.

Она тянулась — и не могла, тянулась — и не могла, тот, кого она ранила, выпячивался из закутка коридора в комнату, и она решила использовать это мгновение — крутануть замок правой рукой, и провернуть на один оборот ей удалось.

Жаркое, обесиливающее пламя полыхнуло у нее в правом боку, когда она начала второй оборот. Не понимая случившегося, она отняла руку от замка, чтобы на всякий случай развернуться лицом к опасности, и попыталась взмахнуть ножом перед собой, но пламя прожигало ее насквозь, не двигалась теперь и эта рука, и она увидела лицо бывшего своего лю-

бовника прямо перед собой (когда он успел подскочить к ней так близко?) и поняла, что произошло, и переполнилась такой ненавистью к нему, такой жаждой отплатить ему тем же, что рука с ножом двинулась, но новая вспышка огня в другом боку пресекла движение руки, и следом ее всю сотрясло в страшном ударе — качели, на которых она летела, врезались на полном ходу в некую вставшую на их пути преграду, и ее от удара выбросило из них, швырнуло в горящую, полыхающую жаром тьму, и она исчезла для самой себя в этом полыхающем мраке.

26

Сознание вернулось к ней страшной, свивающей жгутом тревогой, черным безмерным отчаянием, в которое она была погружена с мизинцами, с макушкой, как в воду, нечем дышать, захлебывалась в нем, словно и в самом деле в воде, не имея возможности вынырнуть к воздуху.

— Что... с Ним? — тяжело шевеля губами, спросила она неизвестно кого, может быть, пустоту, некое глухое пространство перед собой, еще даже не в состоянии открыть глаз.

— Что-что? Что вы хотите? — пришел к ней, однако, из этого некоего пространства женский голос.

— С Ним. Что с Ним? — повторила она.

Она знала, что с Ним произошло нечто ужасное. Возможно, Его уже не было даже в живых. Возможно.

— С кем с ним? Вы о ком? — снова пришел к ней голос.

Она сделала попытку открыть глаза. Слипшиеся ресницы не отпускали друг друга, белесая пелена дрожала между ними и не могла превратиться в картину окружающего пространства.

Чьи-то пальцы взяли ее веки и раздвинули их. Заморгав, она увидела перед собой белые рукава и увидела линию схождения белого потолка с белой стеной, увидела белый ламповый плафон на белом металлическом штыре, а белые рукава оказались рукавами халата, в который была облачена женщина на стуле около нее.

— С Ним... ну... Ну, с Ним... — Она объяснила.

Женщина на стуле перед нею смотрела на Альбину с удивлением.

— По-моему, ничего, — сказала она потом. — Заявили, что болен, не может исполнять обязанности, а сегодня вот передали, все полетели к нему. В Крым туда. Форос место называется.

— Кто заявил? Кто поехал? — Альбина не поняла из слов женщины ничего, кроме того, что «болен».

— Ну, эти, что комитет по ЧП создали, — сказала женщина. И приблизилась к ней лицом, видимо, наклонилась: — Почему вас это волнует так? Вас это не должно сейчас волновать. О себе думайте. Трое суток вон без сознания были.

А ведь это больница, дошло наконец до Альбины. Значит, она все-таки оказалась в больнице, ей сделали операцию, и эта женщина около нее — медсестра.

— Жить буду? — спросила она.

— Будешь, милая, будешь, — тотчас перейдя на «ты», заприговаривала медсестра. — Раз три дня прожила, будешь и дальше.

— Правда? Не утешаете? — Голоса Альбине не хватало, и она не говорила, а хрипела.

— Вот ей-богу! — Сестра перекрестилась. — Доктор вас все время смотрит, про три дня — это его слова. Главное, сказал, чтобы в себя пришла.

Альбина обессиленно закрыла глаза. Отчаяние, удушавшее ее, подобно воде, залившей дыхательные пути, отступало, уходило от нее, словно вода, вихрь воронкой, сливалась в открывшееся отверстие, и уходила, оставляла ее корежившая все внутри тревога. Что бы с Ним ни было до того, раз она пришла в себя и будет жить, — будет все в порядке и с Ним. Несомненно.

Через некоторое, самое недолгое время она почувствовала, что ее всю перекручивает болью. Боль была во всем теле, ломала ее, просверливала визжащими сверлами одновременно в тысячах мест, — невозможно терпеть. Как странно. Словно тревога за Него являлась наркотиком, заглу-

шавшим эту физическую боль, и лишь отступила — прекратилось и ее наркотическое действие.

Она застонала и снова открыла глаза.

— Что, больно? — понятиливо спросила медсестра.

Альбина молча сказала веками «да».

— Сейчас пойду, доложу, — поднялась медсестра. — Еще б не больно, конечно. Три с половиной часа тебя зашивали. Такая была порезанная. Твое еще счастье — живучая. Где это тебя так?

Альбина не ответила ей, закрыв глаза.

Сколько прошло времени, прежде чем она заново пришла в себя после сделанной ей оглушающей наркотической инъекции, — это Альбине осталось неизвестно. Теперь была ночь, белый круглый плафон под толчком сиял желтым колочим шаром, а рядом с ней никого не было. Она заволновалась. Теперь ей — она ясно чувствовала в себе это желание — требовалось узнать все до конца: что с Ним такое было, что у Него за болезнь, какой такой комитет по ЧП и зачем этот комитет полетел к Нему.

— Э-эй! Кто там? Кто-нибудь! — позвала она, пробуя приподняться на локте, и тотчас тело ее отозвалось раздирающим огнем боли, и она упала обратно на подушку. Однако палата, в которой она лежала, являлась, по-видимому, реанимационной, и медсестра дежурила прямо здесь, — глаза успели ухватить другую кровать, и от нее, откликаясь на Альбинин голос, поднялась белая фигура.

Сейчас это была другая медсестра, не та, что днем.

— А, проснулись! — сказала она. — Все хорошо, завтра вас в общую переведут, я полагаю.

Альбина подумала с досадой: новой медсестре придется объяснять заново, что ее интересует.

Но медсестра поняла Альбину с полуслова.

— Да конец делам, — сказала она. — Эти все, из комитета, все арестованы. А он никакой не больной, так это они объявили, снова в Москве, прилетел, жив и здоров, снова у власти.

Альбина не могла представить себе из ее слов всю картину.

— Подробней, пожалуйста, — попросила она. И добавила через паузу: — С вечера восемнадцатого.

— А, вы ж не знаете ничего! — дошло до медсестры.

Она начала рассказывать о событиях минувших трех дней: об Его аресте на его даче в Крыму во время отдыха, о танках на московских улицах, о пресс-конференции, которую устроили эти люди, создавшие комитет по ЧП, о ночном бдении народа на площади перед неизвестным до того зданием на берегу Москвы-реки, называемым теперь Белым домом, о баррикадах, которые там сооружались*, — Альбина слушала с жадностью, вбирала в себя каждое слово и поражалась тому, как хрупко все было, на каком волоске висело, на волоске — паутинке, малое неверное движе-

* 18 августа 1991 г. М. Горбачев был взят под необъявленный домашний арест на своей даче в местечке Форос (Крым). У него были отключены все средства связи с миром, никто из находившихся на даче вместе с ним, включая и его самого, не мог покинуть пределов дачной территории. В ночь с 18-го на 19-е начались события, названные позднее «путчем». Временный орган управления страной — Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) — возглавил второе лицо во властных структурах СССР, вице-президент Г. Янаев, избранный по предложению самого М. Горбачева в декабре 1990 г., бывший комсомольско-профсоюзный функционер. В специальном указе Г. Янаева было объявлено о неспособности М. Горбачева осуществлять президентские обязанности в связи с болезнью, а «Постановлением № 1» комитета «всем органам власти и управления Союза ССР» предписывалось «обеспечить неукоснительное соблюдение режима чрезвычайного положения в соответствии с Законом Союза ССР «О правовом режиме чрезвычайного положения». Российские республиканские структуры власти, возглавляемые Б. Ельциным, не признали законности ГКЧП. Введение в Москву танков утром 19 августа ГКЧП, по всей видимости, рассматривало прежде всего как меру устрашения. Не решившись на большую кровь, которая была неизбежна в случае штурма здания Верховного Совета РСФСР («Белого дома»), т. к. на площади перед ним собралась многотысячная толпа, члены ГКЧП отправились в Форос возвращать власть М. Горбачеву, где 21 августа и были арестованы силами безопасности, подчиненными российским республиканским властям.

ние — и все бы оборвалось, рухнуло, и то, что Он делал в предыдущие годы с таким трудом, с таким напряжением всей своей воли, стало бы напрасным, бессмысленным. Впрочем, поражаясь, она не удивлялась. А как могло быть по-другому, если три этих дня она сама провисела на паутинке? И тому, что такую громадную, главную, собственно, роль сыграл в минувших событиях тот, властно-хитроглазый — Крутой, снова прозвучало в ней, — она тоже не удивлялась. Они были в связке, они были сямскими близнецами — вот кем, осенило ее, и друг без друга они не могли, друг без друга им было нельзя, они взаимоукрепляли друг друга.

— Значит, уже в Москве, все? — не удержалась, уточнила Альбина у медсестры, когда та закончила свой рассказ.

— Да, да, уже даже по телевизору показывали, — подтвердила медсестра.

Теперь Альбина могла спросить и о себе.

— Я как... тут оказалась? — спотыкаясь, подыскивая для своего вопроса форму понейтральнее, выговорила она.

Лицо у медсестры напряглось в суровом отчуждении.

— Вы что, ничего не помните?

— Как здесь оказалась — нет.

Медсестра поиграла лицевыми мышцами. Лицо ее выразило поочередно неприязненное любопытство, и сочувствие, и негодующее возмущение, и еще массу всего.

— Вас нашли, — ответила она в конце концов.

— Где? — поняв, что из медсестры придется вытаскивать все по слову, спросила Альбина. — Когда?

— Ночью вас нашли. Милиция.

Ее совершенно случайно обнаружил милицейский патруль в кустах около дороги, когда милиционеры решили справить малую нужду и оставили машину на самом темном участке улицы. Один из них, забираясь в кусты, споткнулся обо что-то и упал. Она лежала совершенно бесчувственная, милиционеры не смогли прощупать у нее даже пульса и вызвали реанимационную машину по радию только для того, чтобы зафиксировать смерть. Время было около полуночи, и ей повезло, как редко кому везет: навверное, пролежи она там еще час-другой, теперь бы она лежала не здесь.

— Что с вами такое случилось? — не удержала себя от соблазна спросить медсестра.

— Не помню, — сказала Альбина.

Медсестра, осознала она сейчас, совсем молоденькая, и лицо ее выражало твердую, непререкаемую убежденность, что дурное происходит только с людьми, которые сами того заслужили.

Она, однако, действительно не помнила. Не в том смысле, что все происшедшее с нею три дня назад вымылось из памяти и на месте того вечера зиял провал. Она не помнила тот вечер как событие, которое бы требовало от нее воздаяния. В ней не было чувства мести, желания расправиться с бывшим своим любовником. В ней было только одно чувство, одно желание: поскорее задвинуть случившееся в далекое прошлое, избавиться от него, поставить на нем крест, как ничего и не произошло. В известной степени это ее чувство было родственно счастью. Не это, так что-то другое случилось бы с нею, — абсолютно неизбежно.

И это же «не помню» сказала она следовательно, когда он на следующий день, только ее перевели в общую палату, пришел к ней в накинутом на плечи белом халате.

— Ну-ну, не может быть, — увещающе сказал следователь. Теперь это был настоящий следователь, и был он не женщиной, — мужчиной. — Вы не волнуйтесь, мы вас защитим, вы под нашим крылом, гарантируем вам самую полную безопасность.

Альбине невольно стало смешно: она вспомнила тех постовых милиционеров, что молча ходили мимо нее, когда она сидела с грязной тряпичей перед собой на асфальте.

— Что вы улыбаетесь? — спросил следователь, почему-то оглядываясь.

— У вас вся спина белая, — сказала Альбина.

— Что? — не понял следователь. И до него дошло. — Ну что вы ду-

рите! Не нужно этого. Совершенно. Не бойтесь ничего, я же вам говорю. Вы в безопасности, можете обо всем рассказать. А если вы боитесь каким-либо образом повредить вашему мужу, можете тоже не волноваться. К мужу вашему никаких претензий нет. Наоборот. Он очень даже достойно проявил себя в дни путча.

Она поняла, что ее идентифицировали. Но это ее несколько не взволновало. Она была готова к тому. Ее разоблачение являлось платой за то, что осталась жива.

— Как это — достойно? — усмехнулась она. — Спрятался, наверно, и сидел, как мышь. Ни «да», ни «нет», а?

— Нет, я вам просто сообщил, чтобы вы приняли во внимание, — поторопился ответить следователь. — Вы ведь хотите, чтобы мы нашли этих сволочей?!

Альбина отрицательно покатила по подушке головой.

— Нет?! — неверяще воскликнул следователь.

— Отстаньте вы от меня, — сказала Альбина.

Она закрыла глаза и больше не открывала их, пока следователь не был вынужден подняться.

Она услышала, как дверь палаты за ним захлопнулась, и немного погодя открыла глаза. И только открыла, дверь вновь растворилась, и вошел муж. Показалось ей или нет, она не была уверена в своем впечатлении, потому что необычайно устала от разговора со следователем, голове ей кружило и все видела сквозь стеклянный ток воздуха перед глазами, но, похоже, у него был насмерть перепуганный вид — вид голодной собаки, которую поманили костью, однако, вместо того чтобы дать, безжалостно, жестоко избили.

— Ты! — сказал он, косясь на капельницу, из прозрачной колбы которой, по прозрачному катетеру сочилось к ней в вену ее питание. — Жива, слава богу!

«А ты бы хотел, чтоб сдохла?» — просилось с языка, но она удержалась и просто ничего не ответила.

Колыхнув животом, он опустился на стул, с которого только что поднялся следователь, помолчал растерянно, не найдя у нее поддержки в разговоре, и повторил:

— Ну вот... слава богу! — И заторопился: — Ты не волнуйся, я тебе обещаю: ни в какую психушку, дома будешь, только дома, непременно... я тебе обещаю!

Он говорил, и у него был вид, будто подхалимски виляет хвостом перед своим обидчиком в надежде получить кость хотя бы теперь, избитая нещадно собака. О том, где она обреталась эти целых четыре месяца, он даже не смел заикнуться.

— Какие новости? Что у тебя происходит? — спросила она равнодушно, совершенно ничего не желая знать о нем, лишь для того, чтобы подать голос.

Он дернулся. Будто он в самом деле был избитой собакой, и она вновь ударила его.

— Партия запрещена, — сглотнув воздушный ком, сказал он с переваченным горлом. — Сегодня. Я безработный.

Она внутренне присвистнула: тю-ю! Вот это да!

Ни жалости к нему, ни сочувствия — ничего в ней не было, только расслабленное, благостное удовлетворение, как после хорошо выполненной тяжелой работы.

— Это как это? Кем? — спросила она вслух.

— Этим, кем. — Он назвал имя Крутого. — Ренегат*.

— Да? — Ей, непонятно почему, стало обидно, что прозвучало не Его имя. И она спросила о Нем. Что Он?

— Хрен его знает, что он! — не сумел на этот раз сдержать своих чувств муж. — Продал всех этому, — снова назвал он имя Крутого, — вот и все!

— Ничего не продал. Они в связке, — резко, насколько то могло у нее получиться, отозвалась она.

* 23 августа 1991 г. Б. Ельцин как Президент РСФСР издал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.

— Вот-вот, наверное. Похоже на то: в связке! — подхватил муж. По-молчал и добавил: — Дзержинского, памятник этот, в Москве на площади там, знаешь, свалили вчера. Целая толпа собралась. Распоясались донельзя, и полная безнаказанность!

Ага, вот вам! — неизвестно к кому обращенное, с тем же усталым благостным удовлетворением проговорилось в ней.

Но вслух теперь ничего этого она не произнесла. Воздух перед глазами тек волокнистыми стеклянными струями, и она прошевелила губами:

— Иди. Повидал — и хорош. Не убегу никуда.

— Да, да, — покорно покивал муж и встал. — Там только это... пришли... — назвал он имена сыновей. — Ждут стоят...

Она отрицательно повела головой:

— Пусть идут. Потом.

Она не хотела видеть никого. Не нужен ей был никто. Надо же, запрещена! — звучало в ней, и этого знания было так много для нее, что в ней уже не оставалось сил на что-то еще. Первое счастье, что осталась жива и, значит, Он теперь в безопасности, схлынуло, и она, вслушиваясь в себя, видела, что качели стоят, механизм, который они приводили в движение, разбит вдребезги, гряда обломков вместо него, — нечего запускать заново. Новая тревога поднималась в ней вслед счастью. Ей теперь следовало быть в десятки раз бдительнее, чем была до того, Он теперь нуждался в ее опеке намного больше, чем прежде, сломанный механизм являлся Его опорой, был твердью, упираясь в которую, Он мог осуществить все, назначенное Ему, как штангист, упираясь в крепкий настил, вскидывает над собой на вытянутых руках неимоверный груз; теперь Он висел в воздухе, голая пустота под его ногами, и ей самой должно было стать отныне той твердью, которая дала бы Ему опору, позволила продолжить начатое. Ей следовало собрать все свои силы, весь их запас, а она находилась здесь, с этой капельницей, с этими дренажными трубками, торчащими из ее тела... какая польза Ему от нее такой?

Лечащий врач появлялся около нее несколько раз в день. На ее неизменный вопрос, когда она окрепнет настолько, что сможет выписаться, он так же неизменно буркал:

— Рано еще краковяк танцевать...

Но однажды, должно быть, устав от ее назойливости, взорвался:

— Да вы хоть понимаете, из чего вы выкарабкались? Вы понимаете, по какому краешку прошли?

Она передернула плечами, — она уже могла это делать:

— Ну и что? Мне сейчас важнее мое будущее. Меня мое будущее интересует!

Глаза у него странно изменились. Словно бы она сказала не про свое будущее, а про его прошлое, и там, в этом прошлом, у него было неблагополучно, было такое, что ему приходилось скрывать, прятать в себе, не выпуская наружу, и, извлеченное для обозрения, оно бы ужаснуло своей чудовищностью.

Он ничего не ответил ей. Молча посмотрел швы, помял тело около них, заставляя ее вскрикивать от пронзающей боли, и вернул откинтое одеяло на грудь.

— Перевязку сегодня делать не будем, — сказал он уже на пути из палаты, оглянув ее кровать. — Завтра посмотрим.

Кроме врача, постоянно приходил к ней еще следователь. Только не в день несколько раз, а раз в несколько дней, иногда, впрочем, даже и через день. Ему Альбина, как неизменно задавала врачу все один и тот же вопрос, неизменно говорила:

— Не помню я ничего. Не помню! Отстаньте!

У следователя, бледнолицего тридцатилетнего человека с удивительно толстыми, но редкими волосами, гневно раздувались ноздри, он молчал, пересиливая себя, ему это не удавалось, и он наклонялся к ней, проносил жаркой скороговоркой:

— А может быть, вас это в связи с вашим мужем! А?! Может быть, это шантаж! Кому-то нужно было нанести удар по нему! В преддверии тех событий! Чтобы вывести его из игры!

— Не помню я ничего, отстаньте! — отвечала Альбина ему и на это. Она поднялась спустя ровно две недели после операции, второго сен-

тября, в понедельник. Поднимать ее пришел сам врач, и они с медсестрой крепко взяли ее под обе руки, чтобы она сделала несколько шагов по палате, но она оттолкнула их и, перехватываясь за спинки кроватей, пошла сама.

— Однако! — изумился врач. — Да вы... Ну и организм у вас!

И потом, на консилиуме около Альбины, осматривая ее, обсуждая на своем непонятном латинском жаргоне записи из ее карты, все время то один из собравшихся врачей, то другой повторял это же самое: «Ну и организм! Потрясающе жизнеспособный!» Но ради чего собрался консилиум, если все у нее шло так замечательно, если она побивала все мыслимые рекорды выздоровления, что за озабоченность сквозила в их удивлении и профессиональном восторге и что они все выспрашивали и выспрашивали ее о самочувствии, заходя и с того боку, и с этого: а вот тошнота, а вот темнота в глазах, и еще до несчастного случая?..

— А по какому поводу консилиум? — спросила она лечащего врача, когда он пришел к ней один.

— По вашему поводу, — коротко, не собираясь с ней объясняться, ответил он.

Но она заставила его говорить.

— Если по моему, я имею право кое-что знать. Что у меня не в порядке?

— Такую встряску организм пережил, как вы можете быть в порядке?

— Но вы же не в связи с этим их приглашали!

— Как к феномену!

— Какому феномену?

— Такому. Вам с вашими поражениями месяц на капельнице лежать следовало! А вы за неделю, прямо свечой! И анализы у вас... вам сколько лет? — заглянул он в карту. — Сорок пять. А у вас за неделю — как у двадцатипятилетней!

Все он врал, она это слышала по его голосу. Он не восхищался ее анализами, а был словно бы недоволен ими, удивлялся, но странным образом: как бы негодуя. Как если б ее организм обманывал его, водил за нос, и он хотел уличить тот в этом обмане.

Ее продержали в больнице после консилиума еще неделю с небольшим, и врач объявил, что готов ее выписать. Странная была формулировка: «готов». Не «выписываю завтра», не «готовьте к выписке», как обычно, а «готов». Слово бы он в большей степени даже готов был ее оставить, — только скажи она ему об этом.

Впрочем, она не собиралась просить его ни о чем подобном. Нельзя сказать, что она рвалась домой. Домой ей нисколько не хотелось. Она рвалась из больницы. Ей так не терпелось скорее оказаться вне ее стен, все в ней дрожало и вибрировало от этого нетерпения. Она снова помогла Ему. Качели стояли, механизм, приводимый раньше ими в движение, лежал в руинах, но в одну из ночей, как раз накануне консилиума, она проснулась от восторга, настолько переполнявшего ее, что, не вмещаясь в ней, он даже разрушил сон. Это был восторг действия, которое она совершала. Которое творилось в ней параллельно ее обычной жизни и открылось ей вновь во сне. Она находилась все в том же неведомом неизмеримом пространстве, в руках она держала словно бы некое гигантское древко, и шла по этому пространству, замедленным мощным движением взмахивая древком из стороны в сторону, слева направо, справа налево — словно б косила, но на самом деле, знала она, то была метла, не коса, она шла с нею, подобно дворнику, метущему улицу, покрывая ее движением фантастически громадную площадь, неохватную, неподвластную глазу, — это походило на те же качели, и лишь бы хватило, лишь бы достало ее слабых сил!

Она снова помогала Ему, и хотела вырваться из больницы как можно скорее. Она была уверена по предыдущему опыту, что вне больницы, уйдя от назойливой врачебной опеки, сумеет сконцентрировать на своей помощи все внимание, сосредоточиться на ней всецело, без остатка, не отдавая вовне ни грана энергии, сумеет сделать для Него действительно все, что может.

Дома была атмосфера, словно бы в нем незримо лежал покойник. Слово бы присутствовал каждоминутно в каждом месте его, обдавая тяжелым запахом тления. Впрочем, муж и вправду был покойником. Он умер, оставшись жить какую-то совершенно иной своей, нечеловеческой сутью — чи-

сто физической оболочкой, из которой ледяным холодом смерти выдуло все, прежде его одушевлявшее. Лицо его стало застывшей глиняной маской, двигался он с механической, заведенной сосредоточенностью, как бы постоянно боясь упасть, а когда раскрывал рот, звуки, исходящие из него, напоминали каменный скрежет. «Твари! — неожиданно, ни с того ни с сего, не обращающая внимания, что рядом с ним кто-то находится, вдруг извергал он из себя своим каменным голосом. — Твари подлые!..»

Он по-прежнему оставался безработным, здание, в которое он много лет ездил на службу, было уже расхвачено всякими другими, вмиг окрепшими учреждениями, старший сын пытался пристроить его куда-то в свое банковское дело, и вроде бы помех не должно было быть, но пока ничего не получалось: все боялись. Делать по саду и огороду он ничего не умел и не мог найти там себе занятия, дома он тоже никогда ничего не делал, нужно было — звонил в соответствующую службу, и приезжали, и потому не мог найти себе занятия и дома, ходил по нему днями с этажа на этаж, на улицу и обратно, матерился и рычал, созванивался с кем-то и уходил, чтобы вернуться к ночи огруженным от принятого спиртного до того состояния, когда уже и физическая оболочка отказывалась существовать, и его хватало только дойти до дивана в столовой и рухнуть на него, не раздеваясь.

Альбина, однако, видя все это и въявь обоняя исходивший от мужа трупный запах, в то же время ничего не замечала — как этого и не было. Ее не интересовала судьба мужа. Абсолютно. Он мог умереть и физической оболочкой, ее бы несколько это не тронуло. Она работала своей гигантской метлой, шаг вперед — и взмах, шаг вперед — и новый взмах, и на эту работу уходили все ее силы, нет, больше, чем их имелось у нее. Каждый взмах давался громадным, невероятным напряжением, в ней все дрожало внутри от титаничности этого напряжения, тряслось, вибрировало, в голове жарко гудело, вопль о передыхе рвался через стиснутую гортань, и не могла себе позволить того.

К внучке ее не подпускали. Она, собственно, не рвалась и сама, но не подпускали напрочь, вообще, без исключения. Казалось бы, именно Альбине следовало поднять ее, раз она, неуверенно топая своими маленькими ножками, упала около нее, нет, бросались и выхватывали ту буквально у нее из рук. И не давали ни погладить по головке, ни потискать в объятиях. А на ночь, ложась спать, невестка с сыном запирали дверь своей комнаты на задвижку, которой прежде не имелось, и смутное чувство подсказывало Альбине, что это каким-то образом опять связано с внучкой. Почему ее не подпускают к внучке и откуда в ней это чувство, что они закрываются от нее, не от кого другого, она не понимала. Где-то в глубине сознания брезжила память о некоей вине перед внучкой, но каких усилий над собой ни делала, как ни старалась, — не могла вспомнить, что за вина, с чего вдруг возникла в ней и с чем могла быть связана.

Впрочем, все это тоже ее не трогало. Не подпускали — и не подпускали, ладно, и, задумываясь о причинах, она из-за того ничуть не переживала. Не думала она по-настоящему ни о чем, кроме Него. Натянутая тетива звенела в ней, как в прежние времена. И забытые, было, вновь вернулись, звучали в ней заклинанием, помимо ее воли, слова: «Нет. Никогда. Ни в коем случае!»

Она провела дома после больницы чуть более трех недель. С первыми числами октября что-то в ее организме стало происходить неладное: слабость какая-то появилась и все нарастала, стремительнее день ото дня, подташнивало, кружило голову и, как если б там тлела угольями жаровня, пекло внутри, требуя постоянно пить, пить и пить, — она словно бы вернулась в то свое состояние, в котором находилась первые дни после операции. Хотя, впрочем, это ее состояние больше напоминало иное, полутораговой давности, когда в конце концов поехала к знахарке — тогда еще невестка как раз оказалась беременной. Тоже, как тогда, хотелось выть, царапать себя, утоляя внутреннюю боль, разодрать себя до крови. Только тогда не было такой слабости, такой немочи, и еще появилась вдруг непонятная одышка — не могла, не задохнувшись, подняться по лестнице на второй этаж.

Врач, вызванный к ней, приказал ей тотчас ложиться в больницу. Это была та же самая женщина, что являлась их семейным врачом в той специальной, прекрасно оснащенной поликлинике, которая полагалась мужу по его рангу; теперь муж ни на что не имел права, поликлиника обслужила других людей, но старший сын входил именно в их число, а вместе с ним вошли в число этих людей и они с мужем.

— Не хочу в больницу, зачем мне в больницу? — Альбина столько набилась в больницы за последний год, что все в ней возопило против. — Ставьте диагноз, лечите, любые процедуры, но дома!

— Да, вот как раз в процедурах дело, — уклоняясь от встречи с ее взглядом, сказала врач. — Дома это будет невозможно, и медицинское наблюдение необходимо...

— Мама, тут выбора нет. Это неизбежно. — Голос у старшего сына был металлически непреклонен, как металлически непреклонен, сама ледяная невозмутимость, сделался теперь весь его облик. Главным в доме был отныне он, не отец. — Никто в больнице, если не нужно, держать тебя не станет.

— Мамочка! Не спорьте! Пожалуйста! — умоляюще сложила руки перед собой невестка. Она, как женщина, все это время, что врач осматривала Альбину, находилась рядом. — Это для вашего же блага! Я вас провожу, я с вами поеду!

Больница, в которую ее привезли, была не той, где ей делали операцию. Это была онкологическая больница. Альбина не сразу осознала, что онкологическая, потому что никто ей об этом не сообщил, и в палате, куда положили, тоже никто не говорил о том, и она поняла, где находится, только несколько дней спустя — из тех общих разговоров, что велись вокруг.

Она поняла — и не поверила себе, спросила соседок по палате — и не поверила им, спросила медсестру, пришедшую к ней снимать капельницу, — и после ответа той не верить дальше стало уже невозможно.

Они подозревали у нее рак!

Она почувствовала, как от страха у нее схватывает судорогой икры. Она хотела жить, она должна была жить! Она не могла оставить Его без своей защиты, она не имела права болеть смертельно: что будет с Ним, когда Он останется без нее?!

Врач на обходе на ее вопрос о диагнозе ответил уклончиво. Из его ответа выходило, что лежать в онкологической больнице — это то же, что в любой другой, и находиться в ней — вовсе не означает никакого онкологического заболевания.

Его ответ был рассчитан на слабоумного. Мозг Альбины с горячечной ясностью перебирал все обстоятельства ее помещения сюда, и выходило, что эта врачиха из поликлиники, раз напрямиком направила сюда, не просто подозревала у нее рак, а была уверена в нем! И здесь ее бы тоже не приняли, не предоставили дефицитного места, если бы не были столь же уверены в этом диагнозе! Но, чтобы поставить подобный диагноз, нужны исследования, пробы, гистологический анализ... Альбина задохнулась от своего открытия. Глаза покрыло мраком, и все тело в одно мгновение набухло мерзкой, отвратительной пленкой холодного пота. Ей поставили диагноз в той больнице, где делали операцию! Ее выписали оттуда с этим диагнозом, но ничего не сказали ей и не назначили никакого лечения, а такое свидетельствовало... Они считали ее безнадежной, вот что! Они не просто были уверены в ее болезни, а полагали даже бессмысленным как-либо лечить ее! И то, что они сейчас делали с ней, заставляя ее по несколько часов лежать с воткнутой в вену иглой, — это лишь для того, чтобы облегчить ее угасание, получалось так!..

И все же слабенькая, хиленькая надежда сохранялась в ней. Может быть, она исходила из какой-нибудь неверной посылки, может быть, она ошиблась и выстроила совершенно неправильную цепочку... Необходимо было проверить себя. И она знала, как это осуществить. Через младшего сына. Нужно только не выпытывать у него, а сделать вид, что все ей известно, и, если логика ее не обманула, он ей раскроет такое, чего бы ей лучше и не знать.

Она почти не вставала с кровати эти несколько дней, что провела в больнице, справляя малую нужду в судно и лишь по большой выбираясь в туалет; но тут, когда ее осенило с сыном, поднялась, дотащила себя до

медицинского поста в конце коридора и упростила сестру разрешить позвонить. Пусть приедет, хочу видеть, сказала она. До того два раза к Альбине приходила только невестка. Перестилала постель, прочищала тумбочку, помыла протереться лосьоном, выносила судна у всей палаты. Хорошая была у нее невестка. Почему она думала о ней прежде: девка? Золотая жена досталась старшему, во всех смыслах.

Младший раскололся, как она и надеялась, мгновенно. Был дуболомом, дуболомом и остался. Все оказалось так, как она вычислила. Нового она узнала, что рак ее обнаружился во время операции, хирурги опознали его прямо по цвету, и гистология потом подтвердила. И сидело в ней этих опухолей несчетно, они даже не стали к ним прикасаться.

— Пошел вон! — сказала Альбина, когда сын сообщил ей все, что она хотела. Господи, почему она уродилась таким дуболомом! Зачем он сказал ей?! — Пошел вон, пошел! — закричала она на сына во весь голос, сколько того имелось в ней. Слезы стояли в горле и душили ее. Она и не думала, что ей станет так плохо от его подтверждения. Вроде бы надежда была совсем слабенькой, совсем хиленькой, но была. А теперь не оставалось никакой.

Когда он ушел, слезы вырвались из нее наружу хриплым, срывающим связки клекотом, из глаз ударило ключом, двумя настоящими ручьями, и текло и текло, — она понятия не имела, что слез может быть столько. Она плакала в своей жизни, достаточно плакала, но так — это было впервые.

Соседки вызвали с поста медсестру, ей вкатили в ягодицу крепкое успокаивающее, и она провалилась в забытие, в котором провела неизвестное ей время, а вышла из него с ясной, отчетливой мыслью о знахарке. Знахарка вылечила Татьяну-птичницу и почему не могла ее?

Наведаться к Альбине в больницу знахарка отказалась, — хоть за какие деньги. К знахарке с Альбиной просьбой ездил старший сын, и сомнений в том, что он сделал все, чтобы уговорить ту, не могло быть. Старший был не младший. Пусть сама приезжает, передала знахарка. И оказывается, она помнила Альбину, вспомнила ее тотчас! А, это горемычная-то, сказала она.

Врач отпустить Альбину съездить к знахарке отказался. У него, когда она попросила об этом, подборались губы, подбородок поднялся, он весь стал надменная и оскорбленная добродетель. Знахарка или мы, выбирайте, ответил он.

Альбина выбрала знахарку.

Машину поехать за город давал теперь не муж, — старший сын. Но снова это была «Волга», снова черная, а шофер оказался тот же самый, что много лет прежде возил мужа. Она бы не заметила этого, но он обернулся со своего шоферского места и поздоровался, осклабясь: «Альбина Евгеньевна! Что, не ожидали? А кто такого вообще ожидал?!»

Сопроводить Альбину к знахарке, конечно же, поехала невестка. Первые заморозки уже начали по ночам схватывать землю звенящим панцирем, выезжали рано утром, и водитель по просьбе Альбины поехал ближней дорогой, через лес. Что-то ей тяжело стало выносить машину. Проселок, на счастье, оказался каменно тверд, и водитель по пути все восклицал довольно: «Ну, прямо Америка, не дорога. — И оборачивался к ней: — А помните, как мы тогда-то? Черт-те что тогда, как намучились!» Альбина не отзывалась. У нее не хватало сил. За эти дни в больнице она еще больше ослабла и заметила, что начала худеть, и не так, как прежде — просто теряя вес, а как бы истощаться: грудь обвисла двумя еле наполненными у самого дна торбочками, ясно обозначились ребра, вылезли кости на предплечьях, на голенах...

На этот раз от знахарки ее не вызвали, и ждать пришлось долго. Когда приехали к ее дому, только-только разошлись утренние сумерки, а попали в дом — была уже слепополуденная пора.

Знахарка так же, как и в прошлый раз, сидела, сложив свои большие крупные руки на животе, в кресле около окна, а напротив нее стояло другое кресло, свободное. Альбина села, невестка встала у нее за спиной, но знахарка расцепила пальцы сложенных на животе рук и указала на дверь:

— Выйди!

Так указала, как не попросила, а прогнала, и Альбина невольно, в ожидании, когда этот голос обратится к ней, вся сжалась в своем кресле.

Но голос знахарки, когда дверь за невесткой закрылась и они остались вдвоем, оказался по-восковому мягок.

— Ай, сердечная! — покачала знахарка головой. — Не убереглась, что ли, так?

— Рак у меня, — выговорила Альбина. — Метастазы уже. Можешь какой отвар дать?

Голос знахарки, каким та обратилась к ней, мгновенно заставил ее ощутить себя маленькой, беспомощной девочкой, едва начавшей говорить, она искала у знахарки не помощи, а защиты, словно у матери, и обращение на «ты» вырвалось из нее — не заметила как.

Знахарка пристально смотрела на нее, будто ощупывала глазами, мяла ими, как пальцами, и ничего не ответила на Альбину просьбу.

— А-ай ты! — протянула она, спуста, должно быть, минуту. Откачнулась назад, на спинку, перехватила руки на животе по-другому и спросила: — Крестилась, нет?

Альбина вздрогнула — так неожидан был подобный вопрос.

— Нет, — сказала она. — Как-то вот...

— Крестись, — сказала знахарка.

Альбина усилилась понять знахарку, но ход ее мысли остался недоступен ей.

— Рак у меня, — снова выговорила она. — Рак. Отвар мне бы какой...

Большое, бородавчатое, иссеченное паутиной морщин лицо знахарки в полтора метра от нее имело лик самой судьбы.

— Сгорела ты, — сказала знахарка. — Одна головня, какой отвар тебе. Приготовиться нужно.

— К чему приготовиться? — прошевелила онемевшими губами Альбина, понимая ее на этот раз совершенно отчетливо, — и понимать не желая.

— Ну так к чему-чему... что прикидываться-то! — не дала ей поблажки знахарка. — Нет у меня для тебя отвара.

Альбина сидела напротив нее, не смея поверить.

— А вот Татьяна... птичницей зовут... у нас живет... — залепетала она. — Ей ты... и уже три года...

Знахарка перебила Альбину:

— Для кого есть, для кого нет, что ж ты мне не веришь, сердечная, если пришла!

Поднять Альбину, чтобы уходить, потребовалась невестка. Знахарка, темно громоздясь в своем кресле, молча наблюдала за их движениями, молча проводила взглядом до самой двери, но, когда уже начали открывать ее, окликнула Альбину:

— А больше-то с тобой некому, что ли, возжаться?

Смысл ее вопроса не дошел до Альбины.

— Собственно... Вы о ком? — спросила она.

— То, «собственно». Она вот тебя и выпила, — сказала знахарка.

Альбину ударило молнией. Она вспомнила. Как она могла забыть! Ведь это из-за невестки ушла она тогда из дома и жила в том продувном садовом строении. И получается, если бы не вернулась домой, все могло бы быть по-другому!

— Что вы такое несете?! — с еле сдерживаемой яростью в голосе произнесла невестка. — В вас ответственность за свои слова какая-то есть? Это вы с большим человеком!

— Да ты виновата разве, — сказала невестке знахарка.

Альбина смотрела на знахарку, и ей чудилось, что та даст ей сейчас именно тот, необходимый совет.

— А если... если я сейчас, — спотыкаясь, проговорила она, — сейчас если... без нее?

— Не можешь, поди, без нее? Без нее, поди, как без рук, без ног?

Альбина выдавила из себя что-то нечленораздельное. Знахарка видела ее глубже, чем видела себя она сама.

— Ладно, забудь, — махнула рукой знахарка. — Теперь уж без разницы.

Сухонькая, легкая, как перо, ее помощница, подождав-подождав в полуоткрытых дверях с новым пациентом, толкнула дверь, растворяя во всю ширь, и принялась вытеснять Альбину с невесткой из комнаты:

— Идите, идите давайте, вот встали! Закончен прием, идите!

Дома Альбина сразу легла в постель и не вставала с нее, даже чтобы сходить в туалет, целые сутки.

Через сутки, поднявшись, она позвала к себе старшего сына и попросила отправить ее в психушку. Вернуться в онкологическую больницу после самовольного ухода из той нечего было и думать, врачи бы теперь вволю накожевряжились, прежде чем вновь взять ее, а ей требовалось покинуть дом как можно скорее. Она решила для себя за эти сутки, что должна протянуть сколь возможно долго. Она обязана была прожить высшую меру времени, какую только могла отпустить ей ее болезнь, а для того ей следовало оказаться вне доступности для невестки. Может быть, Емю не хватит именно одного дня ее жизни, чтобы довести назначенное до конца.

— Как я тебя отправлю туда, что тебе там делать сейчас, — отказался сын. — Лежи уж дома. Все лекарства, какие надо, все достану, не беспокойся.

В Альбине поднялась, полыхнула обжигающим пламенем такая злость, — она и не думала, что еще способна на чувство подобной силы.

— Не знаешь, как отправить мать в психушку?! — Голоса ей на стоящий крик уже не хватало, и нечто похожее на змеиный шип вырывалось из нее. — Вспомни! Придумай что-нибудь! Сочини! У меня диагноз, возьмут как миленькую!

— Мама! Мамочка! — стояла над ней, сменив сына, взяв ее руку в свои ладони и будто грея в них, невестка. — Мамочка, зачем вам туда? У нас такой камень будет на совести!

Альбина не отнимала у невестки свою руку. И не было на это энергии, и ничего она, кроме того, против самой невестки не имела.

— Хочу так, — сказала она невестке. — Сделайте, как я хочу.

28

Из психиатрической больницы Альбина уже не вышла. Онкологический ее диагноз раскрылся в первый же день, но ей требовалось уже не лечение, а лишь облегчение тех мук, через которые ей должно было пройти, и ее просто перевели к крохотную отдельную палату, длинную, как пенал, и разрешили приходить к ней на свидания прямо сюда и в любое время. Но невестку к себе она не пускала, а муж с сыновьями навещали ее по очереди, только, чтобы забросить какое-нибудь питье вроде клюквенного морса, которого она выпивала за сутки литров пять, и она проводила дни в одиночестве, лежа с закрытыми глазами, и, стискивая от чудовищного напряжения скрежещущие зубы, вела черенок метлы, теряющейся в неведомой дали, в одну сторону, взмах заканчивался, движение иссякало, — и делала шаг вперед, налегала на черенок, чтобы повести в другую сторону...

Впрочем, раз в день и редко какой пропуская, к ней приходила и проводила около нее по полтора-два часа гренадерша-следователь. Альбине нужно было от кого-то узнавать новости о Нем, и в ответ на информацию врачихи она рассказывала ей о том, в чем раньше не признавалась. Теперь, считала Альбина, уже все равно. Теперь, полагала она, можно. Гренадерша сидела около нее, записывала ее медленную тягучую речь в толстую тетрадь на коленях и время от времени упрекала Альбину: «Ну, почему вы ничего не рассказывали! Мы бы вам помогли. От всех бы ваших навязчивых состояний избавили. Жили бы себе, не знали этих ужасов!» Ну да, спасибо, избавили бы, отзывалось в Альбине. Этого только ей не хватало. Но вслух ничего подобного она не произносила. Как не произнесла ни разу, тщательно следила за собой — и не произнесла, Его имя. Ради чего она толкала качели, ради Кого, о том она гренадерше не рассказывала. Ей еще доставало сил и дурить ее. «А вот что, какое у вас ощущение, как вы эту галлюцинацию ощущаете: она у вас перед глазами? или внутри вас, в мозгу?» — спрашивала врачиха. «В пупке», — отвечала Альбина. «Что в пупке?» — не понимала та. «А через пупок все проходит, — мысленно ухмыляясь, говорила Альбина. — Так чувствую». «Как удивительно», — бормотала врачиха, работая ручкой в тетради. Альбина видела в ее глазах охотничий азарт и не могла удержаться, чтоб не подбросить врачихе дополнительную добычу. «Но два раза, — говорила она особенно тихо, заставляя гренадершу склоняться к своим губам, — проходило через влагалище. Так прямо и чувствовала».

А в один из дней ее посетил совсем уже неожиданный гость: Семен-молочник.

Это было отвратительно, что он пришел сюда. Сама Альбина, конечно, не чувствовала, но знала и не сомневалась в том, что воздух в палате не просто застоен и сперт, но буквально пропитан запахами ее тяжелого пота, ее испражнений, и приходиться сюда неблизкому человеку — какого дьявола!

— Чего тебе здесь? — враждебно ответила она на его приветствие. — Нечего тебе здесь! Иди! Зачем ты мне нужен тут?!

Но выставить Семена откуда-нибудь, куда он пришел по какой-то своей надобности, было занятием безнадежным. Она забыла об этом, но он тут же ей о том и напомнил, пройдя, как не услышал ее, к стулу, взяв тот и садясь у нее в изголовье.

— Ой, матушка Альбина Евгеньевна! — заприговаривал он укоряюще, весь, и широким своим розовым лицом, и острыми голубенькими глазками, лучась в открытой неподдельной улыбке. — Ой, нехорошо, ну как же так, что же это ты! От всех скрываешься, нигде тебя не найдешь, хочу повидать — проблема! Вот я тебе творожку своего принес, молочка парного баночку... — принялся он вытаскивать из сумки у себя на коленях свои го-стинцы. И заворочался на стуле: — Куда их тебе?

— Поставь на тумбочку, — обессиленно, сдаваясь под его напором, сказала Альбина.

— Во, конечно, куда еще, на тумбочку! — шевелясь около нее, шурша сумкой и пакетами из полиэтилена, приговаривал Семен. Снова утвердился на стуле, успокоился, Альбина молчала, лежа с закрытыми глазами, и он через паузу сказал: — Так что, вправду, что ли, умираешь, Евгеньевна? Место твое не отдают никому, однако. Держат. Хотя по всем законам пора.

Альбина открыла глаза. Лицо Семена нависало над нею рыхлой розовой массой с вкрапленными в эту массу двумя васильками — так низко он склонился к ней.

— Чего нужно? — спросила она. — Говори!

— Так чего нужно, чего нужно, Альбина Евгеньевна... — Семен несколько сбился от ее прямоты. Но тут же и оправился. — Дубки мне нужны, Евгеньевна, знаешь же. Место самое то, но мне ж его получить нужно. Давай бабу мою на твое кресло. Ей оттуда все видно будет, она оттуда, как надо, прорегулирует. Старший твой большой, говорят, хозяин стал, заменил, значит, папашу достойно, он нашему председателю скажет — тот жив поклад козырек возьмет. А я маслodelьно поставлю, сыроварню заведу — внучке твоей всегда свеженькое со скидкой будет. Без молочного-то, — он хохотнул, — никто не обойдется!

Альбина слушала его, и ей хотелось зареветь, и было смешно одновременно.

— Какой-то ты дурак, Семен, а? — выговорила она, когда он умолк. — И хитрый, и дурак, и бесчувственный, как чурбан. Чего ты ко мне приперся? К ним и иди, кто хозяин, а я что?

— Так ведь сын твой, Евгеньевна.

— Что ж, что сын. Я к этому ко всему отношения не имею. Пожить вот еще надо бы. Уступи мне своей жизни немного, а?

Семен потерялся. Он воспринял ее просьбу всерьез.

— Так как... так у тебя что... Тебе крови надо, что ли?

— Надо, чтоб ты ушел, — изнеможенно сказала Альбина.

Семена вывели под руки сестры, сам он уходит не хотел.

— Пожалеешь, Евгеньевна, — громко говорил он, выворачивая к ней голову, когда его вели к дверям. — Вот если жизнь-то там есть, пожалеешь, что помочь отказалась. Там бы тебе зачлось! Такому пахарю, как я, святое дело помочь. От святого дела отказалась, пожалеешь!..

Больше никаких неожиданных визитов к ней не было. Муж, принеся в очередной раз банки с морсом, сообщил, что просятя навестить ее Нина с бухгалтершей, — она не дала разрешения. Не нужен ей был никто.

Здесь ей делали все то же самое, что и в онкологической больнице: ставили капельницу, вводили белок, потому что она почти перестала есть, переливали кровь и постоянно кололи чем-то, от чего она большую часть времени находилась в полубодствования, полузабытьи, но в отличие от онкологической она теперь не чувствовала каждодневного ухудшения, как

было там, она словно бы законсервировалась в своем состоянии, и оставалась в нем, не меняясь.

То, что ей не делалось хуже, наполняло ее чувством, присутствия которого в себе она боялась. Она мистически страшилась его, и все же оно оказывалось сильнее всех прочих. То было чувство словно бы счастья. А может быть, и просто счастья. Как бы она ни жила — она жила, дни ее продолжались, и она по-прежнему окружала Его своим полем! Она согласна была жить с этим гложущим, пекущим огнем внутри, в этом полузабытьи на кровати, она согласна была жить хоть как, лишь бы жить!

Стоял уже ноябрь, перевалил уже на вторую половину, за окном несколько раз, видела она, густо и сильно шел снег, от его пляшущей белой пелены в палате становилось темно, но на душе у нее, впрямь по контрасту, делалось светло и едва не празднично: вот и зима настает! И оттого, что наступала зима, возникала уверенность, что увидит и Новый год, а раз Новый год, то осилит и всю зиму, ну, а что будет после, весной — туда она, да, не заглядывала.

Новостка появилась у нее в палате в первый день декабря.

— Они никто не могут, у них ни у кого нет времени, я никого из них не смогла заставить, а у вас, я знаю, все ваше питье закончилось, — говорила она торопливой, как бы бесстрастно-деловой скороговоркой, приседая на корточки около тумбочки, выгружая оттуда пустые банки и загружая полные. — Я к вам на минутку. Только сменю вам, и все. Больше ничего, не беспокойтесь.

Она перетряхнула тумбочку, сбежала в туалет, вымыла мылом до блеска Альбинин стакан с ложкой, молча прошлась вдоль ее постели, подтянула, подоткнула простыню, поправила одеяло в пододеяльнике, взбила подушку, наклонилась, взяла с пола сумку, чтобы уходить, и не удержалась:

— Вообще, мама, я никак не пойму, почему вы меня так обижаете! Я это дома все делаю... но мне этого мало. Мне хочется с вами быть! У меня потребность, мне так плохо, что я не с вами! Вы были добры со мной, талон тогда на платье в магазине отдали... мне хочется отплатить!

Ты и оплачиваешь, просилось кипяще с Альбининого языка, но она лишь молча отвернулась лицом к стене и ждала, когда новостка наконец оставит ее. Страх ознобно прокатывался волнами по ее похудевшим бедрам, и передергивало судорогой слабые икры. Теперь, думалось ей, надо ждать чего-то дурного. Теперь непременно.

Первый день декабря был воскресеньем. И когда пришедшая к ней в понеделник вести их обычный разговор гренадерша сообщила о том, что вчера на Украине был референдум и теперь та тоже отделилась, как в свою пору республики Прибалтики*, мгновенно проросшее миллионами острых, колючих игл сердце прокричало Альбине: вот оно, то.

Никакого разговора с врачом на этот раз у них не вышло. Зрение оставило Альбину — и она провалилась в полную тьму, слух обратился вовнутрь нее — и она услышала рвущийся откуда-то из ее глубины, из живота дикий, звериный вопль, некая сила, которой не было в ней минуту назад, вскинула ее на кровати — стояла на коленях, ухватившись обеими руками за спинку, трясла кровать, будто хотела разломать ее, слезы лились из глаз, и грызла эту железную, крашенную масляной краской облупленную спинку зубами, жевала отодранные куски, давилась ими, выплевывала...

Должно быть, ей сделали тогда инъекцию чего-то сильнодействующего, — она пришла в себя только спустя сутки, но пришла лишь сознанием, а тело ее стало беспомощным чехлом для костей: мышцы больше не управляли им, и она могла еще повернуть голову, могла двинуть ногой и пошевелить рукой, но удержать в пальцах стакан или подняться самой с кровати, чтобы сесть на судно, — этого она уже не могла.

Правда, и раньше ей не всегда удавалось водрузить себя на судно без посторонней помощи, приходилось прибегать к содействию медсестры, но потом, посадив ее, та могла уйти, все остальное Альбина уже была в со-

* 1 декабря 1991 г. на Украине состоялся референдум, в ходе которого подавляющая часть голосовавших высказалась за выход Украины из СССР.

стоянии завершить сама. А теперь ее нужно стало поддерживать, стоять над нею, склонившись, и сестры не хотели стоять. Делай лежа, говорили они, подсовывая под нее судно, и уходили. Но лежа у нее получалось только по малой нужде, по большой обязательно требовалось сесть, мучилась, изводилась, все из нее просилось наружу — и без результата. Не можешь лежа сама, клизму давай, говорили медсестры еще. Однако Альбина была не способна на клизму. Она ее боялась панически, ей делалось дурно от одного ее вида. Между тем, хотя она по-прежнему почти ничего не ела, шлаков из нее выходило, как из здоровой, и позывы происходили регулярно.

А что у вас, женщины в семье никакой нет, ответила гренадерша, когда Альбина пожаловалась ей на медсестер. Пусть приходят, сидят с вами, доступ к вам не ограничен. Альбина была теперь не в состоянии вести прежние беседы, и гренадерша потеряла к ней всякий интерес. Альбина лежала с позывами по нескольку часов, боясь позвать сестру, звала, наконец, та приходила и неизменно отказывалась поднимать ее, подпихивала ей под бедра судно и уходила, и Альбина снова лежала, и час, и другой, — совершенно впустую. И лишь после этого сестра поднимала ее, усаживала на судно, прислоняя к стене, подставляя с одного боку стул облокотиться рукой, а с другого держа за руку сама, и, стоя над Альбиной, отворачиваясь от нее в сторону, все потом поторапливала: «Ну, скоро там? Тужься давай, чего там сидишь?!»

Она измучилась за эту неделю так, что, когда в субботу заскочивший с морсами на минуту старший сын спросил про невестку: «Что, разрешишь, может, завтра? А то больше никто!» — она согласилась на ее приход как на спасение. Пусть в середине дня примерно приедет, после часу, еще попросила она. Именно в это время у нее обычно начинались позывы, и если бы в самом деле хоть один день прожить благополучно и спокойно — ей казалось, там дальше можно будет выдержать и еще неделю.

Невестка появилась — ей уже хотелось.

— Мапочка! Добрый день! Как вы? Ой, ну вы сегодня очень даже неплохо выглядите, я ужасно рада! — тараторила невестка, кружась около нее, открывая тумбочку, звякая банками в сумке. — Я лосьон принесла, оботру вас, сразу легко задышитесь!

Альбина объяснила невестке, что от нее требуется, та сбегала в туалет, сполоснула судно и стала поднимать Альбину с постели. Альбина села на судно, прислонившись к стене, облокотилась одной рукой о стул, упершись второй в напрягшиеся руки невестки, натужилась, вытягивая задрожавшую шею вперед, и тут вдруг руки у нее заколотились, словно их трясло током, зубы застучали, рот переполнился вспененной слюной, полезшей на губы, в глазах стало темно...

Это была мгла той бури, что свирепствовала вокруг. Но уже она стихала, рев ее уменьшался с каждым мгновением, с каждым мгновением все больше яснел воздух, блеснула успокаивающаяся вода озер далеко внизу, обозначились темными пятнами массивы лесов, и вот уже стала видна нитка проселочной дороги, вившаяся прихотливыми петлями, и та крошечная фигурка на ней, и Альбина почувствовала, что воздушное течение поднимает ее, подхватывает и несет, как древесный лист, играя ею, переворачивая и вращая, — а она легче листа, невесомее его, бесплотней.

Она умерла, и клиническая ее смерть длилась восемь минут. Ее гренадерского роста лечащий врач проходила коридором мимо палаты как раз тогда, когда в палате раздался сумасшедший, истошный крик, рванула дверь, — это кричала невестка, держа обвисшую Альбину под мышки, они вдвоем затащили ее на кровать, и врач начала делать Альбине массаж сердца, послав невестку за сестрами с необходимыми лекарствами и кислородной подушкой.

Метла не двигалась, словно упершись там, в несхватываемой глазом дали, в некое препятствие, руки, державшие черенок, дрожали от натуги, не в силах сдвинуть ее с места, дрожали ноги, дрожало все тело, напряжение было сверх Альбининых возможностей, она больше не могла ничего выжать из себя, — и закричала от изнеможения, от бессилия, от ненависти к себе за свое бессилие...

— Живучая какая, гляди-ка, — сказала врач, прекращая делать массаж. — Промедол ей теперь, пусть успокоится, — дала она распоряжение

сётрам. Отерла запястьем пот со лба и посмотрела на Альбинину невестку. — Вы бы вот и приходили к ней вместо всех ваших мужиков, помогали бы ей.

— Не разрешает, — отозвалась невестка.

— А наплюньте. При ее диагнозе каких заскоков не бывает. Если считаться с ними...

Альбина начала осознавать себя через трое суток. Возвращение в сознание было отмечено лицом невестки. Оно плоско нависало над ней, полузакрытое волосами — невестка сидела на стуле около кровати с упавшей на грудь головой, спала, — и Альбина какое-то время смотрела на нее, не понимая, что случилось. Потом она вспомнила свой полет и осознала, что между нею нынешней и той, на судне, — некая пропасть и за время, вместившееся в эту пропасть, случилось нечто ужасное. Ужасное настолько, что, наверное, уже ничего не поправить.

Невестка от ее голоса замотала головой, просыпаясь, дернула голову резко вверх и приоткрыла глаза.

— О-ой, мама! — моргая слипшимися ресницами и радостно улыбаясь, протянула она.

— Что с Ним? — спросила Альбина.

Она была уверена, что невестка должна понять ее, но невестка не поняла, и пришлось объяснять ей, когда внутри все дрожало от нетерпения узнать и страха предстоящего знания.

Но Он был жив. Сам Он был жив. А страны, в которой Альбина родилась, выросла, прожила жизнь, этой страны больше не было. Она прекратила свое существование в минувшее воскресенье, восьмого декабря — решением высоких властных лиц трех республик, входивших в страну, где она родилась, выросла и жила, волей трех бывших Его подначальных, отпущенных Им на свободу и собравшихся в лесном уединении, на некоей охотничьей даче без Него*.

Сам Он остался жив, с Ним самим ничего не приключилось, но то, что произошло, — это было равносильно Его смерти. Это было хуже, чем смерть. Это было нечто иное, о чем она и не думала, о возможности чего и не подозревала, чего она просто-напросто не представляла!

Невестка еще рассказывала, описывая подробности, она закрыла глаза и отключилась от ее рассказа. Все. Все было кончено. Она не справилась со своей задачей. Ей не удалось уберечь Его. Жизнь ее не имела больше ни малейшего смысла, можно было умереть хоть сейчас.

А тот, с одутловато-мясистым лицом, который прозвался у нее Крутым, один из тех трех, что решили Его судьбу, он — противник, вот он кто, как она не поняла того раньше! Если бы она поняла раньше!.. Противником — вот он кем был!

С этого дня Альбина не гнала от себя невестку. Она уже и не смогла бы без нее. Теперь около нее нужно было постоянно дежурить. Силы оставили ее настолько, что она не могла больше перевернуться с боку на бок сама, не могла подняться на судно и не могла сидеть на нем, если ее не держали сзади под мышки. «Мама, а вы поправляйтесь!» — воскликнула однажды невестка, протирая ее лосьоном. Альбина оглядела себя — действительно, руки в запястьях округлились, округлились пальцы, она удивилась подобному, но тут же и поняла, что это перестала выходить из нее жидкость. Опух, стал похож на подушку и живот, но чуть повыше пупка он проваливался внутрь, и, прося невестку помочь ей пощупать там себя рукой, она ощущала пальцами через кожу угластые сочленения позвоночника. Невестка не отлучалась от нее никуда, оставив дочку на попечение своей матери, которую специально для того срочно вызвала из ее захолустья, тут же, в палате около Альбины, и спала, принося на ночь какой-то узкий топчанчик и приставляя его к самой Альбининой кровати. Вроде ничего баба досталась парню, думала о ней Альбина в те нечастые часы, когда находилась в ясном сознании. Она редко находилась в нем, —

* 8 декабря 1991 г. главы трех республик СССР — Б. Ельцин (Россия), С. Шушкевич (Беларусь), Л. Кравчук (Украина) — на встрече в Вискулях (Беловежская пуца), бывшей резиденции Н. Хрущева, где тот любил охотиться, подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», которым СССР был практически упразднен.

ее постоянно кололи наркотиками: когда действие одного укола кончалось, ее начинало печь изнутри несусветной болью, и ей делали новый укол. Но когда вдруг непонятным образом накатывало ясное сознание и не было боли, она думала именно об этом: вроде ничего баба. И больше в ней не осталось теперь никаких мыслей, даже о Нем; она и удивлялась тому, но словно бы и радовалась, чувствуя некое облегчение.

В одно из таких своих неожиданных просветлений по совершенно опять же необъяснимой причине ей вспомнилась ее вторая поездка к знахарке. Вернее не собственно поездка, ничего у нее не сохранилось от той в памяти, а как знахарка сказала ей: «Крестись!» И вспомнилось следом, что было в ее жизни, уже обещала себе: если все обойдется, все будет хорошо — обязательно креститься. Когда это было, в каких обстоятельствах? Она не помнила. Но помнила, что обещала, обещала — и не выполнила, почему?

— Ты крещеная? — спросила она невестку.

Голос у нее стал слабый и сиплый, и невестка не расслышала ее.

— Что? — наклонилась она к Альбине.

Альбина повторила.

Невестка словно бы поколебалась, прежде чем ответить.

— Нет, не крестили меня, — сказала она.

— Сможешь в церковь сходить, привести ко мне, чтобы мне окреститься? — попросила Альбина.

Теперь невестка явно расслышала ее, но медлила с ответом, молчала — словно хотела отказать ей, и не знала, как это сделать.

— Да а зачем вам, какой смысл? — сказала она потом.

— Хочу.

— Как я вас оставлю?

— Оставь. Ничего, — просипела Альбина. — Сходи, попроси. Надо мне. Чего тебе не сходить?

— Да нет, я схожу, — опять помолчав, сказала невестка. — Пожалуйста.

— Прямо сейчас.

— Как прямо сейчас? Десять вечера.

— Да? Десять вечера? — У Альбины не было никакого представления о времени.

— Завтра схожу, — пообещала невестка. — Завтра суббота, целый, наверно, день будет открыто, так что, наверно, застану кого нужно.

— Спасибо тебе. Милая ты моя, — сказала Альбина. Так у нее попросилось: «милая». В ней было громадное, всю ее растворившее в себе, расслабляющее чувство благодного облегчения: она вспомнила, что должна сделать, сделать непременно и безусловно, вспомнила — и теперь осталось только немного подождать, дожждаться вернее, и все, действительно можно умирать.

Должно быть, она начала задыхаться, будучи в забытьи, и удушье вернуло ее в сознание. Кислород, просипела она, но невестка не отозвалась. Альбина попыталась приподнять голову, чтобы увидеть, есть рядом с нею невестка или нет, — невестки не было. Куда она могла деться, прозвучало в Альбине стоном. Какое сейчас время суток, день или ночь, она не понимала: тяжелый сумеречный туман заполнял палату, и было им совершенно невозможно дышать. Помоги, ты где, помоги, задыхаясь, позвала она невестку еще раз.

В груди у нее, услышала Альбина, забулькало, словно там открыли отключенный от воды кран. Почему, почему невестка не возвращалась, куда она ушла так надолго! Альбина потрогала себя за нос — она была еще жива. Подергала себя за волосы — ей стало больно. Уперлась ногами в спинку кровати — и ноги сорвались, проскочили между прутьями. Она судорожно, быстро-быстро заперебирала ногами, стараясь снова упереться ими в прутья, ей необходимо было упереться, чтобы не умереть, дожидаться невестку, но прутьев на месте не оказалось, и не оказалось кровати под ней, — она словно бы висела в воздухе, вернее не висела, а как бы плыла в нем, раскачиваясь, подобно сорванному древесному листу. В недоуменной надежде, что это лишь обман чувств и кровать под нею сейчас обнаружится, она забилась, задергалась изо всех сил, какие еще имелись в

ней... но не было никакой кровати, и откуда той было взяться: она действительно летела по воздуху, увлекаемая сильной восходящей струей, громадный, похожий на воинский шлем выпуклый холм, на котором она стояла, остался далеко под нею и в стороне, буря улеглась окончательно, и, хотя небо было застлано мглистыми плотными облаками, сам воздух был ясен, чист, спокоен, видно окрест до горизонта, во все стороны, и на вьющейся тонкой бечевой нитью проселочной дороге со всею отчетливостью рисовалась крошечная человеческая фигурка,двигающаяся куда-то. А, вспомнилось ей, это ради него стояла она там, на том холме, увидеть бы его, понять, кто это. И словно она могла управлять несшим ее воздушным потоком, поколебав, поколебав ее невесомое тело на месте, он повлек ее вниз, пронес над холмом, на котором она стояла, над речкой, серебряные петли которой она видела прежде лишь издали, с высоты, над озерцом в тихой искристой ряби, над лесом, расчленившимся на деревья, над полем в бегущих волнах какого-то злака, подошедшего к зрелой поре, и дорога оказалась под нею — разбитая, унылая проселочная дорога русской лесостепи, пыльная и с глубокою, непроезжей колеей, а человеческая фигурка на ней была уже совсем близко — фигура, не фигурка, что-то в облике этой фигуры показалось ей прекрасно знакомым, близким, нужно бы увидеть лицо, ей не терпелось увидеть лицо... и она увидела.

Это был Он. Это, конечно, был Он, и кем еще мог оказаться человек на дороге! Это был Он, она и не сомневалась, что это Он!

Ее поднесло к Нему совсем близко, и тут она увидела, что Он абсолютно слеп. Он шел, высоко вскинув голову, глаза его были широко раскрыты, Он шел, подчиняясь влекущей его силе, наугад, не видя дороги, и даже спутницы любого слепца — палочки — не имелось у него в руках. Пока она стояла там, на холме, она направляла его, ей сверху видны были все извивы дороги, все ее опасности, теперь Он оказался без нее, сам себе поводырь, и до поджидавшей его ловушки оставались считанные шаги!

Она закричала Ему изо всех своих сил, что Его ждет, она попыталась в судорожном броске дотянуться до Него, остановить Его, — и ей это удалось, но она была теперь бесплотна, она была, оказывается, самым воздухом, его летучими молекулами, и руки ее прошли сквозь Него, и голоса ее Он тоже не услышал...

— Ах, дочь моя, что же вы с утра за мной не пришли, раз она в таком состоянии. Зачем же полдня ждали, — с упреком сказал священник Альбиновой невестке. — Тут каждый час был дорог. Уйдет, не дай Бог, теперь неприобщенной.

Невестка не ответила ему. Они со священником стояли в дверях палаты, и она смотрела, что делают врач и сестра с ее свекровью.

Когда она, попросив священника подождать около палаты, вошла вовнутрь, чтобы подготовить свекровь к предстоящему таинству, то застала ее лежащей на середине кровати, с запрокинутой головой, с ногами, далеко высунутыми между прутьями спинки и подогнувшимися в коленях, запавшие ее глаза вылезли наружу и быстро, беспорядочно двигались. «Мама!» — бросилась к ней невестка, но свекровь ничего не ответила ей, и только глаза вдруг остановились, и зрачки залили всю радужку.

Дежурного врача искали по отделениям минут десять. Это был молодой мужчина, он прибежал через минуту, как его нашли, и тотчас бросился делать массаж, а сестра по его приказанию принесла целую пригоршню разных шприцов. Потом врач взял один из шприцов, примерился и вогнал иглу между ребрами, чтобы ввести адреналин прямо в сердце.

— Ах, дочь моя, что же вы с утра за мной не пришли! — покачав головой, повторил священник.

Невестка снова ничего не ответила. Ей и нечего было ответить. Она не знала почему. Не шлось почему-то с утра. Никак не шлось. Не могла себя заставить.

Врач вдавил поршень до упора, прижал место, где игла входила в тело, ваткой со спиртом и вытащил иглу. Ватку в пальцах ему мгновенно окрасило, он отнял ее, и между ребрами на постель заструилась быстрая яркая струйка. Врач разогнулся, постоял мгновение, глядя на лежавшее перед ним тело, и потом поглядел в сторону двери, избегая взгляда Альбиновой невестки.

— Отмучилась бедняга, — сказал он.

Массажист ждал его, разминая себе пальцы. У массажиста были крупные, длинные, как у пианиста, очень сильные пальцы, точечный массаж получался у него просто великолепно.

Доброе утро, как спалось, по-обычному спросил он массажиста. Прекрасно, как всегда, по-обычному отозвался массажист.

Он скинул халат и лег на массажный стол. Массажист, растирая кремча ладонях, приблизился, заглянул к нему сбоку в глаза, спросил: «Приступаем?» «Приступаем-приступаем, конечно», — сказал он. Жена, волейболистка в молодости, всю жизнь донимала его: нужно делать гимнастику. Всю жизнь время от времени он уступал ей, и все прекращалось через неделю: гимнастика не взбадривала его. Пятнадцать минут массажа освежали его куда лучше собственных физических движений, поселяя в нем бодрость на весь день. Он закрыл глаза, массажист промял ему спину, прогнал кожную волну по лопаткам, прошел точечными касаниями вдоль позвоночника, застучал ребрами ладоней по пояснице. Там полегче, полегче, попросил он массажиста. Память о радикулите, прихватившем его в Крыму во время отпуска, как раз перед событиями девятнадцатого августа, не позволяла ему, как прежде, насладиться поясничным массажем. Воротник давай, и руки, сказал он. Массаж шеи, плеч и рук давал ему наиболее сильное ощущение бодрости.

Завтрак к его возвращению стоял на столе. Любимые его горячие бутерброды с сыром были накрыты белоснежной льняной салфеткой.

— Только не спеши, бога ради, жуй хорошенько, — сказала жена.

— Когда я куда спешил, — посмеиваясь, сказал он.

— Успеешь, куда нужно, — договорила она.

— А может, мне куда больше не нужно будет, — все так же посмеиваясь, пошутил он.

Ее глаза были серьезны и напряженны.

— Я думаю, они не посмеют все-таки совсем отстранить. И ты все это начал, и потом, координатор какой-то нужен!

Губы у нее в паузах между словами поджимались от серьезности, с какой она говорила.

— Мало ли кто что начал, — делая большой глоток мангового сока, сказал он. И выпил залпом полстакана. — Давай больше не будем об этом.

Она не ответила. О чем ей как раз хотелось, так именно «об этом», и, подчиняясь ему, так вот, молчанием, она выразила свое неудовольствие.

— Ешь, ешь, чего это ты? — сказал он, заметив, что она сидит, сложив руки перед собой на столе, и ничего не берет.

— Я поем, — коротко ответила она.

— Ну хорошо, — согласился он. Ему было не до того, чтобы выяснять сейчас с нею какие бы то ни было отношения.

— Может быть, я буду сегодня не очень поздно, — хрустя поджаренным бутербродом, проговорил он немного погодя. — Переговори с Иришкой, пусть приедут сегодня, посидим по-семейному.

— «Не поздно» — это во сколько?

— Ну, я позвоню, — уклонился он от точного ответа. Он сам не знал, с чего вдруг у него предложилось такое. Вдруг предложилось. Само собой.

Лейтенант из охраны предупредительно распахнул дверцу машины, едва он вышел на крыльцо.

— Добрый день, — коротко махнул он левой рукой лейтенанту, пригибая голову, чтобы нырнуть в просторное, обитое темным бархатом роскошное лоно машины. В правой руке у него была папка с бумагами, которые брал на ночь. — Добрый день, — поздоровался он с водителем, бросая папку рядом с собой на сиденье. Водитель ждал приказания, полуразвернувшись к нему в профиль, показывая ему свою ушную раковину, и он сказал: — Поехали.

В приемной около кабинета, хотя ему сейчас нечего было здесь делать, обретался первый помощник.

— Что случилось? — спросил он недовольно.

— Собираются сегодня, — сказал помощник. — Есть еще возможность...

— Нет, благодарю! — оборвал он помощника. — Ничего я предпринимать не буду. Этого только не хватало. Как там решат — так и будет.

— В два часа — журналисты, — напомнил помощник.

— Хорошо, — ответил он помощнику с прежним неудовольствием.

Он чувствовал в себе раздражение. Зачем помощник говорит ему о возможностях. И он, значит, тоже полагает его похожим на предшественников. Или что, все они думают, власть ему действительно нужна ради власти?

Он зашел к себе в кабинет, прошагал по ковровой дорожке до стола, сел за него — и обнаружил, что делать ему нечего. То есть дел было — пропасть, но все бессмысленно, если сегодня — его последний день. И ничего от него не зависит. Там, на востоке, в столице степной громадной республики сядут за стол одиннадцать рожденных его действиями новых лидеров — и решат его судьбу. А ему остается ждать. Больше ничего.

«И потом, координатор какой-то нужен», — стояли в нем слова жены. Они возникали и возникали в его сознании подспудной надеждой, что все разрешится благополучно и он сможет продолжить дело, которое начал. Хотя, рассуждая трезво, он знал: он им не нужен. Никому. Ни одному. Он выпестовал их — сам не желая того, — научил жить на воле, и почему молодые азартные волчата, дорвавшиеся до свободной жизни, обязаны пожалеть старого сивого волка? Он им теперь лишь мешал, они должны были растоптать его. Разве что какое-то чудо... Станным образом, пересильная трезвое знание, в нем жила некая непонятная надежда именно что на чудо. Сколько раз за эти последние годы он был на таком краю, что казалось — не удержаться, и всякий раз происходило словно бы некое чудо, и он спасался!..

Никогда за все эти последние годы не было у него таких пустых, бессмысленных дней, как сегодня. Бодрость, полученная им утром от рук массажиста, ушла из него, словно вылилась вода из продырявленного сосуда, и он чувствовал себя таким же усталым и разбитым, как после дней форосского заключения.

Но когда в назначенное время он вышел в подготовленный для встречи с журналистами зал, он выглядел — с несомненностью было известно ему о себе, — как всегда, бодрым, хладнокровным, уверенным, как бы всем на свете довольным — образ, который он создавал всю свою жизнь, а особенно эти последние годы, когда пришлось жить на виду и напоказ. Софиты ярко светили, теле- и кинокамеры тотчас зажужжали, фотокорреспонденты стрекозино защелкали своими длиннообъективными аппаратами. Просто корреспонденты, сидевшие полукругом на стульях, взяли перед собой на изготовку диктофоны. Ему было приятно все это. Он осознавал свою слабость к пресс-конференциям. Осознавал, посмеивался над нею и прощал ее себе. Наверное, истоком ее являлась школьная мечта стать актером. Какой бред: он — и актер. Этого только не хватало: действительно сделаться им.

Конференция была в полном разгаре, он отвечал на очередной вопрос, когда вдруг словно бы лопнуло что-то со звоном вокруг него. Как бы некая полая сфера: треснула и распалась на части.

Он запнулся и огляделся. Журналисты с недоумением тоже заоглядывались.

— Что это? — спросил он.

Что, о чем речь, что такое, побежало по залу.

— Что случилось? — оказался около него первый помощник.

— Вы что-нибудь слышали сейчас? — спросил он.

— Нет. Что? Прямо сейчас? — тревожно переспросил помощник.

Он понял. Этот звук он уже слышал однажды. Тринадцать дней назад. Это произошло, высчитал он позднее, как раз в то время, когда трое из выпущенных им на волю молодых волчат, собравшихся в лесной резиденции одного из его предшественников, подписали договор, перечеркнувший всю его работу последних недель. А и не только недель. Тогда их было трое, теперь их было одиннадцать. Ему стало не по себе. Нечто мистическое почувдилось ему во всем этом.

— Простите! — поднялся один из корреспондентов. — Вы недоответили. Уточняю вопрос, который был задан.

— Одну минуточку! — запрещающе подняв руку, попросил он. И ска-

зал склонившемуся к нему помощнику — так, чтобы звук не попал в микрофоны. — Позвони туда. Узнай, что там.

Помощник вернулся минут через десять. Лицо его было похоже на скомканный бумажный лист.

— Ну, в общем, вот так, — свернул свой очередной ответ он и помаанил помощника пальцем: подойди.

Помощник подошел и положил перед ним на стол листок из своего именного рабочего блокнота со скоро нацарапанными на нем двумя десятками слов. «С образованием Содружества... — схватили глаза начало. И конец: — ...прекращает свое существование».

— Все, спасибо. Благодарю за внимание. Будем считать нашу встречу законченной, — сказал он, поднялся и пошел к выходу из зала. Помощник шел следом за ним.

Выйдя из зала, он остановился и снова перечитал текст, принятый помощником по телефону, сверху над текстом было написано: «Декларация». «Прекращает свое существование», — прозвучали в нем, как произнесенные кем-то чужим, последние ее слова. «Прекращает... свое существование...» *.

Он молча отдал листок помощнику и пошел по коридору. Зайдя к себе в кабинет, он целенаправленно прошел к рабочему столу, сел в кресло — и обнаружил, что не знает, для чего он сел за него, не знает, что делать. Чего никогда с ним за этим столом не случалось.

Тогда он снял трубку и нажал кнопку вызова домашнего телефона.

— Я слушаю, — тотчас, словно ждала у телефона, сняла там трубку жена.

— Зови их к шести часам, — сказал он. — К шести я приеду.

— Что у тебя? Что они? — спросила она тревожно.

— Жить будем, не беспокойся, — сказал он. — Все, больше не могу, занят очень. — И положил трубку.

Положил, и на миг странное видение овладело им: он стоял на некоей пыльной, разбитой проселочной дороге, крутившейся среди полей, озер, лесов и холмов, но он не видел ее, он лишь знал откуда-то, что стоит на такой дороге, а видеть ее не мог: он был незряч, слеп абсолютно и не понимал, что ему делать.

Миг, который длилось видение, был короче секунды, долей секунды, это была молниевая вспышка — и все исчезло, и еще мгновение спустя он уже сомневался, было с ним что сейчас или нет.

Он нажал кнопку переговорного устройства и приказал секретарю вызывать к себе всех своих помощников и сотрудников. Следовало обсудить, как им всем жить теперь дальше. Жизнь не кончалась.

* Вслед за «Соглашением о создании Содружества Независимых Государств», принятым 8 декабря 1991 г., 21 декабря 1991 г., в субботу, в столице бывшей Казахской ССР Алма-Ате была принята «Алма-атинская декларация» текст которой уже окончательно зафиксировал конец СССР. «Алма-атинскую декларацию» в отличие от «Соглашения...» подписали не три, а одиннадцать новых самостоятельных государств, бывших республик СССР: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Франц Кафка

АФОРИЗМЫ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТИННОМ ПУТИ

1. Истинный путь идет по канату, который натянут не высоко, а над самой землей. Он предназначен, кажется, больше для того, чтобы о него спотыкаться, чем для того, чтобы идти по нему.

2. Все человеческие ошибки суть нетерпение, преждевременный отказ от методичности, мнимая сосредоточенность на мнимом деле.

3. Есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие: нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один главный грех: нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не возвращаются.

4. Многие тени усопших заняты только тем, что лижут волны реки смерти, потому что она течет от нас и еще сохраняет соленый вкус нашего моря. От отворачивания река эта вздымается, начинает течь вспять и несет мертвых назад в жизнь. А они счастливы, поют благодарственные песни и гладят возмущенную реку.

5. Начиная с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь.

6. Решающее мгновение человеческого развития длится вечно. Правы поэтому революционные духовные движения, объявляющие все прежнее ничтожным, ибо еще ничего не произошло.

7. Один из самых действенных соблазнов зла — призыв к борьбе.

8. Она — как борьба с женщинами, которая заканчивается в постели.

9. А. очень напыщен, он думает, что весьма преуспел в добре, поскольку, будучи, очевидно, объектом всегда заманчивым, испытывает все больше искушений с совершенно неведомых ему прежде сторон.

10. А верное объяснение состоит в том, что в него вселился большой бес и прибежала тьма маленьких, чтобы служить большому.

11/12. Различие взглядов, какие могут быть, скажем, на яблоко: взгляд малыша, которому надо вытянуть шею, чтобы только увидеть яблоко на доске стола, и взгляд хозяина дома, который берет яблоко и без труда подает его сотрапезнику.

13. Первый признак начала познания — желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, другая — недостижимой. Уже не стыдишься, что хочешь умереть; просишь, чтобы тебя перевели из старой камеры, которую ты ненавидишь, в новую, которую ты только еще начнешь ненавидеть. Сказываются тут и остаток веры, что во время пути случайно пройдет по коридору главный, посмотрит на узника и скажет: «Этого не запирайте больше. Я беру его к себе».

14. Если бы ты шел по ровной дороге, шел по доброй воле и все же отступал назад, тогда бы дело было пропавшее; но поскольку ты взбираешься по отвесному склону, такому отвесному, что снизу ты сам кажешься повисшим на нем, то шаги вспять могут быть вызваны только особенностями почвы, и отчаиваться тебе не следует.

15. Словно дорога осенью: только ее выметут, как она уже снова покрывается сухими листьями.

16. Клетка пошла искать птицу.

17. В этом месте я еще ни разу не был: иначе дышитесь, ослепительнее, чем солнце, сияет с ним рядом звезда.

18. Если бы возможно было построить Вавилонскую башню, не взбираясь на нее, это было бы позволено.

19. Не позволяй злу уверить тебя, что у тебя могут быть тайны от него.

20. Леопарды врываются в храм и выпивают до дна содержимое жертвенных сосудов; это повторяется снова и снова; и в конце концов это может быть предусмотрено и становится частью обряда.

21. Так крепко, как рука держит камень. А держит она его крепко лишь для того, чтобы швырнуть его как можно дальше. Но дорога приведет и в ту даль.

22. Ты — это задача. Ни одного ученика кругом.

23. При настоящем противнике в тебя вселяется безграничное мужество.

24. Понять, какое это счастье, что почва, на которой ты стоишь, не может быть больше, чем способны покрыть две твои ступни.

25. Как можно радоваться миру? Разве только если убегаешь в него.

26. Укрытиям нет числа, спасение лишь в одном, но возможностей спасения опять-таки столько же, сколько укрытий.

Есть цель, но нет пути; то, что мы называли путем, — это промедление.

27. Делать отрицательное — это еще на нас возложено; положительное дано нам уже.

28. Стоит лишь впустить в себя зло, как оно уже не требует, чтобы ему верили.

29. Задние мысли, с которыми ты впускаешь в себя зло, — это не твои мысли, а зла.

Животное отнимает плетку у хозяина и стегает себя, чтобы стать хозяином, оно не знает, что это — только фантазия, вызванная новым узлом на плетке хозяина.

30. Добро в каком-то смысле безотраднo.

31. К самообладанию я не стремлюсь. Самообладание означает хотеть действовать в каком-то случайном месте бесконечных излучений моей духовной личности. А уж если приходится замыкать себя такими кругами, то предпочитаю делать это бездейтельно, просто дивясь этой чудовищной совокупности и унося домой лишь подкрепление, которое, е contagio, дает этот взгляд.

32. Вороны утверждают, что одна-единственная ворона способна уничтожить небо. Это не подлежит сомнению, но не может служить доводом против неба, ибо небо-то как раз и означает невозможность ворон.

33. Мученики не недооценивают тела, они стараются возвысить его на кресте. В этом они едины со своими противниками.

34. Его усталость — это усталость гладиатора после боя, его работа состояла в том, что он белил угол канцелярского помещения.

35. Нет обладания, есть только бытие, только жаждущее последнего вдоха, жаждущее задохнуться бытие.

36. Раньше я не понимал, почему не получаю ответа на свой вопрос, сегодня не понимаю, как мог я думать, что можно спрашивать. Но я ведь и не думал, я только спрашивал.

37. Его ответом на утверждение, что он, может быть, и владеет, но не существует, были только дрожь и сердцебиенье.

38. Некто удивлялся тому, как легко ему идти путем вечности; а он стремглав несся по этому пути вниз.

39а. Злу нельзя платить в рассрочку, а непрестанно пытаются.

Можно допустить, что Александр Великий, несмотря на военные успехи своей молодости, несмотря на отличное войско, которое он создал, несмотря на устремленные изменить мир силы, которые он в себе чувствовал, остановился бы у Геллеспонта и никогда не преступил бы его, причем не от страха, не от нерешительности, не из-за слабой воли, а из-за земной тяжести.

39б. Путь бесконечен, тут ничего не убавишь, ничего не прибавишь, и все же каждый прикладывает к нему свой детский аршин. «Конечно, ты должен пройти еще этот аршин пути, это тебе зачтется».

40. Только наше понятие о времени заставляет нас называть Страшный суд именно так, по сути, это военно-полевой суд.

41. Несообразность мира кажется, к утешению, лишь количественной.

42. Опустить на грудь голову, полную отвращения и ненависти.

43. Охотничьи собаки еще играют во дворе, но дичь от них не уйдет, сколько бы уже сейчас ни металась она по лесам.

44. Смешно оснастил ты для этого мира.

45. Чем больше ты впряжешь лошадей, тем скорее пойдет дело — то есть не скорее вырвешь из фундамента глыбу, — это невозможно, — а скорее порвешь ремни и поедешь весело налегке.

46. Слово «быть» (sein) обозначает в немецком языке и существование, и принадлежность кому-то.

47. Им было предоставлено на выбор стать царями или гонцами царей. По-детски все захотели стать гонцами. Поэтому налицо одни гонцы, они носятся по миру и за отсутствием царей сами сообщают друг другу вести, которые стали бессмысленны. Они бы рады покончить со своей несчастной жизнью, но не осмеливаются из-за присяги.

48. Верить в прогресс не значит верить, что прогресс уже состоялся. Это не было бы верой.

49. А. — виртуоз, и небо его свидетель.

50. Человек не может жить без постоянного доверия к чему-то нерушимому в себе, причем и это нерушимое, и это доверие могут долго оставаться для него скрыты. Одно из проявлений этой скрытности — вера в личного бога.

51. Нужно было посредничество змея: зло может соблазнить человека, но не может стать человеком.

52. В поединке между тобой и миром будь секундантом мира.

53. Никого нельзя обманывать, в том числе и мир насчет его победы.

54. Нет ничего другого, кроме духовного мира; то, что мы называем чувственным миром, есть зло в мире духовном, а то, что мы называем злом, есть лишь необходимость какого-то момента нашего вечного развития.

Сильнейшим светом можно упразднить мир. Перед слабыми глазами он становится тверд, перед еще более слабыми у него появляются кулаки, перед еще более слабыми он становится стыдлив и уничтожает того, кто отваживается взглянуть на него.

55. Все обман: искать минимума заблуждений, оставаться при обыкновенном, искать максимума. В первом случае обманываешь добро, чересчур облегчая себе его достижение, и зло, ставя ему слишком невыгодные условия борьбы. Во втором случае обманываешь добро, даже не стремясь к нему, стало быть, в земных делах. В третьем случае обманываешь добро, как можно дальше от него удаляясь, и зло, надеясь обессилить его преувеличением. Предпочесть следовало бы, значит, второй случай, ибо добро обманываешь всегда, а зло в этом случае не обманываешь хотя бы с виду.

56. Есть вопросы, мимо которых мы не смогли бы пройти, если бы от природы не были освобождены от них.

57. Все, что вне чувственного мира, язык может выразить только намеками, но никак не сравнениями, даже и приблизительно, потому что язык, в соответствии с чувственным миром, тоскует только об обладании и о том, что с таковым связано.

58. Лгут меньше всего, когда меньше всего лгут, а не тогда, когда для этого меньше всего поводов.

59. Лестничная ступенька, не вытопанная ногами, есть сама по себе нечто деревянное, грубо сколоченное.

60. Кто отрекается от мира, должен любить всех людей, ибо он отрекается и от их мира. Тем самым он начинает догадываться об истинной человеческой сути, которую нельзя не любить, если предположить, что ты ей соответствуешь.

61. Кто в мире любит своего ближнего, совершает не большую и не меньшую несправедливость, чем тот, кто любит в мире себя самого. Остается только вопрос, возможно ли первое.

62. Тот факт, что нет ничего другого, кроме духовного мира, отнимает у нас надежду и дает нам уверенность.

63. Наше искусство — это ослепленность истиной: истинен только свет на отпрыгнувшем с гримасой лице, больше ничего.

64/65. Изгнание из рая окончательно и жизнь в мире неминуема, однако вечность этого процесса (или, выражаясь временными категориями — вечная повторяемость этого процесса) дает нам все же возможность не только надолго оставаться в раю, но и в самом деле там находиться, независимо от того, знаем ли мы это здесь или нет.

66. Он свободный и защищенный гражданин земли, ибо посажен на цепь достаточно длинную, чтобы дать ему доступ ко всем земным пространствам, и все же длинную лишь настолько, чтобы ничто не могло вырвать его за пределы земли. Но в то же время он еще и свободный и защищенный гражданин неба, ибо посажен еще и на небесную цепь, рассчитанную подобным же образом. Если он рвется на землю, его душит ошейник неба, если он рвется в небо — ошейник земли. И тем не менее у него есть все возможности, и он это чувствует; более того, он даже отказывается объяснять все это первоначальной оплошностью.

67. Он бежит вслед за фактами, как начинающий конькобежец, который к тому же упражняется в таком месте, где это запрещено.

68. Что радостнее, чем вера в бога домашнего очага!

69. Теоретически существует полнейшая возможность счастья: верить в нечто нерушимое в себе и не стремиться к нему.

70/71. Нерушимое едино; оно — это каждый отдельный человек, и в то же время оно всеобщее, отсюда беспримерно нерасторжимая связь людей.

72. В одном и том же человеке есть опыт, который при полной своей неодинаковости имеет все-таки один и тот же объект, а из этого следует, что в одном и том же человеке не может не быть разных субъектов.

73. Он жрет отбросы с собственного стола; благодаря этому он, правда, какое-то время более сыт, чем все, но он отучается есть сидя за столом; а из-за этого потом перестают поступать и отбросы.

74. Если то, что будто бы уничтожилось в раю, поддавалось уничтожению, значит, решающего значения оно не имело; а если не поддавалось, то, значит, мы живем в ложной вере.

75. Проверь себя на человечестве. Сомневающегося оно заставляет сомневаться, верящего — верить.

76. Это чувство: «здесь я не брошу якорь» — и сразу почувствовать катящиеся, несущие волны вокруг себя!

В обход. Крадучись, робея, надеясь, обходит ответ вопрос, в отчаянье вглядывается в его неприступное лицо, следует за ним самыми бессмысленными, то есть как можно дальше уводящими от ответа путями.

77. Общение с людьми совращает к самоанализу.

78. Дух лишь тогда делается свободным, когда он перестает быть опорой.

79. Чувственная любовь скрывает небесную; в одиночку ей это не удалось бы, но, поскольку она неосознанно содержит в себе элемент небесной любви, это ей удается.

80. Истина неразделима, значит, она сама не может узнать себя; кто хочет узнать ее, должен быть ложью.

81. Никто не может желать того, что ему в конечном счете во вред. Если, однако, от отдельного человека складывается иное впечатление, — а оно складывается, возможно, всегда, — то объясняется это тем, что кто-то в человеке желает чего-то, что этому кому-то, правда, на пользу, но кому-то второму, кто привлекается разве что для оценки данного случая, сильно вредит. Если бы человек с самого начала, а не только при оценке, стал на сторону этого второго, то первое «кто-то» угасло бы, а с ним и желание.

82. Почему мы ропщем на грехопадение? Не из-за него изгнаны мы из рая, а из-за дерева жизни, чтобы нам не есть от него.

83. Грешны мы не только тем, что ели от дерева познания, но и тем, что еще не ели от дерева жизни. Грешно состояние, в котором мы пребываем, независимо от вины.

84. Мы были созданы, чтобы жить в раю, рай был предназначен для того, чтобы служить нам. Наше назначение было изменено; что это же случилось и с назначением рая, не говорится.

85. Зло — это излучение человеческого сознания в определенных переходных положениях. Иллюзия — это, в сущности, не чувственный мир, а его зло, которое, однако, для наших глаз и составляет чувственный мир.

86. С момента грехопадения мы по сути равны в способности познавать добро и зло; тем не менее именно тут ищем мы особые свои преимущества. Но действительные различия начинаются лишь по ту сторону этого познания. Видимость противоположного вызывается вот чем: никто не может удовлетвориться одним познанием, а должен стараться действовать в соответствии с таковым. Но на это ему не дано силы, а потому он должен надрываться, даже рискуя все равно не обрести нужной силы, ему просто ничего другого, кроме этой последней попытки, не остается. (Таков смысл угрозы смертью при запрете есть от дерева познания; таков, может быть, и первоначальный смысл естественной смерти.) Перед этой попыткой он испытывает страх; он предпочел бы взять назад познание добра и зла (название «грехопадение» идет от этого страха); но случившееся нельзя взять назад, а можно только замутить. Для этой цели возникают мотивации. Весь мир полон их, больше того, весь видимый мир — это, может быть, не что иное, как мотивация человека, который хочет минуты покоя. Попытка фальсифицировать факт познания, выставить познание целью.

87. Вера — как топор гильотины, так же тяжела, так же легка.

88. Смерть перед нами — примерно как картина на стене класса, изображающая битву Александра Македонского. Все дело в том, чтобы еще в этой жизни затемнить картину своими деяниями или совсем погасить.

89. У человека есть свобода воли, причем тройкая. Во-первых, он был свободен, когда пожелал этой жизни; теперь он, правда, уже не может взять ее назад, ибо он уже не тот, кто тогда хотел ее, тот он лишь в той мере, в какой, живя, исполняет свою тогдашнюю волю.

Во-вторых, он свободен, поскольку может выбрать манеру ходьбы и путь этой жизни.

В-третьих, он свободен, поскольку тот, кто некогда будет существовать снова, обладает волей, чтобы заставить себя при любых условиях идти через жизнь и таким способом прийти к себе, причем дорогой хоть и избираемой, но настолько запутанной, что она ни одной дольки этой жизни не оставляет нетронутой.

Это тройкость свободной воли, но это ввиду одновременности и одинаковости, одинаковости по сути в такой степени, что не остается места для воли, ни свободной, ни несвободной.

90. Две возможности: делать себя бесконечно малым или быть им. Второе — завершение, значит, бездеятельность; первое — начало, значит, действие.

91. Во избежание словесной ошибки: что следует деятельно разрушить, то надо сперва крепко схватить; что крошится, то крошится, но разрушить это нельзя.

92. Первое идолопоклонство было, конечно, страхом перед вещами, а в связи с этим — страхом перед необходимостью вещей, а в связи с этим — страхом перед ответственностью за вещи. Ответственность эта казалась такой чудовищной, что ее не осмеливались возложить даже на какое-то единичное внечеловеческое существо, ибо и посредничество какого-то существа еще не облегчило бы человеческую ответственность в достаточной степени, общение только с одним существом было бы еще слишком отягощено ответственностью, поэтому на каждую вещь возложили ответственность за себя самое, более того, на эти вещи возложили еще и относительную ответственность за человека.

93. В последний раз психология!

94. Две задачи начала жизни: все больше ограничивать свой круг и постоянно проверять, не спрятался ли ты где-нибудь вне своего круга.

95. Зло бывает порой в руке, как орудие; узванное или неузнанное, оно не переча позволяет отложить себя в сторону, если есть воля на то.

96. Радости этой жизни суть не ее радости, а наш страх пред восхождением в высшую жизнь; муки этой жизни суть не ее муки, а наше самобичевание из-за этого страха.

97. Только здесь страдать — это страдать. Не в том смысле, что те, кто страдает здесь, где-то в другом месте из-за этого страдания будут воз-

вышены, а в том смысле, что то, что именуется в этом мире страданием, в другом мире не изменяется, а только освобождено от своей противоположности, блаженства.

98. Представление о бесконечной широте и полноте космоса есть результат доведенного до крайности смещения многотрудного созидания со свободным волеизъявлением.

99. Насколько тягостнее самой неумолимой убежденности в нашем теперешнем греховном состоянии даже самая слабая убежденность в будущем, вечном оправдании нашей брэнности. Только сила, с какой переносишь эту вторую убежденность, — а она в своей чистоте полностью охватывает первую — есть мера веры.

Иные полагают, что помимо большого изначального обмана устраивают еще в каждом случае, специально для них, маленький особый обман, что, стало быть, когда на сцене играется любовная пьеса, у актрисы, кроме лживой улыбки для своего возлюбленного, есть еще особенно коварная улыбка для вполне определенного зрителя на галерке. Это значит заходить слишком далеко.

100. Может быть знание о дьявольщине, но не может быть веры в нее, ибо больше дьявольщины, чем налицо, не бывает.

101. Грех всегда приходит открыто и ощущается сразу. Он уходит на своих корнях, и его не нужно вырывать.

102. Всеми страданиями вокруг нас должны страдать и мы. У всех у нас не одно тело, но одно развитие, а это проводит нас через все боли в той или иной форме. Как дитя проходит в своем развитии через все стадии жизни вплоть до старости и до смерти (и каждая стадия, в сущности, от страха или от желанья, кажется предыдущей недостижимой), точно так же и мы (связанные с человечеством не менее глубоко, чем с самими собою) проходим в своем развитии через все страдания этого мира. Справедливости при таком положении нет места, но нет места и страху перед страданием или возможности истолковать страдание как заслугу.

103. Ты можешь отстраняться от страданий мира, это тебе разрешается и соответствует твоей природе, но, быть может, как раз это отстранение и есть единственное страдание, которого ты мог бы избежать.

105. Средство, которым обольщает этот мир, и свидетельство того, что этот мир — лишь переход, суть одно и то же. И по праву, ибо только так может нас обольстить этот мир, и так оно в действительности и есть. Но беда в том, что после удавшегося обольщения мы забываем вышеупомянутое свидетельство, и так в сущности добро заманивает нас в зло, а взгляд женщины — в ее постель.

106. Смирение дает каждому, даже отчаявшемуся от одиночества, сильнейшую связь с ближним, причем немедленно, правда, только при полном и долгом смирении. Оно способно на это потому, что оно есть истинный язык молитвы, поклонение и теснейшая связь одновременно. Отношение к ближнему — это отношение молитвы, отношение к себе — это отношение стремления, из молитвы черпается сила для стремления.

Можешь ли ты знать что-либо иное, кроме обмана? Ведь стоит уничтожить обман, как тебе нельзя будет глядеть ни на что, а то превратишься в соляной столп.

107. Все очень ласковы с А. — подобно тому, например, как даже от хороших игроков оберегают превосходный бильярд, пока не явится великий игрок, который внимательно осмотрит доску, не потерпит никаких преждевременных изъянов, а затем, когда начнет играть сам, разъярится самым неистовым образом.

108. «А затем он вернулся к своей работе, как ни в чем не бывало». Это замечание знакомо нам по неясному множеству старинных повестей, хотя, может быть, не встречается ни в одной.

109. «Что нам не хватает веры, нельзя сказать. Сам факт нашей жизни имеет для веры неисчерпаемое значение». — «При чем тут вера? Ведь нельзя же не жить». — «Именно в этом «нельзя же» и заключена безумная сила веры; в этом отрицании она получает облик».

Тебе не надо выходить из дому. Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение, она не может иначе, она будет упоенно корчиться перед тобой.

ОН

Записи 1920 года

Ни для чего он не бывает достаточно подготовлен, но не может даже упрекать себя в этом, ибо где взять в этой жизни, так мучительно требующей каждую минуту готовности, время, чтоб подготовиться, и даже найдись время, можно ли подготовиться, прежде чем узнаешь задачу, то есть можно ли вообще выполнить естественную, а не лишь искусственно поставленную задачу. Потому-то он давно уже под колесами; странным, но и утешительным образом, к этому он был подготовлен меньше всего.

Все, что он делает, кажется ему, правда, необычайно новым, но и, соответственно этой немислимой новизне, чем-то необычайно дилетантским, едва даже выносимым, неспособным войти в историю, порвав цепь поколений, впервые оборвав напрочь ту музыку, о которой до сих пор можно было по крайней мере догадываться. Иногда он в своем высокомерии испытывает больше страха за мир, чем за себя.

Со своей тюрьмой он смирился. Кончить узником — это могло бы составить цель жизни. Но у клетки была решетка. Равнодушно, властно, как у себя дома, через решетку вливался и выливался шум мира, узник был, по сути, свободен, он мог во всем принимать участие, снаружи ничего не ускользало от него, он мог бы даже покинуть клетку, ведь прутья решетки отстояли друг от друга на метр, он даже узником не был.

У него такое чувство, что он заграждает себе путь тем, что он жив, а это препятствие служит ему опять-таки доказательством, что он жив.

Его собственная лобная кость преграждает ему путь, он в кровь расшибает себе лоб о собственный лоб.

Он чувствует себя на этой земле узником, ему тесно, у него появляются печаль, слабость, болезни, бредовые мысли узников, никакое утешение не может утешить его, потому что это именно лишь утешение, хрупкое, вызывающее головную боль утешение пред лицом грубого факта пребывания в узилище. Но если спросить его, чего он, собственно, хочет, он не сможет ответить, ибо у него — это одно из его сильнейших доказательств — нет представления о свободе.

Иные опровергают беду ссылкой на солнце, он опровергает солнце ссылкой на беду.

Самобичующее, тяжеловесное, часто надолго прерывающееся, но, по сути, непрестанное волновое движение всякой жизни, чужой и собственной, мучит его, потому что приносит с собой непрестанную необходимость мышления. Услыхав, что у его друга должен родиться ребенок, он сознает, что он уже пострадал за это, обо всем подумав заранее.

Он видит двойку. Первое — это спокойное, наполненное жизнью, невозможное без известного удовольствия созерцание, рассуждение, исследование, изливание. Численность и возможность всего этого бесконечна, даже мокрице нужна относительно большая трещина. чтобы укрыться, а для этих работ вообще не остается места; даже там, где нет ни трещинки, они могут жить тысячами и тысячами, проникая друг в друга. Это — первое. А второе — это момент, когда ты, вызванный, чтобы дать отчет, не выдавливаешь из себя ни звука, бросаешься назад в рассуждения и т. д., но теперь, видя полную безнадежность, уже никак не можешь купаться во всем этом, тяжелеешь и с проклятьем тонешь.

Речь идет вот о чем. Однажды, много лет назад, я сидел, конечно довольно грустный, на скате Лаврентьевой горы. Я проверял, чего желаю от в. «Знамя» № 6.

жизни. Самым важным или самым привлекательным оказалось желание найти такой взгляд на жизнь (и — это, разумеется, было неразрывно связано — письменно убедить в нем других), при котором жизнь хоть и сохраняет свои естественные тяжелые падения и подъемы, но в то же время, с наименьшей ясностью, предстает пустотой, сном, неопределенностью. Желание, может быть, и прекрасное, если бы пожелал я по-настоящему. Примерно как пожелал бы сработать стол по всем правилам ремесла и в то же время ничего не делать, причем не так, чтобы можно было сказать: «Для него сработать стол — пустяк», а так, чтобы сказали: «Для него сработать стол — настоящая работа и в то же время пустяк», отчего работа стала бы еще смелее, еще решительнее, еще подлиннее и, если хочешь, еще безумнее.

Но он совершенно не мог так пожелать, ибо его желание не было желанием, оно было лишь оправданием, узакониванием пустоты, оттенком веселости, который он хотел придать пустоте, куда он, правда, сделал тогда лишь несколько первых шагов, но уже чувствовал, что это — его стихия. Это было тогда своего рода прощание с видениями молодости, которая, впрочем, никогда не обманывала его непосредственно, а только через речи всяких авторитетов вокруг. Так возникла необходимость «желания».

Он доказывает только себя самого, его единственное доказательство — он сам, все противники побеждают его сразу же, но не тем, что опровергают его (он неопровержим), а тем, что доказывают себя.

Человеческие союзы основаны на том, что кто-то своим сильным бытием как бы опроверг отдельные другие, сами по себе неопровержимые жизни. Им-то это приятно и утешительно, но это лишено правды, а потому всегда недолговечно.

Это была прежде часть монументальной группы. Вокруг какого-то возвышения посредине стояли в продуманном порядке символы солдатского сословия, искусств, наук, ремесел. Одним из этих многих был он. Сейчас эта группа давно распалась, или по крайней мере он покинул ее и влачит свое существование один. Даже прежней профессии у него больше нет, он и забыл даже, что изображал тогда. Наверно, именно из-за этого забвенья возникает какая-то печаль, неуверенность, беспокойность, какая-то омрачающая настоящее тоска по прошлому. И все же эта тоска есть важный элемент жизненной силы, а может быть, и она сама.

Он живет не ради своей личной жизни, он мыслит не ради своего личного мышления. У него такое чувство, что он живет и мыслит по принуждению некоей семьи, для которой, хоть она и сама куда как богата силой жизни и мысли, он по какому-то неведомому ему закону представляет собой некую формальную необходимость. Из-за этой неведомой семьи и из-за этого неведомого закона его нельзя отпустить.

Первородный грех, древняя несправедливость, совершенная человеком, состоит в упреке, который делает и от которого не отступает человек, в упреке, что с ним поступили несправедливо, что по отношению к нему был совершен первородный грех.

Перед витриной Казинелли вертелись двое детей, мальчик лет шести и семилетняя девочка, богато одетые, говорили о Боге и о грехах. Я остановился позади них. Девочка, вероятно, католичка, считала только обман Бога настоящим грехом. Мальчик, вероятно, протестант, с детским упорством спрашивал, а что же такое обман человека или кража. «Тоже очень большой грех, — сказала девочка, — но не самый большой, только грехи перед Богом самые большие, для грехов перед людьми у нас есть исповедь. Когда я исповедуюсь, за мной опять стоит ангел, а когда совершаю грех, за моей спиной появляется черт, только его не видно». И устав от полусерьезности, она для забавы повернулась на каблуках и сказала: «Видишь, никого за мной нет». Мальчик повернулся таким же образом и увидел меня. «Видишь, — сказал он, не считаясь с тем, что я услышу его, или вовсе не думая об этом, — за мной стоит черт». — «Этого я тоже вижу, — сказала девочка, — но я его не имею в виду».

Он не хочет утешения, но не потому, что не хочет его, — кто его не хочет? — а потому, что искать утешения значит: посвятить этой задаче свою жизнь, жить всегда на периферии собственной личности; чуть ли не вне ее, едва ли уже зная, для кого ищешь утешения, и поэтому не быть даже в состоянии найти действенное утешение, действенное, не истинное, ибо такового не существует.

Он сопротивляется пристальному взгляду ближнего. Человек, даже будь он непогрешим, видит в другом только ту часть, на которую хватает его силы зрения и способа смотреть. Как всякий, но крайне преувеличенно, он норовит ограничить себя так, как в силах увидеть его взгляд ближнего. Если бы Робинзон, для утешения ли, от покорности ли, от страха, незнания или тоски, так и не покидал самой высокой или, вернее, самой зримой точки острова, он бы вскоре погиб; но поскольку он, не рассчитывая на корабли и на их слабые подзорные трубы, начал исследовать весь свой остров и находить в нем радость, он сохранил жизнь и был, хоть и в необходимой для разума последовательности, но все-таки в конце концов найден.

— Ты делаешь из своей нужды добродетель.

— Во-первых, это делает всякий, а во-вторых, именно я этого не делаю. Я оставляю свою нужду нуждой, я не осушаю болот, а живу в их миазмах.

— Из этого ты и делаешь добродетель.

— Как всякий, я же сказал. Кстати, я делаю это только ради тебя. Чтобы ты оставался расположен ко мне, я терплю ущерб, наносимый моей душе.

Все ему позволено, только не терять самообладание, отчего опять-таки запрещено все, кроме одного, необходимого для всей совокупности сию минуту.

Узость сознания есть социальное требование.

Все добродетели индивидуальны, все пороки социальны. То, что считается социальной добродетелью, например, любовь, бескорыстие, справедливость, самоотверженность, — это все лишь «поразительно» ослабленные социальные пороки.

Разница между теми «да» и «нет», которые он говорит своим современникам, и теми, которые, собственно, следовало бы сказать, соответствует, наверно, разнице между жизнью и смертью, да и постижима ведь только так же — догадкой.

Причина того, что мнение потомков о ком-то вернее, чем мнение современников, заключена в умершем. Раскрываешься во всем своем своеобразии лишь после смерти, лишь когда ты в одиночестве. Смерть для каждого — как субботний вечер для трубочиста, они смывают с тела копоть. Становится видно, кто кому повредил больше — современники ему или он современникам, в последнем случае он был великим человеком.

Сила для отрицания, для этого естественнейшего проявления непрестанно меняющегося, обновляющегося, отмирающего, оживающего в борьбе человеческого организма, есть у нас всегда, но нет мужества, а ведь жить — это отрицать, и значит, отрицание — это утверждение.

Со своими отмирающими мыслями он не умирает. Отмирание есть лишь явление внутри внутреннего мира (который сохраняется, даже составляя только одну мысль), такое же явление природы, как любое другое, ни веселое, ни печальное.

Течение, против которого он плывет, такое стремительное, что в какой-то рассеянности иногда приходишь в отчаяние от однообразного спокойствия, среди которого плещешься, так бесконечно далеко отнесло тебя назад в мгновение, когда ты сплывал.

Он хочет пить и отделен от источника только кустами. Но он разделен надвое, одна часть охватывает взглядом все, видит, что он стоит здесь и что источник рядом, а вторая часть ничего не замечает, разве лишь догадывается, что первая все видит. Но поскольку он ничего не замечает, пить он не может.

Он не смел и не легкомыслен. Но и не боязлив. Свободная жизнь не испугала бы его. Такая жизнь у него не сложилась, но и это не заботит его, как вообще не заботит его он сам. Но есть кто-то совершенно ему неизвестный, кого он — только он — непрерывно заботит. Эти заботы неизвестного существа о нем, особенно непрерывность этих забот, вызывают у него порой в тихие часы мучительную головную боль.

Подняться мешает ему какая-то тяжесть, чувство застрахованности на всякий случай, ощущение ложа, которое ему приготовлено и принадлежит только ему; а лежать неподвижно мешает ему беспокойство, которое гонит его с ложа, мешает совесть, бесконечно стучащее сердце, страх перед смертью и желание опровергнуть ее, все это не дает ему лежать, и он поднимается снова. Эти подъемы и опускания и некоторые случайные, несущественные наблюдения, сделанные на этих путях, суть его жизнь.

У него два противника. Первый теснит его сзади, изначально. Второй преграждает ему путь вперед. Он борется с обоими. Первый, собственно, поддерживает его в борьбе со вторым, ибо хочет протолкнуть его вперед, и так же поддерживает его второй в борьбе с первым; ибо отталкивает его назад. Но это только в теории. Ведь есть не только эти два противника, но есть еще и он сам, а кто, собственно, знает его намерения? Во всяком случае, он мечтает о том, что когда-нибудь, украдкой — для этого, конечно, нужна такая темная ночь, какой еще не было — он сойдет с линии боя и благодаря своему боевому опыту будет поставлен судьей над своими боющимися друг с другом противниками.

К серии «Он»

Он нашел архимедовскую точку опоры, но использовал ее против себя, лишь с этим условием, видимо, ему и было дано найти ее.

14 января 1920. Себя он знает, другим он верит, это противоречие распиливает для него все.

Он живет в рассеянии. Его элементы скитаются по миру вольной ордой, и только потому, что его комната тоже принадлежит к миру, он иногда видит его вдали. Как он может нести ответственность за него? Разве это можно назвать ответственностью?

У него своеобразная входная дверь: когда она захлопывается, ее уже нельзя открыть, надо выламывать замок. Поэтому он никогда не запирает ее, а оставляет полуоткрытой и закладывает деревяшкой, чтобы дверь не захлопнулась. Это, конечно, лишает его всякого домашнего уюта. Его соседи, правда, заслуживают доверия, тем не менее ценные вещи он должен весь день носить с собой в сумке, а когда он лежит на диване у себя в комнате, кажется, будто он лежит в коридоре, летом оттуда тянет душным воздухом, зимой — ледяным.

Всего, даже самого обычного, например, обслуживания в ресторане, он должен добиваться лишь с помощью полиции. Это лишает жизнь всякой уютиности.

У него множество судей, они как полчище птиц в ветках дерева. Их голоса перемешиваются, в вопросах ранга и компетенции разобраться нельзя, к тому же их места то и дело меняются. Кое-кого, однако, можно раз-

личить, например, того, кто держится мнения, что надо только однажды перейти на сторону добра и ты уже спасен независимо от прошлого и даже независимо от будущего. Такое мнение не может, конечно, не совра- тить на сторону зла, если толкование этого перехода на сторону добра не очень строго. А оно очень строго, этот судья не признавал еще ни одного дела подсудным себе. Но вокруг него масса кандидатов, вечно тараторя- щий народ, который ему подражает. Они всегда слышат его...

2 февраля 1920. Он вспоминает одну картину, изображавшую летний день на Темзе. Река была во всю свою ширину заполнена лодками, кото- рые ждали, чтобы открылся шлюз. Во всех лодках были веселые молодые люди в легкой светлой одежде, они почти лежали, отдаваясь теплomu воз- духу и речной прохладе. Благодаря этой общности их веселье не ограни- чивалось пределами отдельной лодки, от лодки к лодке перелетали шутки и смех.

Он представил себе, что где-то на лужайке, на берегу — берега были на картине едва намечены, надо всем царило скопление лодок — стоял он сам. Он глядел на этот праздник, который вообще-то не был праздником, но мог быть так назван. Ему, конечно, страшно хотелось участвовать в нем, он прямо-таки тосковал, но он должен был признаться себе, что он отстра- нен, ему нельзя было влиться туда, для этого потребовалась бы такая боль- шая подготовка, что за ней ушли бы в прошлое не только это воскресенье, не только множество лет, но и он сам, и даже если бы время пожелало остановиться здесь, все равно другого результата не получилось бы, все его происхождение, воспитание, физическое развитие должны были идти другим путем.

Так далек был он, значит, от этих спортсменов, но вместе с тем он был ведь и очень близок к ним, и это было труднее понять. Ведь они тоже были людьми, как он, ничто человеческое не могло быть им совершенно чуждо, если бы, стало быть, их исследовали, то непременно нашли бы, что чувство, которое им владело и отстранило его от этого лодочного похода, жило и в них, только оно отнюдь не владело ими, а лишь мелькало в ка- ких-то темных углах.

Моя тюремная камера — моя крепость.

Твоя картина убийственна, но лишь для анализа, главную ошибку ко- торого она показывает. Верно, человек поднимается, падает назад, снова поднимается и так далее, но в то же время и с еще большей верностью это вовсе не так, он ведь един, в полете, стало быть, есть и покой, а в по- кое полет, и то и другое соединено в каждом, и в каждом — соединен- ность, и в каждом соединенность соединенности и так далее вплоть до, ну, вплоть до действительной жизни, причем и эта картина столь же неверна и, может быть, даже еще обманчивее, чем твоя. Из этой местности нет пу- ти к жизни, хотя от жизни сюда должен бы быть путь. Вот как мы за- блудились.

Перевод с немецкого С. А п т а

* * *

Вот пух: он так же сам собой
заносится в тетрадь,
июньский, серо-голубой.
Пора его убрать.

И тополя, к спине спина
(от них тебе поклон).
Сквозная даль застеклена
бутылочным стеклом.

Неразличимый, темный блеск, —
не угадать никак,
на чем застал меня отъезд
на кладбище бумаг.

Там все, что я перехотел,
нагнать меня спешит.
Мне не туда, я не за тем
в такой мешок зашит.

Не этим тайный бьется ритм,
идет его волна,
и мысль бесслезная горит,
по-щучьему вольна.

Как будто борется во мне
за свой последний вздох
трава, живущая на дне,
глубоководный мох.

Как будто небо сходит вниз
к мучителям своим,
и воздух сам иссиня-мглист,
с начесом пуховым.

На улицу! В давящий пресс!
Под веселящий газ!
И настигающий отъезд
авось минует нас.

1992

* * *

Д. Н.

Это была, чтоб ты знал, политика:
взять за правило жить нигде.
Мы были письмами на воде.
И вода эта вытекла.

Вытекла, почвы не пропитав.

Это такой, чтоб ты знал, устав:
всякую речь начинать за здравие,
все оставлять на своих местах.

Что там за дверью? Никак Австралия?

1991

* * *

А может, ты пошел назад,
как заворачивает ветер,
перебежал висячий сад,
который снизу не заметен.

В своем пространстве без углов,
растянутом прозрачной сеткой,
ты — неумный птицелов,
ты тень, махнувшая рампеткой.

Гуляй по миру сквозняком
как посторонний и прохожий,

пока спасительный укол
рассасывается под кожей.

А что ни строчки за сто лет,
так заблудился письмоносец.
Сменить просроченный билет
готов колониальный офис.

Ложится скатертью туман.
Не охраняется граница.
Я верю: вспомнит, возвратится
любимый сын из дальних стран.

1991

* * *

Только если слезами полито,
не смывается. Так-то, брат.
Да кому это я? Кто это
съеден поедом так, что и сам
не рад?

Если где дыра, закричит в дыру.
Он мышинные закликает норы.
Дай-ка я, смотри, рукавом сотру
уговор недобрый и опыт скорый.
Затяну и сам заколдуу круг.

День потерян, и сон придушен.
Дай мне право из первых рук
Не возьмем ничего, не отпустим
и не нарушим

Так я тих, но и так я тих
Не повернусь ни силой
и ни полсилой
Спаси и помилуй братцев моих
И меня и моих
спаси и помилуй

1983

* * *

Как ни садись, скучно сидеть до вечера.
Что-то в Москве солнышко онемечено.
Дождь из угла косится, и делать нечего.

Только внутри сердце гуляет бешено.
А в облаках столько земли намешано,—
ветер подует, тебя и накроет, пешего.

Словно попал в облако большей плотности:
все замутилось, света темны наклонности.
Так и не ясно: сам-то какой народности?

1990

* * *

Теплый свитер, довольно еще приличный.
Туфли, оставленные в наследство. Меч в голове.

Меч в голове, ноль-ноль времени.
Смена, пришла моя смена.
Вместо отца стою у черного люка.

1991

* * *

На одно окаянное домино,
где зевок проходит как самострел,
на еще не опознанное пятно
я смотрел. И, кажется, просмотрел.

Загляденье. Сияние медных блях.
Черт-те что, бормотание при луне.
Как обидно: ни при каких нулях
мы не будем грамотными вполне.

Неживое точит меня и ест,
а живое просит: не истязай!
Скоро, скоро ведущему надоест.
Командир опомнится — «вылезай».

Кто же против? Положим,
не повезло.
Скажем, было, но не по моей вине.
Затаился, как будто себе назло,
загляделся. И что тебе в том пятне?

1990

* * *

А что действительность? Какой-то поединок?
В туманное пятно сходящий ряд картинок?
Там что-то движется (детали неясны),
как по катку скользящие фигурки.
В прожекторах зенитной белизны
зеленым вспыхивают куртки.

Или еще: хмельная пелена
и вечер, до утра катящийся мгновенно.
В холодной комнате гудящая струна,
и в легкой кофточке сирена.

1991

* * *

«А ведь когда-то...» Это дурное «а ведь»
только затянешь, сразу зачин паскудный
станет петлять или хитрить, лукавить.
Музыка стала народной и беспробудной.

* * *

Разлинован на грядки
подмосковный лубок:
заводские початки
и фанерный грибок
у спортивной площадки,
и большой коробок
придорожной столовой —
все для ровного счета,
для печати лиловой
на книге учета

И такой же страницей
развернулась земля,
а по ней вереницей
штемпеля, штемпеля

Но темно и неясно
как в хвойных лесах,
где до вечера, засветло
тьнь стоит на часах

Где заметное черное?
Или белое где?
Их последние зерна
развели на воде

Все лежит по карьерам,
по разбитым корытам
безнадёжно размытым,
недостираемым, серым.

1980

* * *

Летний закат. Золотое его тиснение
перекрывает зелень и проявляет чернь.
Все-таки многое требует объяснения.
Вот курить через силу, спрашивается, зачем?
После прогулки к озеру сердце зачем печалится?
Многое тонко спрашивается. Толком не отвечается.
Но прислонись к березе.
Но обними сосну.
Роза еще как роза. Облако тонет в озере.
По сосне
по березе ли
ножичком полосну

1990

* * *

В этом лесу проходит граница пыли
и разложения, заметного на границах.
Здесь собираем ягоды ли, грибы ли

Розовый свет, единый на многих лицах.
Эта земля, свернувшаяся в калачик,
как травяной, невидимый глазу улей

Всем голосам, всем комарам — удачи!
Сколько тоски в их ненасытном гуле

Зелень бессмертна, и существа несметны.
Тучи поющих на тысячи безголовых.
— Не унывай, — воздух стрекочет светлый —
— Я под конец объясню тебе легкий способ.

1991

Л. Лазарев

ШЕСТОЙ ЭТАЖ

В предисловии к четвертой части «Былого и дум», опубликованной в «Полярной звезде», Герцен писал:

«— Кто имеет право писать свои воспоминания?

— Всякий.

Потому, что никто их не обязан читать.

Для того, чтобы писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком,— для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать.

Всякая жизнь интересна...»

Не думаю, что это верно, что интересна всякая жизнь, запечатленная в воспоминаниях. Я, во всяком случае, не настолько самонадеян, чтобы претендовать на это, на интерес к своей особе. Но так уж случилось, что мне довелось видеть события примечательные, главным образом в мире литературы, и встречаться с незаурядными людьми, больше всего с писателями,— и с известными, занимавшими уже тогда на нашем литературном Олимпе заметное место, и с теми, кого известность, признание читателей ожидали в недалеком будущем. Пишу я не столько о себе, а главным образом о том, чему был свидетелем, о том, что происходило в «Литературной газете», в которой я работал с 1955 по 1961 год, как выглядела тогда литературная жизнь. Стараюсь следовать принципу, сформулированному в одном стихотворении Вяземского: «Я просто «Записная книжка», где жизнь играет роль писца».

Мемуаристы склонны героизировать и себя и свое время. Постараюсь не впасть в этот грех. Хочу сразу же предупредить, что во времена, которым посвящен мой рассказ, не так уж многого, по нынешним меркам, мы хотели, не коренного, революционного переустройства жизни и литературных дел добивались.

Кардинальные перемены казались делом далекого будущего. Такого далекого, что вряд ли нам суждено до них дожить. Задачи наши в литературе, которой мы посвятили себя, были вполне умеренными. Некоторым молодым людям они нынче вообще могут показаться пустяковыми, суетой сует. Как заметил, правда, по другому поводу Борис Слуцкий: «Теперь все это странно, звучит все это глупо...» В сущности, мы добивались здравого смысла, возможности говорить правду об очевидном, о том, что числящаяся в замарашках, всячески унижаемая Золушка прекрасна, а король, костюм которого превозносится до небес, голый. Во времена, когда был попран здравый смысл, мы жаждали гамбургского счета.

О том, что в ту пору считалось крамолой, за что власти карали, люди, не дышавшие тем воздухом, нередко говорят с презрительным высокомерием, с легко давшимся, ничем не оплаченным пресвосходством. И зря...

Каждая пядь отвоеванных тогда здравого смысла и свободы давалась очень нелегко и непросто, а главное, была духовным плацдармом для грядущего широ-

кого наступления на тоталитаризм, командно-административную систему. И если от этого просто отмахиваться: стоит ли разбираться в несуразностях свихнувшегося времени, в том, кто и как им сопротивлялся (чему сейчас есть немало охотников), — может случиться, что не удастся до конца выкорчевать корни былого и они дадут новые зловредные ростки...

Новый главный редактор, новая редколлегия

Кочетова сняли так же неожиданно для нас, как и назначили. Правда, появление его в начале ноября 1955 года в «Литературке» сопровождалось большой помпой. Представлявшие Кочетова руководители Союза писателей рассыпались в комплиментах ему, пели соловьями. Сам Кочетов слушал все это с мрачным видом и сказал всего несколько фраз. Запомнилась последняя: «Пока можете все оставаться на своих местах». Покинул же он «Литературку» по-английски, даже не попрощавшись с коллективом. Газету Кочетов развалил. Резко упало количество подписчиков, читательская почта таяла день ото дня. Кочетов восстановил против «Литературки» большинство писателей — негодовали даже вполне благонамеренные, многие демонстративно бойкотировали газету. «Литературку» долбили уже все кому не лень — на каждом писательском собрании, даже в газетах и журналах, весьма умеренных по позиции. И на Старой площади, видимо, опасаясь большого скандала на приближающемся III съезде писателей, решили сбросить боярина с крыльца. Кочетова снимали не потому, что он не справился с порученным ему делом, — справился да еще как, сделал все, что от него требовалось, да еще намного перевыполнил план. Однако в этот момент он был уже не по погоде, его приходилось выводить в резерв до новых «заморозков». Конечно, эта операция была проделана самым деликатным образом, перстами легкими как сон. Сообщение, которое напечатала 12 марта 1959 года «Литературная газета», составлено так, чтобы ни в коем случае не задеть Кочетова, не бросить на него тень (разумеется, освобожден по «настоятельной рекомендации врачей о необходимости длительного лечения»), чтобы не дай бог не подумали, что проводил пагубную литературную политику, наломал дров, разве что не выразили благодарность за проделанную большую и плодотворную работу...

Не знаю, были ли на место Кочетова какие-то другие, кроме Сергея Сергеевича Смирнова, кандидатуры. Но нетрудно догадаться, почему суловско-поликарповское ведомство остановилось именно на нем. Надо было утихомирить, задобрить прежде всего московскую и ленинградскую писательские организации, которым кочетовская «Литературка» насолила больше всего, снять перед съездом возникшее там опасное напряжение (в дальнейшем же, если я правильно реконструирую стратегический план тогдашнего заведующего отделом культуры ЦК Поликарпова, предполагалось прикончить эти зараженные «ревизионизмом» организации обходным маневром — при помощи недавно созданного и быстро расширяющегося за счет массового приема верных людей Союза писателей РСФСР и его газеты «Литература и жизнь»). Смирнов возглавлял тогда московскую писательскую организацию, большинство писателей к нему хорошо относились — он был человеком отзывчивым, демократичным, старался по возможности помогать «рядовым» писателям, условия существования которых оставляли желать лучшего. Сам он занимался благородным делом — замалчивавшейся обороной Бреста и много сделал для того, чтобы вернуть честь пострадавшим у немцев в плену и у нас в лагерях защитникам Бреста. Наконец, он был человеком со вкусом, отдававшим себе отчет в подлинной — по таланту, а не официальной иерархии писателей. Поликарпов учитывал репутацию Смирнова. Но для него было еще очень важно, что серьезных идеологических грехов за Смирновым не числилось, разве что был заместителем Твардовского в разогнанном в 1954 году «Новом мире», Впрочем, официальную критику принял, не упорствовал. Пришлось Смирнову как главе московской писательской организации проводить постыдное собрание, на котором клеймили Пастернака, и власти могли убедиться, что чело-

век он дисциплинированный, «управляемый», что им можно «руководить» и он будет прислушиваться к тому, что ему «подсказывают», — это для дяди Митяя (так называли Поликарпова в литературных кругах) было, наверное, важнее всего. Был к тому же Сергей Сергеевич хорош собой, обаятелен, располагал к себе — высокий, статный, с волевым плакатным лицом, говорил громко и уверенно, смеялся громко, от всей души, оказывался всегда в центре любой группы людей, не просто компании, а именно группы.

Но это я сейчас размышляю над тем, как да почему Смирнова поставили во главе пришедшей в полный упадок «Литературной газеты», а тогда мы, последние могикане былой докочетовской «Литературки», были просто очень рады, что получили такого редактора, воспряли духом. Газету надо было возрождать, практически создавать заново — это касалось целиком шестого, «литературного» этажа и во многом раздела внутренней жизни. Этим и занялся очень энергично Смирнов...

Первым из новой редколлегии появился в газете Юрий Бондарев, ходивший тогда еще в молодых писателях, он должен был возглавить наш раздел русской литературы. Я не был с ним до этого знаком, но читал недавно напечатанные в журнале «Молодая гвардия» две его повести — «Батальоны просят огня» и «Последние залпы». Повести мне понравились — в них война предстала такой, какой она была для солдат и офицеров переднего края. Правда, повести были несколько подпорчены излишней беллетризацией, тогда, однако, казалось, что накапливающийся опыт поможет автору избавиться от этой слабости. Кроме того, в «Батальонах...» финал был каким-то туманно двусмысленным, впрочем, говорили, что тут вины автора нет, ему пришлось пойти на уступки то ли цензуре, то ли перестраховывавшейся редакции. Несмотря на эти недостатки, повести меня по-настоящему взволновали, наверное, потому, что в них отразилось то, что было общим во фронтовой судьбе моего поколения — мальчишек, со школьной скамьи попавших в окопы.

При первом же знакомстве выяснилось, что мы с Бондаревым одногодки, он всего на несколько месяцев моложе, один кусок войны мы воевали рядом — на Сталинградском фронте. Нам не понадобилось времени для знакомства, взаимного узнавания, мы сразу же понимали друг друга с полуслова. Вскоре я был назначен его заместителем. Быстро стали друзьями, у нас почти не возникало разногласий по редакционным делам, хотя служба в газете — никакого опыта редакционной работы у Бондарева не было — давалась ему непросто, многое ему было непонятно, не во все он мог вникнуть. Ни на минуту не прекращавшаяся газетная круговерть, калейдоскоп сменяющихся заданий, большая часть которых срочные, бесконечная череда авторов, случайных посетителей — со всем этим он справлялся с трудом. Через несколько часов пребывания в газете взгляд его становился отсутствующим, он растерянно тер нос кулаком. Все мы, как могли, старались облегчить ему жизнь в редакции, дать возможность писать роман «Тишина». Он же полностью доверял нам, защищал нас от постоянных нападков извне и внутри газеты.

Его, как и меня, больше всего тогда интересовала литература о войне. Вскоре после появления в газете он как-то спросил меня, прочитал ли я только что напечатанную в «Знамени» повесть Григория Бакланова «Пядь земли», понравилась ли она мне и, если понравилась, не напишу ли я о ней. Повесть я уже прочитал, она показалась мне событием в нашей литературе о войне, и я был рад написать о ней. Статьей Бондарев остался доволен, чего нельзя сказать о некоторых других членах редколлегии, встретивших ее кто с опаской, а кто и в штыки — начался торг, называемый редактированием, — в результате что-то мне пришлось из нее убрать, что-то сгладить. Бондарев от статьи не отступился, упорно ее пробивал. Выяснилось, что с автором «Пяди земли» они с литинститутских времен были самыми близкими друзьями, как говорится, не разлей вода. Понимая гораздо лучше Бондарева, что статья — она была не только о повести Бакланова, но и о некрасовском направлении в литературе о войне — вряд ли вызовет аплодисменты блюстителей литературного порядка и достанется не только мне, но прежде всего автору повести, я сказал, чтобы он показал ее Бак-

ланову: готов ли тот к такому весьма вероятному развитию событий. Бакланова, с которым мы тогда познакомились и вскоре стали друзьями, это обстоятельство не смутило. Потом все произошло, как я предугадал, — набросились на повесть, на статью. В хронике литературной жизни тех лет говорится, что этой статьей началась дискуссия об «окопной правде»: продолжалась дискуссия, то обостряясь, то утихая, четверть века, если не больше. В ту пору Бондарев был безоговорочно на моей стороне, позднее его имя и книги нередко служили тому, чтобы сживать со свету эту «окопную правду»...

Совместная работа и наши дружеские отношения с Бондаревым не были тогда ничем омрачены. Я не стану здесь писать о том, как они складывались потом, как и почему прервались. — мы перестали не только встречаться, но даже здороваться. Но если бы в то время мне кто-то сказал, что Юра Бондарев через четверть века превратится в потерявшего голову в погоне за властью литературного вельможу, в одну из самых мрачных фигур нашего идеологического Олимпа, организатора всех темных сил писательского департамента, я в ответ, наверное, просто бы рассмеялся: «Так бывает только в плохих романах»...

Вскоре после Бондарева нам представили нового заместителя главного редактора, которому в газете отдавались литература и искусство, — Михаила Матвеевича Кузнецова (и в газете и не в газете его звали Михмат). С ним я был знаком, хотя и не очень близко, но много о нем слышал — главным образом потому, что на филологическом факультете университета он по совместительству читал курс советской литературы. Пригласив Кузнецова, заведующий кафедрой советской литературы Метченко дал промах. Анкета и послужной список были у Кузнецова идеальные: сын генерала, изрядный стаж работы в «Правде». Метченко, видимо, и представить себе не мог, что позиция у Кузнецова не та, на какую он рассчитывал, — либеральная, близкая к «Новому миру», не зря Кузнецов дружил с Александром Григорьевичем Дементьевым, правой рукой Твардовского, работал с ним, когда Дементьев создал «Вопросы литературы».

Что-то было в его облике цыганское, в повадках и манере — южное: размашистая жестикуляция, мгновенная бурная реакция, любовь к острому и дерзкому слову. Михмат был родом из Одессы, не знаю, долго ли он там жил, но солнце юга, соль моря и какая-то одесская бесшабашность были у него в крови. Был он человеком горячим, импульсивным, часто вспыхивающим, как порох, — в такие минуты не задумывался над последствиями, терял контроль над тем, что и как говорил.

Такая приключилась с ним однажды история. Пригласили его — кажется, по линии партпросвета — прочитать в КГБ лекцию о современной литературе. «Когда начал говорить о лагерной литературе, — делился он потом со мной, — чувствую угрюмую враждебность зала. Ну я и завелся, говорю им: «Приятно вам или неприятно, но придется все это выслушать». Наверное, в запале сказал и лишнее. Назавтра — вот молодцы, мгновенно донесли — вызывает дядя Митяй. Ну, думаю, даст прикурить. Но знаешь, особенно не ругался. Сказал только: «Что, разве не знал, к кому идешь? Если не можешь язык попридержать, почему не отказался? Силком тебя, что ли, туда тянули?» И он прав, — самокритично закончил Михмат.

Газета, журналистика были истинным призванием Михмата. То, что он после «Литературки» оказался в далеком от мирской суеты Институте мировой литературы, было для него драмой, там он увядал. А вот из «Правды» Кузнецов ушел по собственному почину — осточертела эта главная кухня пропагандистской лжи. Недавно Владимир Фролов, работавший с ним вместе в «Правде», рассказал мне: «Шли мы с Михматом по улице «Правды». Было это после венгерских событий. И он вдруг выпалил: «Володя, отсюда надо рвать когти. А то нас вешать будут на этих деревьях. И справедливо. Заврались».

Когда в «Литературке» нам приходилось по команде поликарповского ведомства что-то делать, от чего тошнило, и мы насыпались на Михмата с попреками, хотя он мало что мог в таких случаях изменить, просто мы отводили душу, он закипал: «Щенки! Чистоплюи!» И начинал рассказывать о том, что происходило в «Правде», как по указанию Сталина проводились экзекуции в лите-

ратуре и искусстве. «Заикнуться никто не мог. Посмотреть не в ту сторону. А вы: правильно, неправильно. Щенки!» И чем бредовее и реакционнее были «замечания» и «советы» со Старой площади, чем неотразимее были наши удары по ним, тем больше выходил из себя Михмат. В глубине души он почти всегда был согласен с нами и взрывался оттого, что ничего не мог сделать, от бессилия: «Нечего из себя строить целок! Не хотите подчиняться Поликарпову? Ну что ж, давайте все уйдем. Пусть вернется Кочетов».

Однако в какие-то догмы Михмат продолжал верить, во всяком случае, освобождался от их власти с трудом. Одно время носился с мыслью написать статью «Куда уходит Воропаев?», считая актуальной и очень важной постановку вопроса о положительном герое, которым «оттепельная» литература перестала заниматься. Молодым людям, которые наверняка понятия не имеют о том, кто такой Воропаев, слыхом не слыхивали, придется, пожалуй, объяснить: речь идет о герое написанного в 1947 году романа Петра Павленко «Счастье». В иерархии тогдашних официальных литературных ценностей он занимал довольно высокое место. В академической «Истории русской советской литературы» этот роман оценивался как «книга больших мыслей, больших страстей», сила которой «шла от удачи главного героя», очерченного «глубоко и всесторонне», принадлежащего к «людям, организующим и ведущим массы». В действительности же этот искусственно сконструированный персонаж вырос из общей лакировочной атмосферы павленковского романа. Михматовский замысел статьи «Куда уходит Воропаев?», которым он неосторожно с нами поделился, стал объектом подтрунивания и шуток — иногда беззлобных, иногда больно задевавших его. Он обижался, доказывал свою правоту, лез в бутылку, но вскоре начинал и сам смеяться. Статьи он, разумеется, так и не написал, но не только из-за наших насмешек, преградой стал его собственный вкус, не мог он свои и без того довольно таки призрачные литературные мечтания строить на столь недоброкачественном литературном материале, как павленковское «Счастье».

В Михмате не было не только профессорской солидности, но и вообще никакой начальственности, умения держать подчиненных на определенной дистанции. Он был, как говорится, свой парень, даже панибратство его не коробило. Характерная деталь: если Смирнова частенько называли Эсэс, то все же за глаза, а к Кузнецову так и обращались — Михмат. И он считал это в порядке вещей.

Однако именно из-за этого он нажил в газете не только друзей, но и недругов. Михмат, объясняясь с сотрудниками, слов не выбирал, хотя при этом никогда не нарушал презумпции равенства, без всяких обид готов был выслушать ответную отповедь в тех же и даже более крепких выражениях, что на практике было неоднократно проверено и лично мною. Когда, допустим, он кому-нибудь в сердцах говорил: «Дурак!», то считал совершенно естественным, если в ответ ему бросят классическое: «От дурака слышу!» Но в газете были люди, у которых многолетняя служба воспитала стойкое, почти рефлекторное чувство субординации, они не могли превозмочь себя и ответить заместителю главного редактора в свойственной ему, скажем так, непринужденной манере. Словесные эскапады Михмата унижали и оскорбляли их, вернее, они чувствовали себя оскорбленными и униженными. На этой почве произошло несколько неприятных историй.

Неприятнь к Кузнецову гнездилась главным образом в разделах международной и внутренней жизни, там знали и понимали его хуже, чем мы на шестом этаже. Мы же относились к нему не как к начальнику, а скорее как к товарищу, коллеге. Нам работать с ним было легко и просто, а порой и весело. С ним можно было спорить без дипломатии, называя многое своими именами, его можно было переубеждать и переубедить.

Я вовсе не хочу этим сказать, что во всех случаях правы были мы — нет, иногда зарывались мы, хотели невозможного, иногда чересчур осторожничал он. Но не так просто было тогда точно провести демаркационную линию между желанным и возможным, порой приходилось идти по острию бритвы. Михмат был хороший рассказчик и во время работы в «Правде» накопил немало историй, раскрывающих закулисную подоплеку тех спектаклей, которые мы, непосвящен-

ные, видели на сцене литературы и журналистики из зрительного зала. Его живые рассказы, подкрепляемые энергичной жестикуляцией, слушали, раскрыв рты. Когда выкраивалось свободное время, он нередко появлялся у нас на шестом этаже — иногда чтобы обсудить какие-то очередные дела не в своем кабинете, а в «домашней» обстановке, а чаще чтобы просто потреться. И хотя он был старше всех нас — меня на десять лет, а других обитателей шестого этажа еще больше, в многолюдном коллективе газеты мы были самой близкой ему по духу и интересам компанией. Его, наверное, влекло то, что разговаривали мы уже тогда и о литературе, и об общем положении дел в стране достаточно откровенно. Пожалуй, даже порой излишне откровенно: границы «оттепельной» свободы были смутны — казалось, открылись широкие дали, но вполне можно было напороться и на колючую проволоку. И страх, вколоченный во всех нас в сталинское время, еще не стал иллюзорным, фантомным, для него были кое-какие реальные основания.

Вот смешной эпизод, в котором наглядно обнаруживает себя причудливая атмосфера тех дней — кружащая головы свобода и еще не отпускающий страх. Пошли большой компанией обедать. Возвратившегося из Караганды в Москву Наума Коржавина, которого тюрьма и ссылка не очень-то научили не выкладывать во всеулышание все, что у него на уме, по дороге в ресторан предупреждаем, чтобы на политические темы он там не высказывался. Он обижается: «Что я, ребенок?» В разговоре за столом задеваются тридцатые годы, десятилетия того времени. Самый молодой из нас, Рассадин, спрашивает: «Ну, а Киров?..» Понимая, что сейчас с разъяснениями выступит Коржавин, кто-то пытается его остановить. Коржавин обиженно гудит: «Что ты меня толкаешь... Я ничего такого не хотел сказать... В этой банде Киров был еще приличным человеком...» Все хохочут...

Да, границы свободы были зыбки... Сдали в набор стихи Коржавина — это должна была быть его первая публикация в центральной печати, очень важная для него, существовавшего в Москве еще на птичьих правах. Стихи не крамольные, но все-таки что-то в них царапало воспитанное на гладкости восприятие, как-то они выделялись, слишком обращали на себя внимание, и это становилось препятствием на их пути к газетной странице. Так было не только с Коржавиным. С трудом проходили и первые стихи Андрея Вознесенского — его поэтическая манера дистиллированному вкусу казалась вызывающей, «отрыжкой формализма». Многое приходилось пробивать на полосе в нелегких боях. В таких ситуациях, требовавших и упорства и дипломатии, Михмат большей частью был на нашей стороне...

Но со стихами Коржавина произошла досадная осечка. Как-то, когда Наум (мы звали его Эма) был у нас, наверх поднялся Михмат. Чтобы подтолкнуть публикацию, заручиться активной поддержкой Михмата, Коржавина попросили почитать стихи — не те, что предназначались для газеты, а поострее. Но все-таки не самые острые, не наводящие на мысль, что на Лубянке уже мышшей не ловят. Михмату стихи понравились. Но этого разгоряченным поклонникам Коржавина показалось мало, они посчитали, что Михмат недостаточно зарядился энтузиазмом, и начали заказывать Науму стихи по тем временам пугающе непроходимые. В общем, разгулялись всею. Чувствую, что перебор, что добром это не кончится, пытаюсь остановить: мол, пора закругляться, всего не перечитаешь. Но куда там, вошли в раж, не удержат, отмахиваются. Наум с неохотой, но все-таки читает крамольные стихи — очень уж напирала. И Михмат скис — не вдохновили его, а напугали. Эти совершенно непечатные стихи в его сознании наложились на предназначавшиеся для печати. Под разными предлогами он стихи Коржавина откладывал. Они прошли, когда он на несколько дней уехал в командировку.

Справедливости ради хочу сказать: мы были смелее, наверное, потому, что по молодости лет не успели так, как он, набраться страху, нас меньше сковывал этот тяжкий опыт.

Его опасения по поводу стихов Коржавина оказались не такими беспочвенными и надуманными, как нам представлялось. Одно из двух напечатанных сти-

хотворений — «Церковь Покрова на Нерли» — вызвало совершенно неожиданный для нас скандал. «Комсомольская правда» под рубрикой «Из последней почты» выступила на следующий день с оглобельной редакционной репликой «Поэтический благовест». Эту реплику стоит воспроизвести целиком — она невелика, но весьма выразительно представляет идеологические нравы той поры (в ней цитируются две из пяти строф стихотворения Коржавина, так что читатели могут составить представление и о нем). Вот что напечатала «Комсомольская правда»:

«По какой ты скроена мерке,
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
Покрова на реке Нерли?»

Эти удивительно глубокие и злободневные вопросы не на шутку взволновали поэта Н. Коржавина. Он немедленно направился во Владимир и, стоя на круче, долго наблюдал за упомянутой церковью.

Результаты наблюдения очень обнадеживающие. Поэт без труда установил, что церковь «невысокая, небольшая», что иногда набегают на нее «красноватый закатный пламень». И вот тогда совершается чудо: молельный дом сам начинает вдруг излучать божественный свет и ронять в души всех и на веки вечные «ощущение высоты» (неземной, разумеется). Одним словом, Исайя, ликуй!

Вполне правомерен и вывод, к которому приходит автор:

Так в округе твой очерк точен,
Так ты здесь для всего нужна,
Будто создана ты не зодчим,
А самой землей рождена.

Прочтешь эти строки, и сразу видишь перед собой коленапреклоненного поэта, страстно шепчущего не стихи... а молитвы. Ну что ж, блажен, кто верует...

Одно непонятно. Почему эти семинарские вирши опубликованы вчера в «Литературной газете» и почему над ними стоит такая малоподходящая рубрика «Новые стихи»?»

Я не сомневаюсь, что в другое время никто в «Комсомолке» не обратил бы внимания на это стихотворение. Но оно появилось во время очередной кампании антирелигиозной пропаганды, как же упустить такой случай отличиться! В «Комсомолке», конечно, понятия не имели, что это за церковь, — в реплике она даже перенесена во Владимир. Кто считается с фактами, когда раскошегаривают кампанию. Главное, чтобы в жилу, все остальное никакой роли не играет.

Я написал короткую — полстранички — ответную реплику «Комсомолке», ударное ядро которой составляла цитата из академической, вышедшей еще до «оттепели», в 1953 году, «Истории русского искусства», свидетельствующая о том, что воспетая поэтом церковь заслуживает восхищения даже самых отъявленных атеистов: «...Архитектурный образ храма, посвященного Покрову богоматери, полон глубокой одухотворенности. Стремление ввысь определяет весь его замысел. Зодчие как бы ставят себе целью преодолеть материальность и тяжесть камня; свет и тень играют на фасадах, дробя и оживляя их поверхность; здание в целом кажется излучающим свет и тепло и пронизанным радостным, жизнеутверждающим чувством... Церковь Покрова, отражающаяся в тихих водах Старицы, представляет собой один из прекраснейших памятников древнерусского зодчества».

Но Смирнова и Кузнецова в Москве нет — возвратятся через два-три дня, а без них вряд ли удастся решить судьбу реплики. Однако острый разговор об этом происшествии возник сразу же на летучке: ошибка ли публикация стихотворения Коржавина или нет, отвечать ли «Комсомолке» или промолчать?

Завершая летучку, заместитель главного редактора Косолапов сказал, что ошибочно не само по себе стихотворение Коржавина, оно вполне уместно в сборнике, ошибка в его публикации в массовой общественно-политической газете в

то время, когда в стране проводится важная идеологическая кампания, за это редакция получила серьезное замечание от руководства Союза писателей.

И все-таки через пару дней, когда возвратились Смирнов и Кузнецов, я отправился к начальству с ответной репликой «Комсомолке». После летучки и звонка из Союза не очень-то рассчитывал на успех, но для очистки совести — все, что мог, сделал — пошел. Обидно было за Коржавина, получившего за первую же публикацию, которая должна была открыть ему двери в литературную печать, совершенно незаслуженную зуботычину. И не помешает ли реплика «Комсомолки» печатанию его стихов в других местах? Я отдавал себе отчет, что расклад сил, к сожалению, не в нашу пользу. Косолапов уже высказался на летучке — он против. Кузнецов ничего дурного о стихах Коржавина не говорил, не возражал против их публикации, но явно ее заматывал, мы это сделали фактически за его спиной, обошли его. Этого вполне достаточно, чтобы обозлиться на нас: не хотели прислушаться ко мне, вот и поделом вам. Да и вообще, может быть, он считает, это на пользу, когда нас таким образом учат. Надежда была лишь на Смирнова, только он, если посчитает, что ответить «Комсомолке» надо, что такое ни при каких обстоятельствах нельзя съедать, может убедить своих замов или нажать на них. Увы, эта надежда не оправдалась, да и вообще, как выяснилось, мои предварительные расчеты никуда не годились. Эсэс без долгих раздумий идею ответной реплики зарубил, присоединился к Косолапову. А вот Михмат очень горячо настаивал на том, что «Комсомолке» следует врезать, чтобы неповадно было подличать, не себя мы в этом случае защищаем — литературу. В общем, Михмат оказался на высоте, напрасно я в нем сомневался, неплохо это было с моей стороны...

Новым ответственным секретарем был назначен Артур Сергеевич Тертерян. Он не из пришлых, свой, до этого работал в международном разделе, заведовал отделом зарубежной литературы и искусства. По сравнению с предыдущим ответственным секретарем Петром Карелиным, убывшим из газеты вслед за своим патроном Кочетовым... Впрочем, какое здесь может быть сравнение — Тертерян умный и интеллигентный, с широким кругозором человек, очень опытный газетчик. Он хорошо знал редакционный коллектив, кто что может, кто чего стоит, а это очень важно для ответственного секретаря. Безошибочно различал, хорош или плох материал, что обычно ставило в тупик его предшественника. Но сам писал редко и, как мне кажется, не по собственному желанию, а обычно тогда, когда полагалось «отписаться» за командировку, или что-то в этом роде — все это было грамотно, но бесцветно. Мне рассказывали, что Тер — так его звали в редакции — начинал очень хорошо, интересными и яркими статьями, но потом замолчал, перестал писать. Это один из грустных вариантов судьбы журналистов поколения, травмированного леденящим страхом тридцать седьмого года.

На самых бурных планерках и летучках Тер никогда не терял самообладания, не повышал голоса, — как бы ни кипели страсти, он был само спокойствие. Его оружием была ирония, однако своими шуточками и насмешливыми репликами он не задевал больно, не обижал. Помню забавный, очень характерный разговор с ним.

Как-то — было это в кочетовские времена — он неожиданно спросил у меня, хорошо ли я знаю одну сотрудницу, работавшую не в нашем разделе.

— Да, еще с университетской поры, — отвечаю ему, недоумевая, почему он этим интересуется.

— Она прекрасная журналистка.

— Замечательная, — подхватываю я. — У нее такая хватка, что никто в редакции не может с ней тягаться. А кто еще отдает газете так много сил и времени!

— Да-да, — соглашается Тер и ошарашивает меня неожиданным вопросом. — А почему она не замужем?

Я пожимаю плечами, показывая, что вопрос этот бестактен, и обсуждать его я не намерен. Но Тер на это не реагирует и тем же безмятежным тоном задает мне следующий не менее бестактный вопрос:

— А нельзя ее выдать замуж?

— Это ее дело. Захочет — выйдет, — отвечаю я уже с раздражением.

Тер по ли не замечает, то ли делает вид, что не замечает, что разговор этот мне неприятен.

— Вы не правы, — продолжает Тер. — Друзья должны позаботиться о ее судьбе. Она слишком много сил отдает работе. И не всем в редакции это по душе. Я имею в виду начальство. А если бы она половину своей энергии отдавала мужу, семье, остального для газеты было бы сверхдостаточно. И начальство могло бы ее терпеть. Надо ее выдать замуж. Занялись бы этим. А то, боюсь, ее выживут из газеты...

Весь этот разговор Тер проводит, явно потешаясь над моей недогадливостью, над тем, что я вполне серьезно воспринимаю его наводящие вопросы, хотя он просто хочет предупредить меня об опасности. Кстати, он ее не преувеличил: через некоторое время мою университетскую приятельницу из «Литературки» выставили, она ушла в другую газету, в которой по сю пору одна из самых ярких звезд...

Постепенно Тертерян навел порядок в секретариате, прекратился лихорадивший газету постоянный аврал, меньше стало опозданий, покончено было с нелепым — «версточным» — планированием, когда в секретариате руководствовались только размером материала, затыкали «дырки» на полосе. В общем, с ответственным секретарем нам повезло. Но через какое-то время Тертерян стал замом главного, а со сменившим его в секретариате Прудковым отношения у нас не сложились.

В пополнившейся редколлегии не все было ладно. Отдел братских литератур возглавил Григорий Корабельников. Он уже в ту пору был ветераном литературы, в молодости, в начале 30-х годов, активно действовал в РАППЕ, избирался делегатом Первого съезда писателей, много лет проработал в тех структурах Союза писателей и органах печати, которые занимались литературами народов СССР, знал здесь всех и вся, все подводные камни. Ему и самому досталось: в тридцать седьмом году его исключили из Союза писателей. Этот горький опыт не прошел для него даром, пуганая ворона куста боится, скрытые подводные камни ему мерещились повсюду. Он дул и на холодное.

Еще больше неприятностей возникало с Евгением Сурковым, который стал шефом отдела искусства. Одаренный, образованный критик, Сурков был человеком с невыносимым характером, склонным к истерии, обуреваемым многими комплексами, к тому же не чуравшимся наущничества. Если Корабельников старался находиться на максимальном удалении от «линии фронта», честолюбивый Сурков хотел быть первым на разминированной территории, но при этом очень боялся промахнуться и метался — то рвался вперед, то неожиданно отступал назад. В течение одного дня — в зависимости от телефонного звонка, от дошедшего до него слуха — он менял свои решения на прямо противоположные, и даже не один раз. Сотрудники его отдела — работали там прекрасные критики и журналисты: Юрий Ханютин, Борис Медведев, Людмила Семенова, Вера Шитова — скрипели зубами, работа превращалась в ад.

Когда «Литературка» затеяла дискуссию о драматургии, Сурков, по три раза на дню то снимая, то ставя материалы, доводил до белого каления даже таких уравновешенных, выдержанных людей, как Косолапов и Тертерян. Он должен был написать статью, подводящую итоги этой дискуссии, но, боясь оступиться, ненароком задеть какую-нибудь мину, тянул резину, довел дело до последнего дня и неожиданно скрылся — никого не предупредив, укатил в заграничную командировку, поставив редакцию в трудное положение. Возвратившись, после крупного объяснения со Смирновым, подал заявление об уходе, а потом нагло тался каких-то таблеток — к счастью, обошлось... Правда, один из сотрудников его отдела сказал нам: «Не волнуйтесь, он дозу знает».

Были и удачи. Появились в редколлегии люди, которые немало дали газете. Виктор Болховитинов оживил очень захиревший отдел науки. Крупные ученые, при Кочетове отвернувшиеся от газеты, стали у нас часто выступать — и не только на страницах газеты, но и в редакции. Как-то Болховитинов привел Ландау.

В битком набитом кабинете главного редактора ученый рассказывал о проблемах современной физики. Ландау держался естественно, разговаривал с нами серьезно, не свысока, стараясь максимально просто объяснить сложные вещи, хотя, честно признаюсь, почти всем нам — может быть, кроме Болховитинова да специально приглашенных Даниила Данина и еще каких-то писателей, физиков по образованию, занимающихся этими проблемами, — большая часть того, что говорил Ландау, была явно не по зубам. Один из молодых сотрудников, прочитавший статью о современной физике в популярном журнале для юношества — он простодушно упомянул этот источник его познаний, — стал донимать Ландау вопросами. Ландау терпеливо отвечал ему. Самоуверенный молодой человек, почему-то обуреваемый желанием срезать великого физика, в одном месте перебил его, строго напомним: «А вселенная!» Ландау улыбнулся: «Вы, по-видимому, слишком много знаете о вселенной». Мы покатались со смеху. Кто-то сказал: «Полемика обезьяны с телевизором».

С Болховитиновым у нас установились хорошие отношения. Почвой для них послужило то, что мы первыми опубликовали стихи молодых поэтов, погибших на фронте, — Михаила Кульчицкого, Павла Когана, Николая Майорова, Всеволода Багрицкого, Николая Отрады (почти никто из них ничего при жизни не напечатал), с предисловием Павла Антокольского, — открыв их читателям и проложив путь для последующих публикаций, коллективных сборников, индивидуальных книг и т. д. Болховитинов когда-то сам писал стихи, а до войны, когда учился на физическом факультете Московского университета, в университетской многотиражке вел отдел литературы. Со многими поэтами фронтового поколения он был знаком, а с Николаем Майоровым, кажется, даже дружил. К нашей затее — а как ни странно, даже тогда это было не просто, вызывало глухое сопротивление, наверное, потому, что многое меняло в утвердившейся картине предвоенной духовной жизни, — он отнесся с большим энтузиазмом, и с тех пор, когда на редколлегии возникало противодействие каким-то острым нашим материалам, неизменно был на нашей стороне. Но вообще держался он в газете несколько на отшибе, на своем научном «хуторе», не очень вникая в общую жизнь редакции...

У Георгия Радова, сменившего Рябчикова в разделе внутренней жизни и поворачивавшего этот раздел к реальным и острым проблемам современной действительности, было прямо противоположное стремление. Он активно участвовал во всем, что происходило в газете, ввязывался в дела, его раздела не касавшиеся. И все было хорошо, — такие люди в редакции очень нужны, они взрывают рутину, — если бы не уверенность Радова, что он лучше всех знает жизнь. Он решил, что у него есть право наставлять на путь истинный нас, как он полагал, плохо знающих действительность, погрязших во внутрিলитературных проблемах и распрях. Я вовсе не хочу сказать, что мы были безгрешны. Но Радов в своих поучениях часто путал публицистику с художественной литературой, его претензии и советы нередко носили вульгарный (конечно, не в бытовом, а в литературоведческом смысле) характер.

Несколько раз по конкретным поводам мы с Радовым схватывались на планерках и летучках с переменным успехом — верх бывал то за ним, то за мной. За этим неизменно стоял все тот же конфликт, все та же проблема. Как-то схлестнулись по поводу заявленного нашим отделом в номер стихотворения Коржавина. После той злополучной реплики «Комсомолки» нам все-таки удалось напечатать еще одно его стихотворение — «Парад ветеранов в Кёльне» — антинацистское, антимилитаристское, номер был посвящен войне, Победе, оно и прошло, морщились, но не возражали. Однако настороженное отношение к его стихам сохранялось. Предложенное нами стихотворение — оно называлось «Наука или утопия?» и обличало бесчеловечивание, попрание личности при помощи обожествляемой новейшей техники — на планерке встретили в штыхы.

Первым выступил Радов. Он начал с попреков: отдел литературы из справедливой критики его за оторванность от жизни не делает никаких выводов, молодые сотрудники отдела, предлагая это стихотворение Коржавина, снова подставляют газету под удар. Мыслимо ли сейчас, когда надо всячески форсировать

развитие науки и техники в тех областях, которые при Сталине были в загоне, подверглись опустошительному разгрому, выступать со стихами, подрывающими доверие к научному и техническому прогрессу? Да и стихи очень слабые. В таком духе он говорил довольно долго, всячески уязвляя нас за то, что за деревьями литературы мы не видим леса жизни.

Радова дружно поддержали все, вслед за ним повторяли: незнание жизни, слабые стихи, никто не вступился за коржавинское стихотворение. Это единодушие больше всего разозлило меня — я не стал защищаться, а сразу перешел в контратаку. Я сказал, что о качестве стихов вообще говорить не буду, выбив сразу у противников один из главных их аргументов, — конечно, не блеск, но стихи как стихи, на уровне (за этот тактический ход Коржавин на меня обиделся, начал мне выговаривать, но Рассадин и Сарнов на него прикрикнули, втолковав, в чем дело, и он успокоился). Меня волнует другое: само наше обсуждение вызывает у меня большую тревогу. И тревожит меня не судьба стихотворения Коржавина, которое, нет никаких сомнений, с колес напечатает любое из конкурирующих с нами изданий, а то, что участники планерки, люди, практически определяющие содержание газеты, как выяснилось, понятия не имеют о том, что сегодня происходит в нашей духовной жизни, какие идут процессы, какие кипят баталии. Знают ли они что-нибудь о распространившихся в последнее время агрессивных технократических концепциях? Слышал ли кто-нибудь — не читал, а хотя бы слышал — о книге Полетаева «Сигнал», технократический пафос которой вызвал бурные споры в среде научной и технической интеллигенции? Чем объяснить появление в нашей газете статьи Корнелия Зелинского «Научная революция и литература», в которой весьма сомнительные идеи этой книги выдаются за глубокие и смелые обобщения, почему эту статью предварительно не показали нам? Как могли журналисты, постоянно похваляющиеся тем, что держат руку на пульсе жизни, пропустить, не заметить в «Комсомольской правде» статью Эренбурга, защищающего гуманистические ценности от технократического нигилизма, и полемический отклик на эту статью автора книги «Сигнал», в которой он предлагает сбросить культуру, искусство, гуманизм с корабля современности? Неужели в нашей редакции другие газеты читают только тогда, когда в них критикуют отдел литературы?

Я, разумеется, здесь передаю лишь суть своей речи. Говорил я не только горячо и резко, но, видимо, и достаточно убедительно (примеров конкретных было больше, не все я сейчас помню), потому что противники мои смешались, никто не стал со мной спорить. Косолапов, который вел планерку, смущенно заметил: «Да, надо признать, что мы оказались не в курсе дела, прохлопали серьезное явление». Я понял, что моя речь произвела на него впечатление. Он предложил: «Нельзя отделяться от такого серьезного явления стихами, надо подготовить большую проблемную статью. А потом вслед за ней напечатать стихи». Это меня, конечно, не устраивало, победа оборачивалась поражением. Я сказал, что так мы можем оказаться в хвосте событий, надо хотя бы стихами за столбить проблему, они не помеха будущей статье. Косолапов не стал настаивать на своем. Договорились, что стихотворение Коржавина остается в номере, мы снабдим его более или менее развернутым врезом, составленным, так сказать, по мотивам моего выступления, а автор стихов сочинит оптимистическую концовку, смысл которой в том, что технократическим утопиям не дано осуществиться.

Что и было сделано — очень быстро, за час-другой, чтобы не было оснований для жалоб, что мы задержали номер, соорудили от имени автора врез, а он под нашим давлением нехотя написал наспех требуемую концовку:

Нет!

Довольно!

Так не будет, знаю...

И не надо принижать людей.
Самоценна только жизнь живая,
Мертвая природа служит ей.
Забывать про это — нет причины.
Что ни говори, а все равно
Нам дано придумывать машины,
Быть людьми машинам не дано.

Потом, когда мы, Рассадин, Сарнов и я, писали пародию на стихи Коржавина, из чистого хулиганства обыграли в ней эту неуклюжую концовку. Наум надулся на нас и бурчал: «Сами заставили меня дописать никому не нужную концовку, а теперь устроили из этого потеху, меня дураком выставили».

После планерки, еще не остыв, я один на один объяснился с Радовым, выложив ему все, что думал о его попреках и наставлениях, которые — пусть задумается над этим — перекликаются с поликарповскими руководящими выволочками и внушениями, от которых мы уже дышать не можем. В запале, каюсь, я использовал аргумент, который и тогда считал и нынче считаю некорректным. «Слушай, Жора, — сказал я ему, у нас были хорошие отношения и разговор в таком тоне был вполне допустим, — смени пластинку. Я на фронте узнал о жизни то, что тебе в твоём обьеме и областной газете не снилось. Запомни это». Он запомнил — не обиделся...

Должен сознаться, что к его знаниям деревенской жизни, которые и тогда и потом оценивались в критике очень высоко, я относился с немалой долей скепсиса. Мне они казались односторонними, основанными по преимуществу на общении с «председательским корпусом», об этой близости Георгий очень любил напоминать. Вольно или невольно выражая взгляды, в лучшем случае ограниченные, а часто и вовсе предвзятые, этих профессиональных «погоняльщиков» нерадивых колхозников, Радов обличал частнособственнические настроения деревенских жителей, их пагубную привязанность к своему приусадебному участку. На этом мы тоже не раз сталкивались...

Третий съезд писателей

Итак, высшее командование газеты было сформировано еще до Третьего съезда писателей, который состоялся в мае 1959 года. Оставался, однако, большой некомплект рядовых, тех, кого на суконном армейском языке на фронте называли «активными штыками», а в телефонных переговорах на передовой — «спичками»: «Подсыпьте «спичек», со «спичками» полный зарез». Комнаты шестого этажа были пусты, работать некому. И как на фронте после тяжелых боев, когда в обескровленные части, которым все-таки приказано наступать, гребут всех подряд из тылов и вспомогательных служб, в газете сколотили бригаду для освещения Третьего съезда писателей — из сотрудников других разделов, из соборов, вызванных из республик и областей. Меня назначили бригадиром.

Съезд должен был торжественно открываться в Кремле, а затем перекочевать в Колонный зал Дома союзов — работать там. Но все пошло наперекосы. Говорили, что Хрущев предложил остаться в Кремле, не перебираться в Колонный — может быть, потому, что ему предстояло выступать на съезде. Узнали мы об этом в последний момент, в конце дня — и в завтрашнем номере газеты на первой полосе дали специальное сообщение «О работе Третьего съезда писателей СССР», в котором говорилось: «Заседания Третьего съезда писателей СССР 19 мая и в последующие дни проводятся в Зале заседаний Большого Кремлевского дворца». Уже были напечатаны и розданы делегатские удостоверения и приглашительные билеты — заменить их не успевали. У нас, у «литгазетовской» бригады, в Кремле не оказалось ни помещения для работы, как в Колонном, ни протусков в комнату президиума. Редактировать и визировать выступления — дело не бог весть какое сложное, но в таких условиях довольно мутное. Все становится проблемой: негде вычитывать и править речи, непросто добывать стенограммы, трудно добираться до выступавших, большая часть которых сидит в президиуме, куда нам хода нет.

Внутренняя кремлевская охрана, brave молодые люди в штатском, была поначалу шокирована недисциплинированностью писательской публики — во время заседаний входят и выходят из зала, в фойе множество празднующихся, оживленно болтающих — такого в этих стенах прежде никогда не бывало. Из их

попыток как-то укротить эту писательскую вольницу ничего не выходит, хотя они люди умелые и вышколенные. О чем свидетельствует такой эпизод. На третий или четвертый день съезда, во время той небольшой паузы, когда один оратор уже покинул трибуну, а другой к ней направляется, ко мне подошел один из этих высоких плечистых молодых людей — я сидел с краю, чтобы легче выходить, — и, наклонившись, тихо сказал: «Вас просили позвонить в газету». Как он меня вычислил и отыскал, ума не приложу, но факт остается фактом — отыскал. Наверное, я все-таки как-то примелькался — мне единственному хоть и не сразу, но все же выдали пропуск в комнату президиума.

Да, в фойе многолюдно и шумно, то там, то здесь вспыхивают споры, слышен смех. Зато на трибуне тишь, гладь и божья благодать, все чинно, выверено, процежено. Поликарповская контора славно поработала, обеспечивая порядок и идеологическую стерильность. Скучно. По-настоящему острых и интересных выступлений совсем мало, на Втором съезде их было больше. Гораздо больше.

И все-таки все занимающиеся в газете освещением съезда в зачумленном состоянии, я неделю почти не спал — днем на съезде, потом до глубокой ночи, а пару раз, когда газета сильно опаздывала, и до утра в редакции. В одну из таких бессонных ночей произошло в редакции смешное происшествие, которое, впрочем, в тот момент смешным не казалось...

Перед съездом Смирнов собрал нашу бригаду и секретариат: что можно сделать, чтобы съездовские материалы не выглядели на полосе уныло. Но чем и как оживить стенографический отчет, что тут придумаешь? Предложили предварять отчет за день кратким редакционным дневником, написанным по возможности живо, не казенно. Предложение было принято. Дневники сочиняли и печатали, но очень уж живыми они не были, на слишком много церквей в них полагалось в обязательном порядке перекреститься. Но первый дневник Бондарев написал вполне кудряво: «Ночью шел майский дождь, к полудню небо над Москвой посветлело, стало тихо, тепло, и везде — на каменных площадях Кремля, на куполах соборов, на сочной листве лип, на цветущих яблонях — мягкий блеск солнца. От подсыхающего асфальта, от влажных крыш подымался весенний парок. По оживленным возгласам на всех языках, раздающихся в светлых коридорах Большого Кремлевского дворца, в вестибюле, на просторных лестницах, по улыбкам, по взглядам — чувствуется волнение, ожидание серьезного и глубокого разговора о путях нашей литературы». И так далее в том же духе...

Предложили давать заголовки к каждой речи. Это было принято, и мы потом изошрялись: речь Валентина Катаева назвали «Перо Жар-птицы», Эдуардаса Межелайтиса — «Лучшая традиция — поиск», Федора Панферова — «Это нам по плечу!» И так далее в том же роде... Эсэс предложил давать фотографии каждого выступившего на съезде. Ему это казалось хорошим украшением полосы, и от делу оформления, нашим фотоаграфам было дано задание, кроме традиционных групповых снимков в кулуарах и панорамы президиума и зала, изготовить фотографии всех ораторов. Дело нехитрое, но именно тут мы споткнулись...

Когда в двенадцатом часу ночи принесли контрольную полосу, я обнаружил, что вместо фотографии Афанасия Салынского над его выступлением заверстан портрет Андрея Малышко. Сотрудник отдела оформления сначала попытался нас убедить, что это и есть Салынский. Посрамленный в ходе короткой, но сразу же достигшей высокого накала дискуссии, он отправился искать снимок Салынского. Пропадал довольно долго и явился с десятком фотографий, среди которых, однако, снимка Салынского не было. «Это все, смотрите! — сказал он тоном человека, который выполнил задание на двести процентов, и очень удивился нашей реакции. — Как Салынского нет? А может, он не выступал, иначе мы бы его сняли?» Утверждение было, мягко говоря, глупое, но бедняга растерялся и не знал, как выпутываться из создавшегося положения.

Что тут сделалось с Эсэсом, трудно себе представить. Никогда ни до, ни после этого я не видел его в такой ярости. Пообещав, как только кончится съезд, разобраться с разгильдяями, он потребовал к себе заведующего отделом. Выяснилось, что того в редакции нет, смылся то ли домой, то ли в какую-то веселую

компанию, хотя во время таких авралов до подписания номера полагалось быть на месте. «Вызвать!» — рывкнул Эсэс. Пока отыскивали заведующего, посылали за ним машину, мы в библиотеке посмотрели книги Салынского, нет ли там его фотографии, которую можно переснять. К сожалению, ничего подходящего не нашли. А время близится к двум часам. Наконец, появляется испуганный заведующий отделом. Эсэс — ему: «Я вашим отделом займусь после съезда. А сейчас я звоню Салынскому — вы поедете его фотографировать». Поднятый с постели Салынский спросонья никак не может понять, что он него хотят, потом, сообразив, говорит: «Не надо фотографа, у меня есть фотография, посылайте шофера...»

Привозят от Салынского фотографию. Незадолго до этого издательство приобрело за валюту какую-то высокого класса западногерманскую машину для изготовления клише, так что через несколько минут оно будет готово. Но тут взрывается еще одна мина: мастера, работающего на этой машине, отпустили в Рязань и вечером он туда укатил, завтра у него суд — он разводится с женой. Кто-то в отчаянии предлагает убрать из номера все фотографии. Эсэс испепеляет его взглядом: «Без фотографий номер не выйдет!» Начинаю обзванивать типографии, нельзя ли где-нибудь сделать клише. Но куда там, все газеты уже или напечатаны, или печатаются, никого не отыщешь. И вдруг Леонид Чернецкий, заместитель ответственного секретаря, недавно начавший работать у нас, выясняет, что на прежней его работе спит мертвецки пьяный мастер, который изготавливает клише. Туда немедленно отправляется экспедиция, возглавляемая Чернецким. С трудом — нашатырь, голову под кран — приводят в себя этого мастера. И наконец привозят клише. Вот такая цепь происшествий, словно придуманная для комедии. Номер мы подписываем в шестом часу утра. Разъезжаемся по домам, к десяти надо быть в Кремле на съезде...

Вторая запомнившаяся история приключилась на самом съезде и была совсем не смешной — очень серьезной, хотя далеко не все тогда поняли и оценили, что произошло. Еще не успели смолкнуть аплодисменты после выступления Хрущева, как на трибуне вырос Александр Корнейчук, — его речь служила как бы продолжением этих аплодисментов. Она была вроде бы экспромт, взрыв чувств, с которыми оратор никак не мог совладать, которые вырвались словно бы не по его даже воле. Из «Краткой литературной энциклопедии» можно узнать, что Корнейчук был «Чл. ЦК КПСС (с 1952) и ЦК КП Украины. Деп. Верх. Совета СССР 1—6-го созывов. Пред. Верховного Совета УССР. Занимал руководящие посты в Мин-ве иностр. дел, в К-те по делам иск-в УССР. Зам. пред. Сов. Мин. УССР. Чл. Всемирного Совета Мира и его бюро с 1949. Чл. Президиума Всемирного Совета Мира с 1958. Акад. АН СССР (с 1943) и АН УССР (с 1939)». Я привел этот длинный перечень должностей и чинов, чтобы сказать, что столь опытный государственный муж едва ли был способен на столь безудержное излияние чувств.

«Экспромт», конечно, был заранее подготовлен расчетливым, прожженным царедворцем, у этого «внезапного» всплеска восторга была вполне прагматическая политическая задача. Вот это выступление с некоторыми сокращениями:

«Дорогие товарищи! Дорогие друзья! Я думаю, что выражу ваши чувства, когда скажу, что мы с большой радостью, с огромным волнением слушали речь нашего дорогого товарища, друга, — ликующий голос Корнейчука звенел от восторга, — я бы сказал, самого демократического из всех демократических людей, каким мы считаем нашего большого руководителя, родного Никиту Сергеевича Хрущева...

Мы, писатели, от всего сердца хотим принести Вам, Никита Сергеевич, глаголюю благодарность. Слушая, с какой любовью Вы говорите о труде рабочих, крестьян, нашей интеллигенции, и зная то, что Вы дали вместе со своими друзьями, членами Центрального Комитета, членами Президиума ЦК, с Вашими друзьями, которые сидят здесь вместе с Вами, зная Вас, хочется сказать, что Вы самый большой поэт труда советского человека и самый большой новатор нашего времени...

Присуждение Вам Ленинской премии с такой радостью было воспринято советским народом, ибо Вы, Ваше имя на знаменах мира стоит у всех народов, — во всем мире!

Желаем Вам, дорогой Никита Сергеевич, здоровья, счастья в личной жизни!

Желаем многих, многих лет жизни на радость советским людям и на радость всем народам в мире!

Да здравствует наш родной Центральный Комитет!

Да здравствует Никита Сергеевич Хрущев!»

Эта здравица, сопровождаемая, как положено, дюгю не смолкающими, продолжительными и бурными, заставила многих присутствующих внутренне вздрогнуть. Что это должно значить? После произносившихся в последние годы со всех высоких трибун заклинаний: искореним культ личности, покончим со славословием, восстановим ленинские принципы коллективного руководства — вдруг снова обрядлые культовые песнопения. Только вместо Сталина — Хрущев, вместо «великий» — «самый большой», вместо «вождь передового и прогрессивного человечества» — «самый демократический из всех демократических людей», вместо «корифей всех наук» — «самый большой новатор нашего времени», неизменными остались подобострастное «родной» и патетическое «многие лета».

Неужели это психологическая инерция, ставшая второй натурой привычка выражать свои чувства к первому лицу страны культовыми клише? Не похоже на Корнейчука — слишком искушенный он политикан, прекрасно понимает, с какой серьезной материей имеет дело, здесь каждое слово, каждый эпитет продуманы и взвешены, к тому же, по слухам, он принадлежит к близкому окружению Хрущева, бывает у него дома. Тогда это сигнал к восстановлению культовой идеологической схемы правления: народ — партия — вождь. Видимо, изменилась ситуация в высшем руководстве страны. Это сразу же понял (или ему дали понять) Николай Тихонов, в его заключительном выступлении на съезде после еще обязательной, еще не отмененной — скоро ее упразднят — благодарности «коллективному руководству» — ЦК и Президиуму ЦК КПСС — появился пассаж, уже ориентированный на то, что произнесенный Корнейчуком спич: «Особую благодарность мы должны принести большому другу нашей советской многонациональной литературы, нашему дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву за его большое, блестящее, замечательное слово, с которым он обратился к съезду, ко всем писателям». Конечно, по сравнению с Корнейчуком бледновато, не тот накал, не та проникновенность, но и Тихонов тотчас же присягнул...

Вернувшись из Кремля, мы вечером долго обсуждаем сложившуюся ситуацию. И это не спор на отвлеченную политическую тему, не праздная болтовня пикейных жилетов, перед нами стоит вполне конкретный практический вопрос, который к тому же надо решать сегодня, немедленно: печатать ли выступление Корнейчука? Не печатать опасно, за этим, похоже, стоит большая политика, можно нарваться на серьезные неприятности, тем более что будет лично задет Корнейчук, — известно, что он человек злопамятный и мстительный, а так как вхож на самый верх, может обратить внимание на нелояльный поступок «Литературки», попросту говоря, наступать. Но и разжигать снова культовое кадило — мерзкое дело, с души воротит. И начальство решается — Корнейчука не печатаем. Это не самостоятельное выступление, это всего лишь спонтанный отклик на речь Хрущева — таков выработанный нами главный аргумент на тот случай, если вдруг вызовет на ковер для объяснений. Но подстраховываемся — в съездовский дневник вставляется фраза: «Выступивший затем А. Корнейчук (Украина) под бурные аплодисменты делегатов и гостей горячо поблагодарил Н. С. Хрущева от имени съезда за теплые слова и пожелания, высказанные в адрес многонациональной армии советских писателей, и поздравил Н. С. Хрущева с присуждением ему международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Через некоторое время по линии пропаганды указание: укреплять авторитет первого секретаря... Система окостенела и воспроизводила один и тот же стереотип.

Наша молодая команда

После съезда постепенно стал заполняться наш шестой этаж. Набрать людей для такого большого отдела да еще в короткий срок — дело очень нелегкое. Вроде бы всегда ходят толпы ищущих работу журналистов и редакторов, устроиться на приличное место трудно. Но вот в какой-то солидной редакции возникла нужда в толковом работнике — освободилось место, дали еще одну ставку, попробуй, найди его, этого толкового работника, с ног собьешься. С улицы ведь не возьмешь, поиски эти — мука-мученическая, обзваниваешь множество близких и шапочных знакомых, стараясь получить нужную информацию, с дипломатической осторожностью советуешься с коллегами из других редакций. Я потом не раз сталкивался с такой ситуацией — то сам занимался поисками подходящего сотрудника, то ко мне обращались за помощью и советом. А тут одним махом надо было заполнить почти десяток свободных мест.

Руководство газеты решает формировать отдел главным образом из молодых, и мы начинаем действовать, широко раскидываем сети. Конечно, кто-то был на примете у Бондарева, кто-то у меня. Кого-то нам рекомендовали. Стали приглашать кандидатов для подробной беседы, читать то, что они напечатали, некоторых просили что-то для пробы написать. В общем, удача сопутствовала нам, грубых промахов у нас не было. Команду нашу (действительно, создалась команда, объединенная общими представлениями о задачах литературы, о ее достоинстве, о критериях ее оценки, работавшая дружно, напористо, жаждавшая новизны и остроты — я не случайно здесь и дальше часто говорю «мы») составили в основном совсем молодые люди, делающие в литературе и журналистике первые шаги.

Но этот самый молодой в редакции раздел очень быстро занял положение лидера, стал задавать тон.

Через четверть века мне однажды пришлось отправиться в библиотеку «Литературки» — понадобились какие-то старые газеты, — и там я встретил все того же, что и тогда, заведующего библиотекой Федорова. В нашу пору он был секретарем партбюро, видной фигурой в редакции, считал своей обязанностью и правом нас воспитывать, время от времени нам от него доставалось — он присоединялся к той критике, которой мы подвергались на Старой площади, развивал ее, его побанвались. Пока отыскивали нужные мне газеты, мы с Евгением Дмитриевичем болтали о всяких пустяках. «А знаешь, — неожиданно, без всякой связи с нашим разговором, видимо, отвечая каким-то своим мыслям, воспоминаниям, сказал он, — ведь такого сильного раздела литературы, как ваш, больше в газете не было». И мои бывшие коллеги, давно уже ставшие маститыми литераторами, вспоминая нашу молодую команду, признавались, что то были для них годы самой интересной, самой захватывающей работы. Присоединяюсь к ним, для меня тоже...

Большая часть молодых сотрудников отдела очень быстро — не скажу, составила себе имя, это чересчур громко, но что точно, была замечена и отмечена в литературном мире, их приняли в Союз писателей. Некоторых еще до того, как им удалось выпустить книгу, — случай в оказавшемся Союзе редкий.

Бондарев привел в газету Бенедикта Сарнова, переманив его из «Пионера». Для этого журнала такой одаренный литератор, уже тогда много умевший, был слишком большой роскошью, его высокий КПД оставался там по-настоящему невостребованным. Бондарев хорошо знал Сарнова, они вместе учились в Литературном институте, были однокурсниками. Кажется, Бенедикт был самым молодым на их курсе, он поступил в институт после школы, у всех остальных за плечами была служба в армии, фронт. Он был начитаннее, образованнее, учеба давалась ему гораздо легче, чем однокашникам, у которых свинцовый ветер войны выдул из памяти многие школьные знания. К тому же они прилежнее занимались писанием собственных сочинений, чем чтением положенных по вузовской программе книг.

Инну Борисову позвал в газету я. После университетской аспирантуры она еще никуда не устроилась, не так это было просто, и что-то делала по заданиям

«братишек» (так мы называли отдел литератур народов СССР), этим кормилась. Ее материалы показались мне толковыми, работала она быстро, ориентировалась в литературных делах неплохо — я представил Борисову начальству, и ее взяли. Инна была единственной представительницей слабого пола в отделе, если не считать ее тезки Инны Ивановны Кобозевой, нашего секретаря, которая свою должность занимала с незапамятных времен и которую несолидность новой команды шокировала.

Действительно рядом с этой красивой, седовласой, всегда одетой с иголки, умеющей себя вести дамой все мы выглядели шпаной. Главные ее претензии по поводу того, что происходило на нашем этаже, были ко мне. Она упрекала меня за то, что я, как она выражалась, «не поставил себя, как надо», «распустил всех этих босяков» (Инна Ивановна была одесситкой). Особенно ее тревожило (справедливости ради должен сказать, что она тревожилась больше всего за нас) и возмущало, что у нас всегда полным-полно посторонних, «настоящий проходной двор», как говорила она.

А у нас и в самом деле возник своеобразный клуб, куда приходили по делу и без дела, потреться, узнать новости и просто время провести в приятной компании. Назову хотя бы нескольких наиболее частых посетителей нашего «клуба» — это Наум Коржавин и Борис Балтер, Илья Зверев и Макс Бременер, Лев Кривенко и Борис Слуцкий, Камил Икрамов и Евгений Винокуров, Фазиль Искандер и Владимир Корнилов, Владимир Войнович и Феликс Светов, Василий Аксенов и Виктор Гончаров...

Приятель нашего сотрудника, приехавший из провинции, — не помню его имени, мы его прозвали Рыжий, — провел у нас в газете весь свой отпуск, являясь каждый день как на работу. Он так обжился, так освоился, что чувствовал себя как дома. Когда вернувшийся из отпуска Бондарев, которого он до этого не видел, несколько раз заглянул в дверь, спрашивая то ли Сарнова, то ли Рассадина, Рыжий решил, что надо поставить на место этого назойливого посетителя.

— Вы с ним договаривались заранее? — строго спросил он.

— Нет, — ответил растерявшийся Бондарев.

— Надо предварительно договариваться о встрече, а не заглядывать каждую минуту, — отчитал его Рыжий.

Не зная, что и думать, Бондарев явился за разъяснениями ко мне:

— Кто это такой строгий сидит у нас?

«Это уже не редакция, а билиардная», — в сердцах говорила Инна Ивановна, имея в виду носившее характер эпидемии увлечение шахматами. Появлялся в редакции Борис Балтер — усаживались за шахматы. Возникал Владимир Корнилов — тут же доставалась шахматная доска. Почему-то предметом, вызывавшим особое негодование Инны Ивановны, были приобретенные на деньги месткома шахматные часы, это ей казалось самой крайней степенью распущенности. Я же вполне сознательно санкционировал эту покупку, считая, что в комнате, где шли шахматные баталии, станет немного потише, прекратятся споры на высоких тонах: «Ты слишком долго думаешь над этим ходом! Так не играют!» — «А ты сам целый час думал в той партии!» К сожалению, часы не ликвидировали постоянных препирательств на другую большую тему: «Ты уже третий ход берешь назад!» — «Не третий, а второй! А ты тоже два раза брал!» Впрочем, главный вопрос, который горячо обсуждался за шахматной доской, к шахматам отношения не имел. Выяснялось, надо ли было брать Зимний дворец.

У Инны Ивановны были свои, долгой службой выработанные представления о дисциплине и субординации, которым наше вольное, а иногда и бесшабашное поведение никак не соответствовало.

Да, у нас можно было в рабочее время играть в шахматы, можно было прийти в редакцию позже или уйти раньше, можно было в середине дня умотать куда-то по собственным делам, разумеется, предупредив меня. Но когда надо было сидеть, дожидаясь опаздывавших контрольной и прессовой полос, никому и в голову не приходило заикнуться о том, что в ЦДЛ в это время крутят знаменитый итальянский фильм и вряд ли будет другой случай его посмотреть. Когда на-

до было что-то срочно отредактировать или написать, не только шахматная доска не открывалась, все неотложные домашние дела и собственная литературная работа откладывались. В общем сам собой у нас сложился неписаный кодекс поведения, без которого настоящая команда не может существовать.

Но вернусь к Инне Борисовой. Для «акклиматизации» в газете ей потребовалось совсем немного времени, она быстро впряглась в редакторскую лямку и тянула ее наравне с другими, не требуя никаких послаблений как единственная леди в мужском коллективе, — когда надо было, сидела в газете допоздна, срочно писала в номер, без посторонней помощи укрощала разбушевавшихся «чайников». И так привыкла к атмосфере мужской компании, что даже научилась не реагировать, пропускать мимо ушей, когда возбужденные спором коллеги переставали следить за чистотой своей речи. Особенно часто крепкие выражения срывались с языка у нашего «внештатника» Наума Коржавина-Манделя. Человек горячий, мгновенно воспаляющийся, он, войдя в полемический раж, не замечал, где он и кто вокруг него. Эта его слабость послужила поводом для эпиграммы: «Не ругайся Мандель матом, был бы Мандель дипломатом».

Однажды на этой скользкой почве чрезмерно раскрепощенной речи произошла такая история. Один из авторов, частенько посещавших наш «клуб»; человек воспитанный, с подчеркнуто интеллигентными манерами, услышав, какие выражения идут в ход в присутствии Инны, пришел в ужас и, когда Инна вышла из комнаты, отчитал всю братию за распущенность, хамство, недостойное джентльмена поведение. Он возмущался так искренне, стыдил так горячо, что джентльменам стало неловко, они были смущены. Через несколько дней, снова появившись в редакции, строгий блюститель чистоты речи и нравов ввязался в какой-то очень жаркий спор и распалился до такой степени, что в сердцах выругался. Все в изумлении замерли. Инну, привыкшую к постоянному гвалту, непривычная тишина заставила оторваться от рукописи. Она удивленно подняла глаза — что случилось? Раскаившиеся было джентльмены в этот момент избавились от чувства вины, молча один за другим они прошествовали к побледневшему, готовому сквозь землю провалиться падшему ангелу и стали злорадно пожимать ему руку. Раздался взрыв хохота, потрясший весь шестой этаж...

После «Литературки» Инна Борисова много лет работала в «Новом мире» и по сей день там работает. При Твардовском Ася Берзер и она были теми карриатидами, на которых держался отдел прозы журнала, через их редакторские руки прошла вся лучшая «новомирская» проза. Александр Солженицын, познакомившийся с Борисовой, когда она уже работала в «Новом мире», пишет о ней в «Бодался теленок с дубом»: «...Инна, под внешним обликом просто хорошенькой женщины — твердая, самообладательная, наблюдательная и хорошо понимающая, что к чему...» Я, знавший Инну по работе в «Литературке», могу лишь подтвердить эту характеристику...

Так получилось, что не только Борисова, большинство новичков, пришедших в наш отдел, были питомцами Московского университета. Владимир Турбин, с которым мы в университете учились на одном курсе, а тогда он уже был преподавателем на филологическом факультете, прислал ко мне своего дипломника Владимира Стеценко, рекомендуя написанную им рецензию для публикации, а его самого в качестве сотрудника. Рецензию напечатали, а Стеценко взяли к нам в отдел.

Мы позвали в газету Георгия Владимова, обратившего на себя внимание несколькими умными и острыми статьями. К сожалению, в редакции он не прижился, томился, скучал, редакционными заданиями тяготился, даже тогда, когда это была его собственная статья, вернее, статья, которую он подрядился написать, все равно тянул и тянул резину. Через несколько месяцев Владимов ушел — «развод» был без взаимных обид и попреков, абсолютно мирный, сохранились самые добрые отношения. Трудно сказать, почему газета не пришлась ему по душе. Скорее всего дело было в том, что он начал писать прозу, считал это своей главной жизненной задачей, работа же в редакции ему мешала, слишком много надо было отдавать газете не только времени, но и душевных сил. Вскоре после

ухода вместо обещанной статьи принес рассказ. О чем он был, не помню, помню, что под Хемингуэя...

Университетского происхождения «кадром» был и Феликс Кузнецов. Он стал еще одним заместителем Бондарева. После университета Кузнецов года два проработал в одном из совинформовских журналов, предназначавшихся для зарубежных читателей, — это было литературное захолустье, и когда ему предложили перейти в «Литературку», охотно согласился. Его появлению я обрадовался, оно облегчало мне жизнь, сделало ее свободнее, до этого я и шага не мог ступить из «лавки», трехдневная командировка была почти неразрешимой проблемой, даже отпуск мой перенесли на неопределенное время. Мы с Кузнецовым поделили обязанности, установили «сферы влияния», хотя границы были произвольными и призрачными и такими оставались до конца нашей совместной работы.

Самым молодым сотрудником отдела оказался Станислав Рассадин. Он тоже выпускник университета, всего несколько месяцев проработал в отделе писем издательства «Молодая гвардия», занимаясь мало результативными поисками жемчужных зерен в «самотеке», — «в грамм добыча, в год труды». В Рассадине поражала ненасытная жадность к литературной работе, писать он готов был днями и ночами. В газете он стремительно набирал опыт, очень быстро стал настоящим профессионалом.

Из нашего обихода ушло слово «самородок», оно утратило свой смысл в 30-е годы: почти вся наша интеллигенция той поры состояла из интеллигентов в первом поколении, но это были в массовом исполнении «выдвиженцы» и «образованцы», отнюдь не «самородки». Откуда у мальчика-сироты (отец погиб на фронте, мать умерла, когда он был школьником), выросшего в доме-развалюхе на московской окраине за Черкизовом, в одном из Зборовских переулков, в доме, где и книг, похоже, не было (а ведь человека подталкивает к его призванию прежде всего домашняя библиотека), такой страстный интерес к литературе? Вырастившая его неродная бабушка, напоминавшая мне добрых и мудрых горьковских старух, по-моему, едва-едва знала грамоту. Рассадин поразительно много успел за школьные и студенческие годы, в газету он пришел человеком глубокой и, я бы даже сказал, рафинированной культуры.

Кажется, Коржавин, который сразу очень расположился к Рассадину, как-то назвал его «Малолеткой». В характере Станислава действительно было что-то неистребимо детское: то, чем он в данный момент был увлечен, становилось обожаемой игрушкой, то, над чем работал, поглощало его полностью, он был по-детски нетерпелив, хотел, чтобы его желания осуществлялись сразу, немедленно, по-детски радовался своим первым публикациям, обижаясь, нередко по сущим пустякам, по-детски надувался. Прозвище это — «Малолетка» — надолго, почти до его седых волос закрепилось в нашей компании за Рассадиным. Но в нем не было ничего для него обидного, не было возрастного высокомерия старших.

Возрастная иерархия у нас стерлась очень быстро — и не только потому, что все стали на «ты», но и по самой сути сложившихся отношений. Очень сдружились, например, наш «внештатник» Борис Балтер, самый старший из нас, ему было сорок, и тот же Рассадин. И дружба эта была на равных. Отсутствие внутреннего ощущения возрастной разницы приводило даже к комическим ситуациям. Однажды в каком-то споре Балтер стал обличать тех, кто в войну отсиживался в тылу, совершенно не замечая, что его гнев — «все вы» — обращен и на тех, кто по возрасту никак не мог служить в армии. Рассадин, указывая ему на это обстоятельство, заметил насмешливо: «Если ты имеешь в виду меня, то я действительно тогда еще отсиживался на горшке».

Когда вели предварительные переговоры с Рассадиным, в разговоре всплыло, что нам нужен сотрудник, который занимался бы поэзией, отбором и публикацией стихов. Рассадин сказал, что один из его сослуживцев в издательстве, работающий в редакции братских литератур, молодой поэт, кажется ему очень подходящей кандидатурой на это место. Этого молодого поэта пригласили прийти познакомиться. Помню первое впечатление: какое-то удивительное изящество в жестах, в манере держаться. Он производил приятное впечатление, этот сдержанный, немногословный — любителей витийствовать, отчаянных спорщиков у

нас уже было предостаточно, — с грустными глазами и неожиданно быстрой улыбкой парень. Выяснилось, что он фронтовик, что он, Бондарев и я одногодки, что в нашей военной судьбе немало общего (потом мы узнали о его трагедии — отец расстрелян, мать долгие годы пробыла в лагере и ссылке). Спросили, чьи стихи он любит, — вкус у него был хороший. Где учился? «Окончил Тбилисский университет. А вообще с Арбата, грузин московского разлива», — пошутил он. Это был Булат Окуджава.

Через некоторое время, когда мы стали уже командой, сблизилась, у меня дома по какому-то поводу, а может быть, и без повода — просто охота была собраться вместе и за стенами редакции, были запланированы посиделки, а точнее то, что в прошлом веке называлось прекрасным словом пирушка. Подошел ко мне Рассадин: «Слушай, Булат не только пишет стихи, но сочиняет прекрасные песни. И очень хорошо поет. Попроси его взять с собой гитару. Не пожалейшь». Булата особенно упрашивать не пришлось — это было время, когда он пел не только для слушателей, но и для себя. Потом, когда он регулярно выступал с эстрады, стал великолепным профессионалом, что-то у него получалось лучше, отточнее, но не было, мне кажется, того упоения песней, как тогда, когда мы были первыми слушателями, когда он пел и для себя.

Песни Булата Окуджавы — особенно песни о нашей военной судьбе — все, что он пел в тот затянувшийся почти до рассвета вечер, — ему даже пришлось остаться у нас ночевать, — потрясли меня. Нет, «потрясли» — стертое, в данном случае слабое слово. Это было одним из самых сильных, переворачивающих душу переживаний, которые были подарены мне искусством за все, немалые уже, прожитые годы. У меня давняя, с юных лет идиосинкразия к патетике, к громким словам, чем больше они напрашиваются, тем сильнее меня тянет к иронии, но тут я с некоторым пафосом предрек Булату: «Через год тебя будет знать вся страна».

После того вечера почти всегда, когда мы у кого-то собирались, Булат пел, и каждый раз это было для меня необыкновенным праздником. Я готов был его слушать бесконечно. Потом Окуджава стал выступать публично. Первый раз у нас в «Литературке» на одном из ставших постоянными — то ли «вторнике», то ли «четверге», не помню уже, в какой день недели бывали эти культурные мероприятия для «своих» и избранных «посторонних». В тот вечер в наш небольшой конференц-зал на шестом этаже мы правдами и неправдами провели максимальное количество друзей и знакомых. Нам так хотелось поделиться с ними песнями Булата, одарить этим богатством, этим счастьем всех, кого только возможно. Окуджаву стали все чаще и чаще приглашать в разные компании, клубы, Дома, записывать его песни на магнитофон, переписывать, распространять пленки. Это было как лесной пожар. Окуджава пошел нарасхват.

Все эти бурные события в жизни Булата — шутка сказать, вот так, на наших глазах к нему пришла известность, он становился кумиром взрывообразно расширяющегося круга публики, — не привели, однако, к тому, что он стал манкировать своими обязанностями в газете. Мы сами старались, чтобы режим у него был посвободнее, чтобы он мог выступать почаще, а в остальном он не отделился от команды, вместе со всеми вел бой местного значения на планерках и летучках, упорно дрался за те стихи, которые ему представлялись заслуживающими публикации в газете. У него вышел сборник «Острова» в «Советском писателе» — до этого, до прихода в газету, первая его книжка «Лирика» была издана в Калуге, — он подарил мне «Острова» с такой надписью: «Лазарь, это в память минувших битв и в честь грядущих новых. С любовью». И подписался — Ванька Морозов. Это герой одной из первых его песен.

В нашу команду входил и Валентин Берестов. Он был взят в газету самим Смирновым и должен был заниматься стихами. Ничего из этого не вышло, Берестов с работой не справился, он был напуган, смят, раздавлен мощным напором поэтов, жаждавших печататься в «Литературке». Валентин боялся сидеть в своем кабинете, прятался у нас или в библиотеке. Не прошло, кажется, и месяца, как выяснилось его полное служебное несоответствие занимаемой должности, так это

вроде называется на бюрократическом языке. На его место и взяли позднее Окуджаву. Но Сергей Сергеевич не дал Валентину уйти из газеты, что тот порывался сделать, а перевел его на должность слескара при секретариате. Но все или почти все, что он делал, или заказывалось нами, или шло через наш отдел. А главное, сам он иного места, чем у нас, не видел для себя в газете. И секретариат быстро отказался от попыток распоряжаться им, дал ему «вольную», многие в редакции вообще думали, что он числится за нами. Я написал: Валентин Берестов — и поймал себя на том, что невольно стал улыбаться, — естественная реакция человека, вспоминаящего очень приятное. О таких, как Берестов, говорят: излучает доброту. Необычайно деликатный, неспособный мухи обидеть, он был постоянно полон дружеского расположения к окружающим. Над ним посмеивались, главным образом над его отрешенностью от практической стороны жизни, тут он часто попадал впросак — он никогда не обижался, не сердился и совершенно безоруживал насмешников, потому что — редкая и прекрасная человеческая черта — сам к своим слабостям относился с юмором. Высокий, худой, нескладный, сутулящийся — словно стесняющийся своего роста и старающийся не бросаться в глаза, занимать поменьше места, — плохо видящий (когда в «Литературке» сделали вестибюль-«аквариум», Валентин прошел через стекло и так порезался, что пришлось его отвозить в Склифосовского), рассеянный, вернее погруженный в себя, Берестов своим обликом напоминал сытранного до войны Черкасовым Жака Паганеля в фильме «Дети капитана Гранта».

По образованию он археолог, много ездил в археологические экспедиции. Как-то мы вместе отдыхали в Коктебеле, он повел ватагу детей на тамошние раскопки и необычайно увлекательно рассказывал о работе археологов. Разинув рот, его слушали не только дети, но и мы, взрослые. Вообще он великолепный рассказчик, все истории, которые он рассказывает, превращаются в юмористические новеллы. К тому же он обладает того же свойства артистическим даром, что Иракий Андроников, — Валентин перевоплощался в героев своих историй — то в Алексея Толстого, то в Маршака, то в Чуковского. Рассказы его имели большой успех, и на наших «посиделках» ему даже заказывали: расскажи то или расскажи это.

Я хорошо запомнил рассказ о том, как Маршак листает присланную ему молодой поэтессой книгу (с Маршаком многие из нас были знакомы, бывали у него и могли оценить точность берестовского перевоплощения): «Хорошее название... Обложка сделана со вкусом... Какое прелестное юное лицо... Очень музыкально... Отличный язык... Интересно — стихотворение о Пушкине... Что это: «И снова как огни мартенов...»? Какие мартены в пушкинское время?.. И рифма вымученная — «мартенов-Мартынов»... «А Пушкин пил вино, смеялся, дела его прекрасно шли...» Что он купчик? Какие дела?.. «И поводила все плечами и улыбалась Натали...» Что она цыганка из хора? Поводила плечами!.. Она же светская женщина!.. Что за убогий язык?.. Название мажнерное... Безвкусная обложка... И лицо какое-то непривлекательное...»

Завершая представление нашей команды, назову еще «внештатников», отечавших на приходящие в редакцию письма. Они были на «сдельщине», заработок их определялся количеством написанных ими ответов на письма читателей. Заработок был невелик, за письмо платили совершенно мизерную сумму — один рубль, но для тех, у кого ничего или почти ничего не печаталось, кто работал в это время над большой вещью и не мог поэтому служить (а такая ситуация была у двоих наших «внештатников»), это был едва ли не единственный постоянный источник существования — пусть довольно скудного.

Наши «внештатники» тоже были не с улицы. Двое — из постоянных посетителей нашего «клуба». Бориса Балтера предложил Бондарев, если я не ошибаюсь, они оба занимались в семинаре, который вел в Литературном институте Константин Георгиевич Паустовский, во всяком случае — это точно — оба считали Паустовского своим учителем и связаны были этим. Сарнов и я привлекли Наума Коржавина. Третий — Владимир Максимов — попал к нам по рекомендации то ли Борисовой, то ли Рассадина, точно уже не помню. Все они относились к своему

«отхожему промыслу» без высокомерия, добросовестно выполняя не очень-то благодарную работу. Серьезнее всех занимался этим делом Коржавин, за каждым письмом или малограмотными стихами для него вставал живой человек, его судьба, в которую он старался вникнуть, он мог убить целый день на обдумывание и сочинение одного письма. «Внештатники» проводили в редакции куда больше времени, чем требовалось для того, чтобы получить письма и сдать ответы на них, принимали близко к сердцу все, что происходило на шестом этаже, они чувствовали себя не «болельщиками», а «игроками» нашей команды. Позже Инна Ивановна как-то попросила меня, нельзя ли ее соседке-студентке пройти у нас что-то вроде практики, освоить азы газетно-редакторской работы: подготовку материала для набора, проверку, ответы на письма и т. д. «Очень способная девочка, — так мотивировала она свою просьбу. — Зовут ее Ира Янская». Девочка действительно оказалась способной, все схватывала на лету, быстро освоилась и прижилась в газете, стала критиком...

Без них хорошей газеты не сделать

Сергей Сергеевич внушал нам совершенно справедливую мысль, что, если мы не восстановим добрых отношений с писателями, которые при кочетовском режиме порвали с «Литературкой», а среди них были самые популярные, самые талантливые художники, хорошей газеты нам не сделать. Надо развеять предубеждение, внушить, что газета не корректирует, а резко меняет курс, иначе ничего не получится.

Ключевой фигурой здесь был Илья Эренбург, которого «Литературка» в кочетовские времена постоянно поносила и оскорбляла с особой злобой, он был для Кочетова и его единомышленников одним из главных врагов. Если в «Литературке» начнет выступать Эренбург, то для писателей и для многих читателей это будет означать, что литературная политика газеты изменится коренным образом. Мы ввели после Третьего съезда писателей новую рубрику «Писатель за рабочим столом», и вторым напечатанным материалом была статья «У Ильи Эренбурга», написанная И. Вайнбергом. Автор статьи работал в издательстве «Советский писатель», редактировал книгу Эренбурга, Илья Григорьевич к нему хорошо относился. Со стороны газеты это был знак уважения и доброго отношения к писателю...

Скажу тут же, что подобным образом мы старались наладить хорошие отношения и с некоторыми другими писателями, которым в прежние времена доставалось от «Литературки». Напечатали тогда же, в июне 1959 года, статью Льва Озерова о поэзии Анны Ахматовой, кажется, после постановления ЦК 46-го года газета не сказала о ее стихах ни одного доброго слова. Напечатать такую статью было не просто. Статью потребовали в ЦК. Поликарпов, прочитав ее, был недоволен тем, что обойдено постановление ЦК, в котором, как он сказал Михмату, содержалась, может быть, чересчур резкая, но справедливая критика Ахматовой. Михмат попытался уговорить Озерова реализовать это руководящее замечание. Озеров, поддержанный нами, уперся: «Лучше не печатать». После долгих препирательств, в глубине души понимая, что мы правы, Михмат сдался. Махнул рукой: «А, была не была». Одно замечание Поликарпова все-таки учли — статья называлась «Дочь века» (Поликарпов этого не забыл и потом нам припомнил), дали другой заголовок — «Стихи Анны Ахматовой». Статья эта нынче может показаться вегетарианской, а тогда она была для читателей обжигающе острым блюдом. Конечно, нам очень хотелось напечатать в газете стихи Ахматовой. Но это не было просто задабриванием автора, в котором мы были заинтересованы, — статья об Ахматовой была очень важна для обозначения позиции газеты. Но при этом, конечно, отдавали себе отчет, что после такой статьи легче будет разговаривать с Ахматовой, просить у нее стихи.

Через несколько месяцев, когда Ахматова приехала в Москву, мы с Галиной Корниловой, которая была с Анной Андреевной знакома и договорилась о встре-

че, отправились к ней, — Ахматова, как обычно, остановилась у Ардовых. Приняла она нас в маленькой темной комнатке, о которой рассказывается во множестве мемуаров, что избавляет меня от ее описания. Я не видел Ахматову со знаменитых вечеров московских и ленинградских поэтов в апреле 46-го года. Она «сильно поседела и расплнела. Держалась с царственной простотой — других слов я не подыщу. У нее уже были приготовлены предназначенные «Литературке» стихи — каждое на отдельном листке. Без долгих предисловий протянула листочки: «Читайте». Когда мы, передавая друг другу листочки, прочитали, спросила:

— Годится?

— Да, безусловно, — сказал я и стал благодарить. — Большое спасибо, для газеты это очень важно.

— Понемногу начинаю торговать, — улыбнулась Ахматова.

Фраза была неожиданной, и я ее запомнил. Намеренно или не намеренно, скорее всего намеренно, Ахматова разрушала атмосферу аудиенции у высокого лица, возникшую из-за нашей почтительности и скованности. Визит наш продолжался совсем недолго — полчаса, может быть, чуть больше. Я был очень рад, что получил для газеты подборку стихов Ахматовой, и несколько раздосадован тем, что все произошло быстро, по-деловому, никакого разговора не получилось. А как интересно было бы разговорить Анну Андреевну, но, увы, я не решился...

Это была, по-моему, первая после военных лет газетная публикация стихов Ахматовой. Одно из них — знаменитая «Эпиграмма»:

Могла ли Биче, словно Дант, творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, боже, как их замолчать заставить!

Две последние строки тут же стали поговоркой. Вскоре «Литературка» напечатала в переводе Ахматовой стихотворение Переца Маркиша, но добывал его не я, по-моему, его принесла вдова поэта — отмечалось его 65-летие...

Теперь об Эренбурге. После появления статьи Вайнберга, не сразу, выждав для приличия какое-то время, я позвонил Илье Григорьевичу и попросил принять нас. Он назначил день и час. Решили идти к нему вдвоем — Сарнов и я. Сарнов лучше меня знал раннего Эренбурга, а вдруг разговор зайдет об этом, нельзя ударить лицом в грязь. А главное, вдвоем было не так страшно: честно признаюсь, я боялся этого визита и не очень был уверен в его благоприятном исходе.

Некоторые основания для этого были. Мы шли к сверхзнаменитости, для любого фронтовика, и меня в том числе, он был личностью исполнителем, легендарной — не буду распространяться, об этом очень много писали. Так что понятен трепет, который я испытывал. И еще одно — я вспомнил читательскую конференцию в университете, обсуждение «Бури», на котором присутствовал и выступал Эренбург. Он говорил по тем временам вызывающе смело. Досталось тогдашней ермиловской «Литературке»: «Что такое у нас литературный процесс? — издевательским тоном говорил Эренбург. — Утром в Лаврушинском переулке писатель достает из почтового ящика «Биржевой листок», в котором сообщается, кого сегодня выдвигают, кого задвигают, кто как котируется». Позволил он себе и неслыханный тогда выпад против существующей системы руководства культурой: «Нигде, кроме нас, слово писателя не пользуется таким уважением. Ему иногда придают даже большее значение, чем делу. Это очень лестно. Но зато во Франции никого не интересует, что думает министр культуры о последней театральной премьере».

И еще я вспомнил, как жестко и обидно Эренбург срезал на конференции одного студента, выступившего вслед за тогдашней критикой с глупыми и пошлыми претензиями к роману: почему французы выглядят в произведении более интересными и духовно богатыми, чем советские люди? «Встреча читателя с произведением, — заметил Эренбург, — может происходить на разных этажах, не всегда читатель добирается до того, на котором написана книга». И нанес тяжелый удар незадачливому студенту: «Тут встреча произошла в подвале».

А если вдруг Эренбург вот так врежет нам: счет у него к «Литературке»

большой и абсолютно справедливый, начнет припоминать, может и нам рикошетом достаться?..

Эренбург жил на улице Горького в большом сером доме против Моссовета, заселенном разного рода начальством с редкими вкраплениями знаменитостей, на последнем этаже. Теперь на доме его мемориальная доска, десять лет потребовалось, чтобы «пробить» ее, московское партийное руководство всячески сопротивлялось, видимо, не могли забыть эренбургских мемуаров. Они не переиздавались — все попытки упирались в стену. Заблокировано было и собрание сочинений. Один высокопоставленный литературный чиновник, к которому мы с дочерью Эренбурга Ириной Ильиничной ходили хлопотать по этому делу, сказал нам с циничной откровенностью: «Ситуация безнадежная. Как можно издавать собрание сочинений Эренбурга без его мемуаров, а мемуары сейчас напечатать невозможно».

Эренбург принимал нас в кабинете. Книжные полки, забытые до отказа книгами, — это не удивило. Удивило бесчисленное количество всевозможных зарубежных — из разных стран — сувениров, беспорядочно рассованных всюду, где только можно было найти для них место. На стенах картины знаменитых художников, развешанные без какой-либо системы, не напоказ, а для себя, без малейшей тени музейности. А может быть, мне это показалось, потому что, по моим плебейским представлениям, таким картинам место только в музее.

Я не видел Эренбурга вблизи с той самой читательской конференцией в университете, за эти десять лет он сильно сдал. Перед нами сидел пожилой человек — худой, пиджак был ему слишком свободен, с нездоровым цветом лица, с мешками под глазами, у него не хватало нескольких зубов; когда он пошел нас провожать в переднюю, походка была шаркающей, старческой — на все это было грустно смотреть. Поваяло какой-то заброшенностью, одиночеством, хотя у этого пожилого человека было мировое имя. Но взгляд оставался живым и острым, глаза умные и молодые, реакция мгновенная, речь точна — нужные слова были под рукой, он не искал их. Эренбург много курил, от сигарет пальцы были желтые, прокуренные, он не всегда успевал стряхнуть пепел от сигареты в пепельницу, пепел падал на пиджак, на брюки, на пол.

Разговаривал с нами Эренбург вежливо, но прохладно, сотрудничать не отказался, но ничего конкретно не обещал:

— Я сейчас пишу большую вещь — книгу воспоминаний, времени на что-то еще не остается.

— Дайте нам что-нибудь из того, что написано.

— Сначала надо кончить первую часть.

Это означало: поживем увидим, посмотрим, какой станет ваша газета. Потом из первой части мы напечатали две главы и главу из второй.

Мы ушли с пустыми руками, но дверь для нас осталась открытой. Чем мы не преминули воспользоваться, стали под тем или иным предлогом бывать у Эренбурга. Как ни странно, он принимал нас. А после нескольких таких визитов расположился к нам, подобрел. Однажды спросил у меня: «Вы ведь тоже из Киева?» Сарнов потом мне выговаривал: «Промычал бы в ответ что-то невнятное или соврал бы. Ему приятно было думать, что вы земляки, ты ему понравился. Так нет, — он, утрируя, воспроизвел мою интонацию. — «Я родился в Харькове, Илья Григорьевич». Кто тебя за язык тянул?»

Потом, случалось, Илья Григорьевич и сам приглашал нас к себе — звонила Наталья Ивановна Столярова, его секретарь, с которой у меня до самой ее смерти сохранились дружеские отношения, договаривалась с нами. Бывали мы у него и на даче, он показывал выращенные им цветы — это занятие очень его увлекало, рассказывал, откуда привез семена и луковицы. Мы познакомились с его женой Любовью Михайловной, сохранившей следы былой красоты, узнали, что она художница, посмотрели некоторые ее работы. Случалось, что мы обедали или ужинали у Эренбурга, за столом Любовь Михайловна активно включалась в разговоры, хотя и не всегда впадал. Илья Григорьевич в таких случаях терпеливо, не раздражаясь, не перебивая, дослушивал до конца ее тираду, а потом продол-

жал с того места, на котором она его прервала, говорить свое. Не знаю, уместно ли здесь слово «разговоры», говорил обычно Илья Григорьевич, а мы его слушали и отвечали на вопросы, которые он задавал. Слушали, боясь пропустить слово, — в его рассказах постоянно возникали многие знаменитые люди, определившие облик нашего века, — его социальные движения, его научные открытия, его искусство, с большинством этих людей он был близко знаком, в его рассказах история словно бы оживала, переставала быть книжной, безликой.

Конечно, мы не забывали о газете. Мы упросили Эренбурга написать в новгородный 1960 года номер статью — она называлась «О Луне, о Земле, о сердце», в ней он поддерживал взятый газетой курс на дискуссионное обсуждение состояния дел в литературе, который не одобрялся на Старой площади.

Статья эта вызвала нарекания Поликарпова. Нюх у него был отменный, но иногда случалось, что он был не в состоянии сформулировать свои претензии и обвинения. Чувал, что не то, но в чем конкретно крамола, не мог внятно сказать, или сотрудники не подготовили ясных соображений. В подобных случаях он прибегал к стереотипу: настораживают, мол, намеки, недомолвки, мутные, туманные высказывания. Именно это он выложил Михмату, вызванному в связи со статьей Эренбурга в очередной раз на ковер.

Да, о газете мы не забывали, но нас приводили к Эренбургу не только газетные дела, а и жгучий интерес к нему, к тому, что он рассказывал. Некоторые истории, услышанные от него, я хорошо запомнил и попытаюсь здесь воспроизвести — наверное, не всюду теми словами, которыми говорил он, но за точность смысла ручаюсь. Большая часть разговоров так или иначе вертелась вокруг воспоминаний, над которыми он работал и в которые был погружен. Часто он говорил: «Расскажу вам то, что напишу в третьей книге», — а иногда, поведав какую-то историю, которую намерен написать, добавлял: «А сейчас расскажу то, что не напишу».

Чем-то мы ему, видимо, были интересны, скорее всего тем, что представляли новые поколения, которые он знал плохо, в его глазах мы были детьми XX съезда, а кроме того у меня сложилось впечатление, что не так много было вокруг него людей, с которыми он поддерживает тесные отношения, раз, два и обчелся, мы их почти всех знали...

Однажды он дал нам толстую папку — это была рукопись первой книги мемуаров — и попросил ее прочитать. Не для того, чтобы выбрать какие-то главы для публикации, просто он хотел бы знать наше мнение, у него к нам, когда мы читаем, будет несколько вопросов, сказал Эренбург, он хочет с нами посоветоваться.

Мы были удивлены и польщены. Но когда мы явились к нему с прочитанной рукописью, еще больше нас удивили его вопросы.

Они были двоякого рода. Во-первых, он хотел выяснить, будет ли ясно современным читателям то или иное место, дойдет ли? Смысл этих вопросов я тогда не понял до конца. Только потом, перечитывая «Люди, годы, жизнь», — Илья Григорьевича уже не было на свете, — я уяснил, что его беспокоило, потому что открыл для себя важную особенность этой книги: чем больше знаешь, узнаешь, тем больше извлекаешь из нее информации. Многое спрятано в придаточных предложениях, в намеках, в недомолвках.

Но особенно удивили нас другие его вопросы, напечатают ли эту главу, проходима ли другая, можно ли пробить третью? Мы были поражены, мы не сомневались, что в этом он разбирается куда лучше, чем мы. Конечно, цензура будет на него наседать, поживы для нее в его воспоминаниях хоть отбавляй, но он опытный, закаленный боец, возможности у него большие, с ним не могут не считаться — ведь он Эренбург, так что лишнего он им не отдаст, отобьется. Но, кажется, он свои возможности оценивал не так высоко, как мы.

А может быть, за поразившими нас вопросами был еще один, не угаданный нами смысл. Он хотел убедиться, современна ли написанная им книга, задает ли он большие проблемы нашей истории и нашего сегодняшнего бытия? Если в ней много крамольного, труднопроходимого, если его ожидают нелегкие бои с

редакторами и цензорами, значит, он написал нужную современникам, сражающуюся со сталинистской идеологией вещь. Когда он задавал нам вопросы — «проходимо», «непроходимо» — он имел в виду и это: на передовой он или отсиживается в тылу, боец он, участвующий в наступлении, или пенсионер, погруженный в ностальгические воспоминания о юности. Вот что его беспокоило...

Разговоры о рукописи и в связи с рукописью — к ней много раз возвращались и Эренбург, и мы — были долгими, часто уходящими далеко в сторону.

В предисловии к недавнему изданию мемуаров Эренбурга, первому изданию, в котором восстановлены все купюры, все места, изуродованные цензурой (жаль, что они не набраны для наглядности, как в воспоминаниях Г. К. Жукова, другим шрифтом), Бенедикт Сарнов передает некоторые из этих разговоров:

«Помню, — пишет Сарнов, — особенно поразило нас, когда он однажды спросил:

— А как по-вашему, главу о Бухарине напечатают?

Л. И. Лазарев ответил в том смысле, что решить этот вопрос может только Хрущев.

— А что? Хрущев, по-моему, должен неплохо относиться к Бухарину, — предположил я.

— Вы думаете? — быстро повернулся ко мне Эренбург.

Я промямлил что-то в положительном смысле, хотя уже не так уверенно.

— Ну, мне он это просто говорил, — сказал Илья Григорьевич.

Естественно, у нас создалось впечатление, что для него не составит труда как-нибудь при случае выяснить этот вопрос (как и любой другой) непосредственно с самим Хрущевым.

Но почему же тогда он интересуется мнением на этот счет таких, мягко говоря, не слишком влиятельных особ, как мы?

Загадка эта вскоре разъяснилась. Прочитав нам как-то письмо читателя, начинавшееся словами: «Неужели вы не можете сказать Н. С. Хрущеву...», — Эренбург раздраженно проворчал:

— Они там думают, что я с Хрущевым чуть ли не каждый день чай пью.

И вот тут-то и завязался тот разговор, ради которого я счел возможным удариться в эти воспоминания.

Кто-то из нас спросил:

— Илья Григорьевич! А вы, когда писали главу о Бухарине, рассчитывали ее напечатать?

— Во всяком случае, я писал ее для печати, — ответил он. — В первой книге, которую я сейчас закончил, есть только одна глава, которая пойдет в архив. Это — глава о Троцком. Я сам не хочу ее печатать.

В ответ на наш немой вопрос он пояснил:

— Я встретился с ним в Вене, в 1909 году. Он очень мне не понравился.

— Чем?

— Всем... Авторитарностью, отношением к искусству... Может быть, даже из-за этой встречи я решил тогда отойти от партийной работы... Я не хочу сейчас печатать эту главу, потому что мое отрицательное отношение к Троцкому сегодня может быть ложно истолковано... А все остальное хочу напечатать... Вот вторая книга, над которой я сейчас работаю... С ней будет сложнее. Из нее дай бог чтобы мне удалось напечатать две трети. А треть пойдет в архив...

Он помолчал, пожевал губами и продолжал, обращаясь, кажется, уже не к нам.

— С третьей книгой будет еще сложнее. Из нее только треть будет напечатана. А две трети пойдут в архив... Ну, а что касается четвертой и пятой книг, то они, я думаю, целиком пойдут в архив...»

А теперь дополню воспоминания Сарнова. Разговор о Бухарине имел еще одно ответвление. Зашла речь о политических процессах 30-х годов. Я спросил, почему подсудимые так вели себя на суде, почему они давали такие чудовищные показания, ведь эти кровавые спектакли шли почти без сбоев, не заменяли ли их статистами (тогда об этом много было разговоров)?

— Не знаю,— ответил Илья Григорьевич.— Здесь много страшных тайн. Может быть, когда-нибудь они откроются. Все ли только? — он помолчал и стал рассказывать.— Вскоре после того, как я приехал из Испании, состоялся процесс так называемого «право-троцкистского блока». Мне прислали билет в Колонный зал, где происходил процесс, и дали понять, что уклониться нельзя. Лучше всех, ближе всех я знал Бухарина — мы были в юности друзьями. Мне кажется, что на процессе это был он, Николай Иванович, но он был на себя не похож. Это был его голос, а говорил он не своими, чужими словами. То, что он говорил, и даже, как он говорил, было для него немыслимо. А как этого добились, не знаю...

Эренбург считал, что нормальная логика бессильна что-нибудь объяснить в этом кровавом кошмаре. Он вспомнил историю реабилитации Мейерхольда. Следователь, который пришел к нему по этому делу, был молодой человек, из военных юристов, от литературы и искусства он был очень далек.

— Он сказал, что в деле Мейерхольда фигурирую я, Пастернак и Олеша. Спросил, что я знаю о Пастернаке и Олеше? Я ответил, что они живы-здоровы и никогда не «привлекались». Вы знаете, он мне не поверил. Я позвал Лену (Л. Зонина — переводчица с французского и литературовед, моя приятельница с университетской поры, работала тогда у Эренбурга секретарем; она мне тоже как-то рассказывала об этой беседе Ильи Григорьевича со следователем.— Л. Л.), говорю ей: «Покажите ему справочник Союза писателей. Он, кажется, мне не верит, что Пастернак и Олеша живы и их можно повидать хоть сегодня. Пусть запишет адреса и телефоны». Этот молодой человек, поняв, что Мейерхольд был великим режиссером, был потрясен. Это перевернуло его жизнь. Он стал собирать у писателей, режиссеров, актеров отзывы о Мейерхольде, чтобы добиться его реабилитации не только как гражданина, но и как художника. Убеждал, настаивал, стыдил робеющих. Собрал толстую папку и отнес в ЦК. После этого его убрали из прокуратуры. Такая судьба...

Рассказ о читателях, которые считают, что он, Эренбург, с Хрущевым чуть ли не каждый день пьет чай, имел длинное продолжение.

— Если бы мне пришлось беседовать с Хрущевым, если бы возникла вдруг такая возможность, я бы не стал говорить о делах литературы,— заметил Эренбург.

Нам это показалось странным. Мы считали, что это очень важная тема, и были уверены, что она больше всего волнует Эренбурга, ближе всего ему. И стали допытываться.

— Почему, Илья Григорьевич?

— Потому что это бессмысленно,— он произнес это тем тоном, которым малым детям растолковывают вещи абсолютно ясные, настолько ясные, что объяснить их трудно.— Потому что Хрущев в этом ничего не понимает. Полагается на своих помощников и советчиков — тупых, реакционных. Информация идет от Софронова и Грибачева. Знает только одно — стучать кулаком по столу. Я бы говорил с ним о вещах, которые он как политик в состоянии понять. О национальной проблеме. Не только о еврейской, но и о еврейской тоже. Здесь столько наломано дров, что долго и дорого придется расплачиваться. Не реабилитированы высланные Сталиным народы, даже те, что возвращены в родные места. Пока не поздно, надо принимать меры. А потом я хотел бы с Хрущевым поговорить о нашей дипломатической службе. Она никуда не годится. Они приучены доносить в Москву не то, что происходит на самом деле, а то, что хотели бы услышать в Москве. Это постоянный источник тяжелых ошибок, неверных решений в международной политике. А о литературе я бы не стал с ним разговаривать. Безнадежное дело...

Однако, когда на художественной выставке в Манеже в 1962 году Хрущев стал носить картины Фалька, Эренбург все-таки вступил с ним в спор, наверняка, понимал, что это бессмысленно, но промолчать не мог.

Нам не хотелось соглашаться с Эренбургом, нам казалось, что шанс все-таки есть и, если представится случай, стоит все-таки попытаться.

— А может быть, можно достучаться? Ведь у него есть здравый смысл.

— Нет, нельзя,— отрезал Илья Григорьевич.— У меня есть опыт. Он принимал меня с Корнейчуком по делам Совета мира. Было это вскоре после скандала с Зоценко — тогда на встрече с английскими студентами. Когда кончили обсуждать дела, я заговорил об этой истории. Кому, сказал, пришла в голову идиотская мысль вытолкнуть Зоценко на встречу с этими мальчишками и девчонками. Это же провокация. Что он мог ответить на вопрос: признаете вы себя подонком или нет? Даже Корнейчук (надо было слышать, с какой интонацией он это произнес.— Л. Л.) и тот поддержал меня. Но у нашего премьера все можно прочесть на лице: не доверял, думал обведут интеллигенты вокруг пальца. Вижу, что уже имеет информацию и составил мнение. И стоит на этом. Я пытался спорить, доказывать. Непробиваем. На этой неприятной ноте стали мы прощаться. Видимо, он не хотел, чтобы мы ушли с таким впечатлением, был тогда заинтересован в хорошем отношении интеллигенции. Удержал нас. И вдруг стал рассказывать, как страшно было в последний год жизни Сталина, когда раскручивалась антисемитская кампания вокруг дела «убийц в белых халатах». На одном из последних заседаний Политбюро, на котором присутствовал Сталин, Сталин, заговорив о евреях, сказал: «Я удивляюсь, что до сих пор нет эксцессов на предприятиях». Это был призыв организовывать погромы. Мы тогда не могли не то что друг с другом, с женой в постели откровенно разговаривать. Но все, не сговариваясь, даже Берия, сделали вид, что такого разговора не было. Это было ужасно, куда он толкает страну...

К Хрущеву Эренбург, по-моему, относился хорошо, считал его великой заслугой разоблачение на XX съезде сталинских преступлений, освобождение из лагерей и тюрем и реабилитацию невинных, хорошо относился, но не без иронии. Впрочем, тут для него, кажется, вообще «священных коров» не было. С удовольствием он повторял шутку, услышанную от Евгения Шварца: «А вы, друзья, как ни садитесь, только нас не сажайте». Я не помню, чтобы сам он шутил, редко смеялся, но почти всегда был ироничен. Много из того, что он рассказывал, было окрашено иронией.

— Когда я приехал в Москву незадолго до Первого съезда писателей, меня как-то пригласили к Горькому на встречу писателей с руководителями партии и государства. Были почти все, кроме Сталина. Это была не первая такая встреча — все друг друга знали. Новым человеком был я, меня представляли начальству. В Москву как раз дошла моя книга, вышедшая за границей,— «Бурные приключения Ластика Ройтшванца». Все отпускали мне комплименты: какая смешная, остроумная книга. И, как сговорившись, добавляли: не кажется ли вам, что ее могут использовать антисемиты? А Каганович сказал: «Ваша книга может быть воспринята как выражение еврейского буржуазного национализма». Он уже тогда был готов...

Об одном члене редколлегии «Нового мира» — еврее, который проявлял особую бдительность к тем местам мемуаров «Люди, годы, жизнь», где речь шла об евреях, об антисемитизме, настаивал на купюрах, на перестраховочной правке, Эренбург сказал презрительно:

— Шабес-гой наоборот,— и пояснил.— Правоверные евреи нанимали на субботу специального слугу-инверца. Этот слуга должен был делать все, что запрещено евреям. Этот тоже старается угодить хозяевам, угадывая их желания...

Вернувшись из командировки по делам движения сторонников мира в Швецию, Илья Григорьевич делился впечатлениями:

— В маленьком городке секретарь коммунистической ячейки сказал мне, думая, что очень меня обрадует: «Мы создали организацию сторонников мира. Все коммунисты и еще пастор, но он абсолютно свой, проверенный человек». А я вспомнил: как-то у меня был с визитом знакомый француз. Мы вышли пройтись и потом зашли в кафе, что рядом с моим домом, выпить кофе. Зная, как у нас готовят кофе, когда официант принес, спрашиваю: «Вы кипятили кофе?» Он с обидой: «Не беспокойтесь, товарищ Эренбург, два раза». Вот так эти шведские коммунисты.

Об одном высокопоставленном китайском деятеле Эренбург рассказывал:

— Когда-то он познакомил меня со своей женой. При встрече спрашиваю из вежливости: «Как поживает ваша жена?» У китайцев не принято огорчать дурными вестями. Радостно улыбается: «Спасибо, хорошо. Она немножко сошла с ума».

Многое в нравах, прежде всего в политических нравах, этой страны его тогда тревожило и возмущало:

— Когда они выступили с заявлением, что американцы ведут бактериологическую войну, все поверили, даже Жюлио Кюри. Только Ив Фарж вытащил меня в коридор, он был вне себя: «Что за чудовищную липу они затеяли!»

Эренбург сказал об этом мимоходом, он вспоминал Ива Фаржа, его трагическую гибель, а о бактериологической войне так, к слову, как о том, что мы, конечно, знаем. Ему и в голову не приходило, что мы можем этого не знать. Уровень нашей осведомленности или глубину неосведомленности он и представить себе не мог. А мы просто рты разинули. И так бывало не раз...

Эренбург делал все, что мог, чтобы для нас не прервались гуманистические традиции — русская, европейская. Он всегда с отчаянным упорством и мужеством защищал культуру, защищал в те времена, когда за малую пядь ее приходилось рисковать не только благополучием, но и жизнью. Он писал о красоте русских церквей в начале тридцатых, когда об этом и заикнуться боялись. Он писал о великих ценностях западной культуры во второй половине сороковых, когда шла истребительная война против всего зарубежного, даже французские булки были переименованы в городские...

Эренбург был крупной, выдающейся личностью — человек редкого ума, уникального жизненного опыта, поразительного кругозора в искусстве, культуре, политике, истории. Я уже не говорю о том, что поэт божьей милостью, лучшие стихи его запомнились на всю жизнь, замечательно начинавший сатирик, блистательный эссеист, равного которому в наше время не было, автор мемуаров, сравнение которых с «Былым и думами» Герцена стало чуть ли не общим местом многих литературоведческих работ. Я смотрел на него снизу вверх, и это был естественный, без малейшей экзальтации взгляд, — такой была реальная, трезво осознаваемая мною дистанция между нами.

Да, он не реализовал себя как сатирик, да, некоторые пухлые его романы были мертворожденными, да, отдал дань в публицистике распространенным заблуждениям и ложным идеям, да, маневрировал, чем-то поступался, наступал на горло собственной песне. Все это так, все это я знаю. Но и сегодня, вспоминая его, я думаю о том, что он сделал, дал нам, с великой благодарностью.

Василию Семеновичу Гроссману я позвонил по собственной инициативе. Я не был с ним знаком и ни разу его не видел. Мне кажется, что в те годы на всяких мероприятиях, проводившихся в Союзе писателей, — собраниях, обсуждениях, вечерах — он вообще не бывал, иначе кто-нибудь да показал бы мне: «А вон Гроссман». Никогда на моей памяти он не выступал в «Литературке». Видимо, сам ничего не предлагал, а к нему не обращались — ведь он был «меченый», сначала вскоре после войны неприятности с пьесой «Если верить пифагорейцам», а затем, уже на уровне большой государственной опасности, история с романом «За правое дело», травля которого была одобрена Сталиным. С таким автором свяжешься, потом неприятностей не оберешься.

Говорили, что человек он с тяжелым характером, угрюмый, нелюдимый, иметь с ним дело трудно. Спешу сказать, что в действительности все оказалось не так. За тяжелый характер принимали неуступчивость, нежелание каяться, чувство собственного достоинства. Ведь полагалось, если «наверху» по-критиковали, признавать ошибки, заверять, что больше они не повторятся, благодарить за науку — верная собака лижет руку хозяина, который ее наказывает. Советский человек должен был выработать в себе готовность унижаться — эта система публичного самобичевания была отработана и внедрена в нашу жизнь. У раба не может быть собственного достоинства...

Еще в школьные годы я прочитал гроссмановского «Степана Кольчугина».

Книга эта показалась мне не хуже, а в чем-то, может быть, и посильней горьковской «Матери». Это сравнение нынче может показаться наивным, как говорится в еврейской поговорке, «быть умнее Менделя, не значит быть умным». Но тогда, даже если книга Горького казалась скучноватой, в этом не решались признаться самому себе, почтение к ней вбивалось учителями и школой, и не только ими. Так что в моем сознании роман Гроссмана стоял очень высоко. В январе сорок третьего я на три недели попал в госпиталь и обнаружил в подшивке «Красной звезды» — к нам на передовую она попадала только случайно — подписанные знакомой по «Степану Кольчугину» фамилией сталинградские очерки. Очерки произвели на меня огромное впечатление, многое объяснили из того, что я видел и пережил. Недавно я перечитал их и убедился, что и через полвека они сохранили и душевный жар и художественную силу.

«За правое дело» поставило Гроссмана в самый первый ряд современных прозаиков, я был убежден в этом. И развернутая официальной критикой разнуданная кампания шельмования автора в глазах многих читателей, к которым принадлежал и я, не дискредитировала роман, а разоблачала эту критику — художественные достоинства книги были очевидны и неоспоримы, правда, которую она несла, завораживала. Потом на Втором съезде писателей официальная критика, чтобы сохранить лицо, делала вид, что в отдельное издание Гроссман внес серьезные поправки, и она, критика, поэтому теперь по-иному оценивает роман — вранье это предназначалось несведущей «публике», ей старались пудрить мозги.

Все это я пишу, чтобы объяснить, с каким нетерпением ждал, когда же появится продолжение гроссмановского романа. Я и позвонил Василию Семеновичу, то ли прочитав где-то информацию, то ли услышав от кого-то, что он закончил вторую книгу своего романа, называется она «Жизнь и судьба». Я решил, что мы во что бы то ни стало должны первыми напечатать главу из этой книги, наверняка рукопись будут рвать на части, редакции стараться обскакать друг друга, — надо всех опередить. И вообще — мои планы простигались дальше — хорошо бы наладить постоянную связь с таким автором, ведь Гроссман во время войны проявил себя в «Красной звезде» и как великолепный журналист...

Кажется, Василий Семенович удивился моему звонку, — я уловил это в интонации, — похоже, что редакции пока что не очень-то его осаждают, может быть, еще не пронюхали, что он кончил роман, а может быть, как ни странно, у них еще не прошел страх после той давней критической экзекуции, которой было подвергнуто «За правое дело». Сергей Сергеевич, которому я сказал, что договорился о встрече с Гроссманом, хочу попросить главу из нового романа, не пришел от этой идеи в восторг, как я в глубине души ожидал, а сказал только, что у него со времен работы в «Новом мире» очень хорошие отношения с Гроссманом, больше ничего.

— Если вам удобно, приезжайте ко мне, живу я недалеко, — сказал по телефону Василий Семенович. Жил он на Беговой, в одном из домов, построенных немецкими военнопленными. Квартира была маленькой, кубатуры той комнаты, в которой мы разговаривали, для крупной фигуры Василия Семеновича было недостаточно. При всем моем пиетете к Гроссману я не испытал ничего похожего на то напряжение, которое у меня было при первом визите к Эрэнбургу. Разговор, который, разумеется, вел Василий Семенович, пошел неторопливо, говорили и о каких-то вещах, к делу, которое меня привело к нему, отношения не имеющих. Почему-то он стал расспрашивать меня, где и в каких должностях я воевал. Когда я помянул, что осенью и зимой сорок второго — сорок третьего воевал на Сталинградском фронте, в Калмыкии, в 28-й армии, Гроссман сказал:

— Я там тоже был осенью. Тоскливый край. Трудно там было. — И добавил: — А где было легко? Легкой войны нигде не было.

Гроссман пообещал подобрать главу для публикации в «Литературке»:

— Через неделю. Это непросто. В рукописи пятьдесят листов. Надо подумать, что выбрать.

Я попросил его дать две или три главы: у начальства будет возможность выбирать и сознание, что зарплату ему платят не зря. Что-то меня в разговоре со Смирновым все-таки царапнуло, насторожило. Василий Семенович грустно улыбнулся:

— Ну, что ж, пусть отрабатывают зарплату...

Мне вообще он показался грустным. Я подумал тогда, что, закончив такую большую вещь, писатель, наверное, испытывает не только чувство радости — дело сделано, цель достигнута, но и утраты, грустного расставания с миром, в котором он прожил столько лет, опустошенности. А может быть, подумал я тогда, его огорчают какие-то домашние заботы, ведь я понятия не имею, как он живет, знаю лишь его книги.

Гроссман мне очень понравился — он был доброжелателен, с ним было просто, от него веяло высоким спокойствием мудрости. И разговаривал он со мной не только как с представителем газеты, который должен сделать свое дело и уйти, на это вполне хватило бы пяти минут, — мы проговорили довольно долго. И это было не проявление особого внимания именно ко мне, которого он видел в первый раз, чувствовалось, что его вообще интересуют люди, их жизнь, их судьба. Человек молчаливый, не любивший распространяться о себе, он предполагал к себе, умел разговаривать.

Через неделю я позвонил.

— Все готово, — сказал Василий Семенович. — Присылайте за рукописью. А если есть время и охота, приезжайте сами. Поговорим...

Конечно, охота была и еще какая. Я перед звонком думал: хорошо бы напроситься к нему снова в гости, но как об этом сказать? Нельзя быть навязчивым. А тут все разрешается самым лучшим образом. Мы распили бутылку сухого вина, и опять неторопливо разговаривали. Два места из этого разговора я запомнил. Зашла речь о Сталинграде.

— Гитлер придавал названию этого города, — заметил Василий Семенович, — какое-то символическое, даже мистическое значение. Решение штурмовать город, принятое им, было с военной точки зрения совершенно неграмотным. Ввязавшись в уличные бои, немцы потеряли то большое преимущество в авиации и танках, которое тогда у них было. Атакующие и обороняющиеся оказались в более или менее равных условиях, и дело решала сила духа, воля к победе.

Я затеял разговор о «Степане Кольчугине», стал хвалить книгу. Василий Семенович, по-моему, сначала удивился — видно, давно с ним никто об этой вещи не разговаривал. Потом насторожился — посмотрел на меня испытующе, может быть, ему почудилась в моих словах лесть. Но я рассказал, что по наивности считал тогда, что автор романа — человек того же поколения, что и герой, он, конечно, участвовал в первой мировой войне, иначе не смог бы это описать так точно. Василия Семеновича развеселил этот рассказ. И я осмелился спросить, будет ли он заканчивать «Степана Кольчугина»?

— Вряд ли, — ответил Василий Семенович, — я оторвался от этой работы. Слишком много лет прошло. Войти снова в этот мир трудно. А потом судьба Кольчугина и его поколения кончается в тридцать седьмом — тюрьмами, лагерями, расстрелами. Об этом я написал в новом романе. Придется повторяться. Ничего хорошего в таких случаях не получается. Буду писать что-нибудь новое...

Я ушел от Гроссмана с тремя главами (строго говоря, как я потом выяснил, прочитав через много лет весь роман, отрывками, каждый из которых включал две, а иногда и несколько главок) «Жизни и судьбы». С трудом сдерживал себя, чтобы не начать читать в дороге. В редакции сразу же прочел, не отрываясь. Все главы производили очень сильное впечатление — это была проза, которая рождала мысли о классике. Для тех, кто помнит роман, перечислю эти главы: о крестном пути Софьи Осиповны Левинтон и мальчика Давида от ворот лагеря до газовой камеры; о выведенном в резерв авиационном истребительном

полке, в котором после ранения оказался лейтенант Виктор; о шофере Семёнове, которого после того, как он выбрался из эшелона военнопленных, выживала старуха Христя Чуняк. Трудно проходимой через цензуру были глава о летчиках — из-за остро поставленной проблемы антисемитизма — и глава о шофере Семёнове — там Христя Чуняк вспоминает голод 1933 года. Я дал прочесть все главы Бондареву, Кузнецову и Косолапову. Все они без споров решили: берем главу о лагере уничтожения, с точки зрения цензуры она вроде благополучная, по материалу — самая трагическая, написана же выше всяких похвал.

Главу набрали, она стояла в номере. Но тут вернулся из поездки Сергей Сергеевич, главу из номера снял, о двух других, посмотрев их, даже говорить не стал. Он вызвал меня и принялся отчитывать. Он говорил, что я подставляю Гроссмана под удар, что эта глава вызовет настороженное отношение к роману, может подорвать его публикацию. Я отвечал, что не вижу в этой главе никакой крамолы, что его страх совершенно безосновательный, что у него нет никаких аргументов, опирающихся на содержание этой главы.

— Все,— сказал Сергей Сергеевич, обрывая наш ставший бессмысленным спор — договориться мы не могли,— звоните Гроссману, попросите у него другую главу.

Тут я взбунтовался:

— Звоните Гроссману сами. Я с вами не согласен. Гроссман знает, что глава мне нравится. Он уже и набор видел. А потом, что я буду говорить Гроссману, ведь никаких аргументов против публикации главы у вас нет. Только, что мы ему навредим. А это не серьезно.

Не возникли аргументы и тогда, когда Гроссман приехал в редакцию объясняться со Смирновым. Я присутствовал при этом бессмысленном, неприятном разговоре. Ничего, кроме того, что не в интересах самого Гроссмана печатать эту главу, что исключительно дружеская забота о его благополучии заставляет редакцию отказаться от публикации,— то, что я уже слышал от Сергея Сергеевича,— Смирнов не сказал. Гроссман очень резко — признаться, я даже не ожидал от него такой резкости, он мне после двух встреч казался человеком более мягким,— ответил Смирнову, что его доводы — чистое фарисейство: если он, автор, не боится возможных неприятностей, которые непонятно что в этой главе может вызвать, что же так пугает редакцию? Смирнов упорно повторял одно и то же: он думает только о благе Гроссмана, потом Гроссман убедится, что он прав, и будет ему благодарен. Спор, как и со мной, быстро зашел в тупик, и Смирнов попросил:

— Василий Семенович, дайте другую, не такую мрачную главу, мы ее сразу напечатаем.

— Я подумаю,— ответил Гроссман и вышел, не прощаясь...

В коридоре он, еще не остыв, бросил:

— Хороши мои друзья. Их забота обо мне выражается в том, что они меня не печатают.

Кого он имел в виду, кроме Смирнова, почему сказал в множественном числе «друзья», я тогда не понял. Выяснить, естественно, не стал. Вдруг Василий Семенович спросил у меня:

— У вас нет срочных дел? Пойдемте вместе пообедаем.

Он был расстроен и ему не хотелось оставаться одному — догадаться было нетрудно. Кажется, мы пошли в ВТО на улицу Горького. По дороге молчали, обсуждать разговор со Смирновым не хотелось, все было ясно. Я корил себя, что втянул Гроссмана в неприятную, расстроившую его историю.

Уже за столом Василий Семенович сказал: «Ладно, сделаем еще одну попытку. Я дам другую главу». После этого я несколько воспрял духом, начал расспрашивать Василия Семеновича:

— Кому вы отдали роман?

— В «Знамя»,— ответил он.

— Почему не в «Новый мир»? — выпалил я, удивившись, как же так, ведь

«За правое дело» печаталось в «Новом мире», выпалил, не подумав, что попадаю в большое для Гроссмана место.

— Потому что Твардовский, как и ваш редактор, чтобы уберечь меня от неприятностей, не печатает моих вещей. Наверное, не могут забыть, как им влетело, когда напечатали «За правое дело», — сухо ответил Василий Семенович.

— А почему в «Знамя»? — попытывался я.

— Потому что у меня есть такой рассказ о последних днях войны — «Тиргартен», Твардовский не стал его печатать. А в «Знамени» его взяли, набрали, а когда задержала цензура, Кожевников, как только мог, его отстаивал. Может, и романа не испугается, будет пробивать. Да и время полегче, — тем же тоном сказал Василий Семенович.

«Полегче-то полегче, да нелегкое, — подумал я. — Чуть не каждый день мы слышим в газете, как свистит над нами поликарповский кнут», — но, конечно, не стал ничего говорить Василию Семеновичу, хватит ему своих сегодняшних неприятностей...

Через несколько дней я опять поехал на Беговую к Гроссману за новой главой. На душе у меня было беспокойно, а вдруг забодает и эту главу. Ведь в той, которую мы выбрали, действительно никакой крамолы не было, а как уперся Смирнов. Если не выйдет и с этой, какими глазами мне смотреть на Василия Семеновича. Но о новой главе, напечатают, не напечатают, разговора не было. Поговорили о последних новостях. Я обратил его внимание на подловатую статью одного литератора. «А этот, — брезгливо отозвался Василий Семенович. — Большая дрянь. «Барахольщик» — этим прославился среди военных корреспондентов. Больше ничем». Когда я уходил, Василий Семенович, видно, догадавшись, что на душе у меня скребут кошки, сказал: «Не огорчайтесь, у нас ведь все дается с большим трудом». Я не нашелся, что ответить. Боже мой, он, которого газета мытарит, еще утешает меня...

Новую главу мы вскоре напечатали. Она была менее интересной, чем предыдущие. И не потому, что хуже написана, — написана так же хорошо. В ней не было законченного драматического сюжета. Вообще выбор отрывка из повести или романа для отдельной публикации — дело непростое, не всякая глава для этого годится. Главу из романа Гроссмана назвали «Сталинградские штабы», как принято, учитывая просьбу редакции «Знамени», во врезе говорилось, что роман «Жизнь и судьба» будет напечатан в журнале «Знамя».

После этого отрывки из романа появились в «Вечерней Москве», «Красной звезде», журнале «Советский воин» и «Литературе и жизни». С последней из перечисленных публикаций — в «Лижи» — связана весьма огорчительная для меня история.

Гроссмана связывали долгие годы тесной дружбы с Андреем Платоновым. Во время войны Василий Семенович привел Платонова в «Красную звезду», уговорил Ортенберга, главного редактора газеты, взять Платонова корреспондентом, не считаясь с тем, что официальная репутация у Платонова оставляла желать лучшего. Смерть Платонова была для Гроссмана тяжелым ударом. Очень огорчало Василия Семеновича, что Платонова замалчивают, книг его не издают. За девять лет, прошедших после его смерти, вышел всего один сборник, и об этом сборнике нигде ни одной строчки, ни одного слова. Все это мне рассказал Василий Семенович. Сейчас, когда кончена работа над романом, он смог наконец выполнить свой давний долг — написать статью о Платонове.

Я попросил у него эту статью для газеты. Статья во всех отношениях была хороша — и написана прекрасно, и своеобразие платоновской прозы раскрывала пронизательно и глубоко, и напоминала о высокой миссии литературы, которая, как он писал, «превращает духовное богатство, сердце отдельного человека в достояние всех, но одновременно литература обогащает человека достоянием других людей, жаром сердец ушедших поколений».

Однако напечатать статью Гроссмана не удалось. На редколлегии я потерпел фиаско. Формально отказ выглядел так: нет газетного повода для выступления, сборник Платонова вышел три года назад, а мы рецензируем книги толь-

ко последнего года, и юбилея, круглой даты у Платонова нет. Но за этим стояло иное: один идейно неблагополучный писатель пишет о другом, тоже идейно весьма сомнительном. Как на это посмотрят в поликарповском ведомстве? Разговор на редколлегии мне пришлось выслушать малоприятный: я подставляю газету под удар. Дело в том, что статья Гроссмана начиналась такими словами: «Известность писателя не всегда находится в полном и справедливом соответствии с его действительным значением и истинным местом в литературе. Время — генеральный прокурор в делах о незаслуженной литературной славе. Но время — не враг истинным ценностям литературы, а разумный и добрый друг им, спокойный и верный их хранитель». Мне сразу же напомнили, что за подобную мысль моя собственная статья не так давно была подвергнута суровой критике на Старой площади. Чего я хочу, чтобы нам снова вломили? И еще в одно место статьи Гроссмана меня ткнули: «Мне хочется хотя бы коротко рассказать о Платонове, — писал Гроссман, — напомнить читателю о превосходном писателе, о мастере с трудной судьбой, чьим книгам, по моему мнению, суждена долгая трудовая жизнь, и чьи еще не изданные рукописи ждут издания». Как я мог предлагать такое в печать: ведь совсем недавно за похожую историю газета получила тяжелую руководящую оплеуху. Е. А. Фурцева (она была тогда членом Президиума ЦК КПСС и курировала культуру) на инструктивном совещании в ЦК именно за это подвергла критике статью Инны Борисовой о Всеволоде Иванове. В статье говорилось, что несколько вещей у писателя не опубликованы, лежат в рукописи. «Получается, — возмущалась Фурцева, — что Советская власть зажимает этого писателя. А романы его не печатаются, потому что заумны».

Гроссман предложил отвергнутую «Литературкой» статью о Платонове в «Литературу и жизнь», и там ее напечатали. После этого он и дал им отрывок из «Жизни и судьбы». Когда статья Гроссмана появилась в «Лиж», у меня состоялось колючее объяснение с начальством. «Если «Лиж» не боится печатать то, что мы из перестраховки бодаем, значит, надо закрывать «лавочку», — на такой ноте закончил я этот разговор. И к этому шло — рукоприкладство деятелей со Старой площади по отношению к «Литературке» стало делом обычным, вошло в привычку, и запуганное руководство газеты одну за другой сдавало позиции.

Но и после этой позорной для «Литературки», капитулянтской истории со статьей о Платонове Василий Семенович еще дважды обращался ко мне с просьбами. Он рассказал мне, что его самый близкий друг, известный переводчик с восточных языков Семен Израилевич Липкин продолжает писать стихи. Продолжает, потому что начинал Липкин не переводами, а собственными стихами, в юности его благословил Багрицкий, его стихи знал Мандельштам. Много лет стихи Липкина не печатались, они были не по погоде. Наконец, в прошлом году «Новый мир» опубликовал подборку его стихов. И тут же в «Известиях» появилась разгромная реплика «Альбомные стихи», причем безошибочно обрушились на самое лучшее стихотворение — пошлость, мещанство, обывательские сплетни. А так как реплика редакционная — вокруг стихов Липкина сразу же образовалось поле страха. Надо бы это поле преодолеть, напечатать его стихи, они того заслуживают. Липкин принес стихи, они действительно были хороши, они принадлежали к тому высокому поэтическому миру, который почти не имел доступа в печать. Одно стихотворение — «Сад на краю пустыни» — мы напечатали, потом оно открывало книгу Липкина «Очевидец». Проходило стихотворение не гладко, бдительных товарищей настораживали некоторые ассоциации, те, которые в Главлите называли «неконтролируемыми»:

Для чего ему, саду, слова,
Если ветками яблони всеми
Доказал он, что правда жива,
Что бесстрашны плодовые семьи
И недаром полны торжества.
Как нужна эта горькая смелость,
Эта чаша, что пьется до дна,
Для которой и жить бы хотелось,

Для которой и песня бы пелась,
Для которой и ложь не нужна!

И все-таки в январе 61-го года, за несколько дней до моего ухода из газеты, стихотворение было напечатано. Василий Семенович позвонил, кажется, он был доволен, во всяком случае, благодарил, хотя заметил, жаль, что напечатано одно стихотворение, а не подборка...

В другом случае ничего у меня не получилось. Гроссман принес в редакцию письмо, оно было связано с публикацией в журнале «Советский воин» отрывка из «Жизни и судьбы», о которой я уже упоминал. Василия Семеновича возмутило хамское поведение редакции этого журнала. «Можно письмо опубликовать?» — спросил он. Я считал, что письмо необходимо напечатать: «Литературка» обязана защищать права и достоинство писателей. Вот это письмо, из него ясно, что произошло:

«В № 21 журнала «Советский воин» опубликован отрывок из моей новой книги «Жизнь и судьба».

Отрывок без моего ведома изрезан, искарежен, исполосован редакционной правкой. Редакция без моего ведома вписала в текст свои редакционные слова. Конец отрывка не напечатан, выкинут.

Отрывку предпослано предисловие, под этим предисловием воспроизведена моя подпись. Текст этого, напечатанного от первого лица предисловия со мной не был согласован, я прочел его одновременно с читателями журнала.

Лишь не уважая работу писателя можно проявить подобную бесцеремонность.

В. Гроссман

13 декабря 1960 г.»

Письмо это было набрано, но света не увидело (оригинал его через много лет я обнаружил среди своих бумаг). Ходить по начальству, просить, настаивать Гроссман не хотел и не умел, это было противно его натуре, в редакции же некому было «пробивать» его письмо. И он махнул на это дело рукой. К тому же более серьезные неприятности свалились на него. Затянувшееся молчание «Знамени» завершилось разгромным обсуждением романа на редколлегии. Но этим дело не кончилось. Кожевников написал в ЦК доклад, и 14 февраля 1961 года во время обыска все экземпляры рукописи, черновики, подготовительные материалы к роману были у Гроссмана изъяты, арестованы. История эта во всех ее отвратительных подробностях нынче широко известна...

Долгие годы, вспоминая Василия Семеновича, я думал об его упрямой решетке книге, которая, судя по главам, что мне довелось прочитать, должна быть очень сильным и значительным произведением. Сохранилась, сохранится ли рукопись? Прочитаю ли я когда-нибудь роман? Когда предусмотрительно спрятанная Василием Семеновичем у друзей рукопись была переправлена и издана на Западе и я смог достать и прочитать «Жизнь и судьбу», впечатление было ошеломляющим, оно превосходило все мои ожидания.

Странное возникло у меня чувство. Когда-то в Коктебеле академик Игорь Евгеньевич Тамм, увлекавшийся подводным плаванием, рассказывал при мне: «Как я счастлив, что такая возможность посмотреть подводный мир появилась при моей жизни. Ведь я мог умереть и не увидеть этой красоты». Такое же чувство было у меня, когда я прочитал «Жизнь и судьбу»: какое счастье, что эта книга стала доступной читателям при моей жизни, страшно подумать, что я мог умереть, не прочитав ее...

В начале рабочего дня по внутреннему телефону позвонил Михмат:

— Зайди, есть срочное дело.

Я спустился к нему.

— Ты читал в предыдущем номере «Лижи» статью Друзина и Дьякова?

— Читал. Защищают право на бездарность. С трогательной откровенностью. Правда, прикрываются цитатами из Хрущева. Статья против «Нового мира» и нас.

— Мне звонил Агуша (так звали близкие знакомые Александра Григорьевича Дементьева.— Л. Л.), говорит, что статью прочел Трифоныч. Рвет и мечет. Агуша советует уговорить Трифоныча выступить. Только надо действовать немедленно, пока у него не пропал запал.

— Позвони ему, уговори.

— Он во Внукове на даче, вчера вечером уехал, а там нет телефона, надо ехать туда, разыскивать дачу.

Михмат был в большом возбуждении, просто бил копытами. Я тоже загорелся:

— Найдем. Я однажды был у него на даче. Поехали.

Нам было ясно, что наклеивается очень серьезное выступление на главном стратегическом направлении, причем удар нанесет артиллерия самого крупного калибра — Твардовский. Месяца два назад нам удалась такого же значенная акция на том же направлении: мы напечатали полтора подвала Михаила Исаковского под названием «Об этом надо говорить решительно и прямо». Исаковский разнес стихи очень плодovitого Алексея Маркова, которого игравшая на понижение критика выдвигала чуть ли не в лидеры современной поэзии. Исаковский показал, чего на самом деле стоят его чудосочные, беспомощные вирши. Статья Исаковского наделала много шума, заставила волноваться многих поэтов, поставивших серятину, и критиков, превозносивших бездарей.

А тут подворачивается случай вывести на чистую воду покровителей и поощрителей низкопробной литературы, обосновывающих ее право на существование на псевдотеоретическом уровне, забаррикадировавшихся основополагающими цитатами. Было от чего войти в раж...

Мы зашли к Косолапову, который вел номер, рассказали о нашей затее, которую он как истинный газетчик сразу же оценил, договорились, что он будет держать первую полосу и сверстает ее так, что какой-нибудь материал можно будет легко заменить статьей Твардовского.

— Постарайтесь, если договоритесь, откуда-нибудь позвонить, чтобы я знал, на каком мы свете. И возьмите «газик», — посоветовал Косолапов, постоянно живший тогда в Мичуринце, на одной из дач, принадлежавших газете. — Последние дни шли дожди, черт его знает, какая там дорога.

Что мы и сделали, поехали на «газике»...

По дороге я вспоминал, как два года назад вместе с Гайсарьяном, заведующим отделом истории и теории литературы, в котором я тогда работал, ездили сюда, во Внуково, к Твардовскому, ездили мы дважды — первый раз его не застали. К 40-летию советской власти «Литературка» запланировала несколько разворотов, посвященных основным этапам развития советской литературы. За нами записали разворот о литературе Великой Отечественной войны. На редколлегии у кого-то возникла вполне маниловская идея попросить Твардовского написать основную статью. Делать нечего, пришлось ехать к Твардовскому. У Гайсарьяна еще теплилась какая-то надежда, у меня не было ни малейшей — с чего это Твардовский станет писать в кочетовскую газету, которая ничего, кроме отвращения, не могла у него вызывать.

Так и случилось: Твардовский отказался наотрез, заявил, что ничего нового о литературе войны сказать не может, а раз так, чего же писать. Сказал совершенно непреклонно, отрезая всякую возможность его уговаривать, упрашивать. Но с нами был любезен, видно, понимал, что мы люди подневольные, не выпроводил сразу после отказа. Почему-то разговор зашел о западной литературе, и тут я поразился, как много он читал и знал, как основательны и точны его характеристики. А я-то полагал, что автора «Страны Муравии» и «Теркина» эта литература, эта жизнь не должны интересовать. Образ «деревенщика», почему-то сложившийся у меня, оказался совершенно ложным: с нами разговаривал начитанный, широко образованный человек. Из этой беседы я вынес для себя урок: не доверяться умозрительным представлениям...

Твардовский очень удивился нашему с Кузнецовым внезапному появлению. Был он в каком-то домашне-дачном затрапезном облачении, разношенных та-

почках, то ли перед нашим приездом работал на участке, то ли собирался этим заняться. Мы объяснили, что нас привело к нему, сослались на его разговор с Дементьевым. Он колебался:

— Не знаю, получится ли? Ведь это надо делать сейчас же? Так ведь?

— Да, обязательно по номер.

Он еще немного повздыхал, поохал. Мы всячески напирали. И он сдался, видно, сильно чесались руки:

— Ладно, попробую.

Договорились, он садится писать, а мы часа через три к нему снова приедем. Оставаться на даче, сидеть у него над душой было неловко. Ехать в город, чтобы сразу же возвращаться, нелепо. Мы решили поехать во Внуковский аэропорт — тут и пригодился «газик», дорога была аховая. Позвонили оттуда Косолапову, пообедали, даже выпили на радостях. Когда вернулись, Твардовский дописывал последние слова. Переоделся, и мы двинулись в редакцию...

Александр Трифонович был в превосходном настроении. В машине шутил, как говорится, держал площадку, оживленно рассказывал разные истории. Разговор причудливо перескакивал с одной темы на другую. Твардовский рассказал, что к нему недавно на дачу приезжал Маршак. У Маршака новая машина, и он с ней носится, как ребенок с только что подаренной игрушкой — обедать садится, на стол рядом с тарелкой ставит, спать ложится, в кровать берет. «Саша, голубчик, — говорит, — можно мою машину загнать под то дерево, там тень, солнце не так печет?» Ну, конечно, говорю, можно. Но через какое-то время опять забеспокоился: «А в гараже у тебя нет места?» Нет, говорю, там только одна машина помещается. «А может быть, ты свою выведешь, а мою ненадолго поставим?» Насмешничает Александр Трифонович, но без яда, так подтрунивают над маленькими слабостями человека, которого очень любят.

И я вспомнил, как на одном из совещаний молодых писателей, еще в сталинские времена, он яростно защищал Маршака. «Комсомольская правда» перед совещанием разразилась статьей, в которой клеймила писателей, занятых только собой, не уделяющих внимания молодым, не заботящихся о литературной смене, — в жилу официально поощряемой борьбы с космополитами в статье к «равнодушным» был причислен Маршак. «Это бессовестная ложь, — припечатал в своем выступлении Твардовский «Комсомолку». — Нет писателя, который больше Маршака носился и нянчился с начинающими».

Потом Твардовский стал сокрушаться по поводу того, что Тендрякову не удался его новый роман «За бегущим днем». К Тендрякову — и писателю, и человеку — он относился хорошо, несколько раз повторял это. Там, где он художник, в рассказах, — все получается, говорил Твардовский. А в романе ударился в проповедь, да еще проповедует такие вещи, как методика преподавания, ничего путного не получилось и получиться не могло. И тяга к проповедничеству — серьезная опасность для Тендрякова. При добром Твардовского отношении к Тендрякову характеристика романа была, однако, очень жесткой.

«Тяжелая рука у Александра Трифоновича», — подумал я и вспомнил одно его выступление на давнем обсуждении в Союзе писателей, поразившее меня резкостью и намеренным пренебрежением к дипломатии. До этого кто-то из ораторов сказал, что Твардовский должен радоваться: то, что он делает в поэзии, нашло достойное продолжение в поэмах «Колхоз «Большевик» Николая Грибачева и «Алена Фомина» Александра Яшина. Твардовский же в своем выступлении заметил, что заблуждаются те, кто думает, что эти поэмы ему близки и нравятся. Они его отвращают лакировочным изображением разоренной послевоенной деревни, она рисуется благополучной, сытой, праздничной...

Так, слушая Твардовского, доехали до редакции. Там было, уже пусто — все полосы, кроме первой, ушли под пресс. Расположились в кабинете главного редактора. Принесли чай. Задержанные Косолаповым машинистки быстро перепечатали написанную от руки статью — получилось страничек пять, может быть, шесть. Пока перепечатывали, Твардовский позвонил Дементьеву, попросил его приехать, — послали за ним машину. Когда отправляли рукопись в на-

бор, Александр Трифонович спросил: «А как назвать?» Кто-то предложил: «Проповедь серости и посредственности». Твардовский поморщился: «Не очень. По становлением пахивает. Но пока набирают — подумаем». Принесли набранную и сверстанную статью, несколько оттисков — это Косолапов распорядился, — все стали ее вычитывать. В этом же номере шла написанная мною передовая — называлась она «Мастер» и была посвящена близкой статье Твардовского теме — требовательности настоящего художника к самому себе. Все решили, что стоит в нее вписать абзац, отсылающий читателей к статье Твардовского, что я тут же сделал. Потом не только читатели, но даже сотрудники редакции считали, что так и было задумано: вместе дать статью Твардовского и передовую.

Снова вернулись к названию статьи, стали предлагать разные варианты. Но то, что предлагалось, не нравилось Твардовскому, да и свои заголовки, те, что он придумывал сам, он тут же отвергал. И я сказал:

— Оставьте это название, Александр Трифонович. Ведь они скорее всего полезут отвечать. И напишут: «В статье «Проповедь серости и посредственности» Твардовский нападает на нас...» Читатель может дальше их не читать — все ясно.

Твардовский рассмеялся:

— Ладно, убедили, оставим так.

Разъехались поздно вечером, когда из секретариата принесли пачку пособому пахнувших только что отпечатанных газет. Ее мы всю разобрали. Размахивая газетой, Михмат сказал с торжеством:

— Большой силы бомба завтра разорвется.

Так и случилось: как они, сотрудники «Лиж», на следующее утро забежали! Размещались-то на одном этаже, все происходило на наших глазах. Стали готовить ответ, появившийся через неделю. Ответ оказался жалким: письмо Друзина и Дьякова, тупо повторявших те свои соображения, которые Твардовский разнес в клочья, и письмо читателя, скорее всего сочиненное в редакции и уже воспринимавшееся как пародия, настолько эта пластинка была заиграна. На этот раз в качестве «гласа народа» выступал даже не «седоусый рабочий», а инспектор Московской конторы Стройбанка, которого почему-то очень волновали дела писательские и он давал советы, как писателям сочинять произведения, которые бы его устраивали. Когда через много лет я прочитал в «Знамени» «рабочие тетради» Твардовского, я, естественно, обратил внимание на запись, посвященную этому происшествию: «Ответ гнусенький в двух видах: подписанный авторами той статьи и читательский (весьма подозрительный /по/ собственноручности этого «контролера банка»). В этом, последнем, только и содержится фраза об «апломбе, не делающем чести» мне; читателю, мол, можно. А там — ни звука ничего подобного. Отвечать, конечно, не буду». А ответа и не требовалось. Бой был выигран Твардовским в первом же раунде чистым нокаутом. Выступив против Твардовского, «Лиж» махала кулаками после драки...

День, когда мы организовали и напечатали статью Твардовского, был одним из самых счастливых в моей газетной жизни.

И еще одна короткая встреча с Твардовским. Наш собственный корреспондент в Ростове Владимир Понедельник прислал стенограмму выступления Кочетова, кажется, на каком-то областном активе. Длинное это выступление содержало чудовищные обвинения «Новому миру», самую дикую ложь, доставалось и нам и еще кому-то — всех Кочетов избличал и изничтожал. Смирнов решил эту стенограмму завтра же отправить Поликарпову как документ, свидетельствующий о воинствующем догматизме Кочетова, о его стремлении подорвать писательскую консолидацию, — словно для характеристики кочетовской позиции требовались еще какие-то новые доказательства. «А может, зря посылаете? Вдруг вынесет благодарность Всеволоду Анисимовичу за идейную стойкость?» — съязвил я. Сергей Сергеевич осуждающе посмотрел на меня: что за неуместные шутки. Хотя я не шутил. Короче говоря, стенограмму я получил всего на один день и, когда прочел, решил, что Твардовского следует с этим документом ознакомить. Позвонил Дементьеву, рассказал, в чем дело, спросил, в

редакции ли Александр Трифонович, Дементьев сказал: «Приезжай». Я отправился в «Новый мир». Читали они стенограмму вдвоем. Дементьев сопровождал чтение выразительными междометиями. Твардовский читал молча, насупившись, и, закончив, сказал лишь одну фразу: «Надеется, что он еще будет всех сажать».

Прошло немало лет, я уже работал в «Вопросах литературы». Однажды главный редактор этого журнала, к тому времени ставший «приходящим», — основная его работа была в секретариате Союза писателей, — позвонил мне и попросил поскорее приехать в Союз, — если я не ошибаюсь, дело было в субботу. Что случилось, зачем я ему так срочно понадобился, не сказал, но, как говорили в армии, начальство не спрашивают, оно само задает вопросы, — и я поехал в Союз. Там Озеров мне сказал, что умер Твардовский. И хотя я знал, что он неизлечимо болен, что дни его сочтены, в душе моей что-то оборвалось, было очень жаль Александра Трифоновича, горько за него, умиравшего оскорбленным, затравленным, лишенным любимого детища — «Нового мира». С его уходом в нашей литературной жизни возникала никем не заполняемая опасная пустота, как писал в стихотворении «Вот и все. Смежили очи гении...» Давид Самойлов, «Нет у их. И все разрешено». Близок ты был к нему или далек, это касалось каждого из нас.

Озеров отвел меня в пустующий кабинет, положил передо мной толстую папку: «Вот личное дело Твардовского. Надо написать некролог, который мы должны представить в ЦК». И добавил: «О работе в «Новом мире» не пишете. Это не нашего с вами ума дело». Приходя понемногу в себя, стал я думать, а в чем собственно моя задача, если даже о «Новом мире» я не должен писать. Некролог — жанр с твердо установленным канонem, с стереотипными формулами, которые должны соответствовать месту усопшего в табели о рангах. Дело несложное: когда родился, где учился, каких наград и премий удостоен, куда избирался и, конечно, что написал. На этом я и споткнулся. Как быть с «Теркиным на том свете», который тогда был поставлен вне закона? Просто упомянуть в числе других поэм — вычеркнут, тут нет ни малейших сомнений. Надо искать какую-то формулировку, какой-то образ, который включал бы и эту вещь, — авось тогда проскочит.

Сейчас все это может показаться неправдоподобным, диким — над чем ломали голову, мучились, какой малости старались добиться, но мы жили в мире, отвергшем здравый смысл и нормальные представления. В этом свихнувшемся мире под запретом в сущности была реальность. Некролог я написал быстро, а необходимая формулировка мне не давалась, долго я над ней бился. Наконец мне показалось, что я нашел то, что надо, то, что может проскочить сквозь цензурные рогатки. Я написал: «создал замечательный образ бессмертного русского солдата Теркина».

Некролог перепечатали, и я отнес его Озерову. В этот момент в его кабинет ввалилась ватага поднятых по тревоге цеховских сотрудников: завы, замы, консультанты, инструктора — человек шесть. Озеров сказал мне, что я могу быть свободен. Когда на завтра я прочитал в газете некролог, формулы, которая далась мне таким трудом, там не было. Над некрологом потрудились умельцы из ЦК, не так просто было обвести их вокруг пальца. Впрочем, чему тут удивляться. Когда умер Пастернак, обошлись вообще без некролога, дали лишь знаменитое сообщение о кончине члена Литфонда. Некролога не был удостоен и Хрущев — тоже уведомление о смерти «персонального пенсионера», да еще не с «глубоким прискорбием», как положено по традиции, а только «с прискорбием». А над гробом Зощенко произносились и проработочные речи...

Под неусыпным надзором

Я уже писал в связи со статьями Исаковского и Твардовского, как важно было для нас повышение эстетических критериев. С этой идеей Смирнов пришел в газету, как мне кажется, принимая за чистую монету все чаще повторявшиеся тогда в так называемых партийных документах, но носившие по преиму-

ществу этикетно декларативный характер призывы «поднять», «усилить», «крепить» художественное мастерство и взыскательность.

А тут еще Хрущев на всю страну заявил, что некоторые книги нельзя читать без булавки. Сергей Сергеевич сделал из простецкой хрущевской реплики далеко идущие выводы, счел, что она означает начало широкого наступления на литературную серятину. Хотя, по правде говоря, это еще был вопрос, какие именно книги нагоняли сон на Хрущева.

Мы довольно скептически относились к убеждению Сергея Сергеевича, что власти предрасположены так уж сильно заинтересованы в эстетическом совершенстве литературы, но это не мешало нам очень горячо, с большим энтузиазмом поддерживать идею Смирнова, мы видели в ней самую главную свою задачу. Мы считали, что нужно способствовать утверждению в литературе «гамбургского счета», во всяком случае, по мере возможностей двигаться к этому, осточертели сановные псевдоклассики, дутые литературные репутации, бездарные полуграмотные сочинители и рифмоплеты, чувствующие себя хозяевами литературы.

Мы понимали, что здоровье литературы во многом зависело от литературной критики, от ее независимости, эстетической взыскательности. Состояние же критики никак не радовало, и хотя «оттепель» открыла какие-то возможности для людей честных и способных, тон все-таки задавали те, кто чутко улавливал, куда дует ветер со Старой площади, я уже не говорю о групповых заставах, обороняющих «кормушки».

Труднее всего было выдержать более высокие критерии в текущем рецензировании. Судя по тому, что на нас тотчас же начались злобные нападки, посыпались жалобы в высокие инстанции — и все это потом уже не прекращалось, — кое-что здесь нам все-таки удалось, попадания, видно, были точными. Хотя и нам, не хочу этого скрывать, приходилось дипломатничать, взвешивать, не всегда давать себе волю, закрывать глаза на какие-то слабые, плохие книги, не рецензировать их, если не можем сказать правду, — впрочем, «замалчивание» тоже ставилось нам в вину авторами, жаждавшими дифирамбов, а главное уверовавшими в то, что они им причитаются обязательным приложением к гонорару по высшей ставке.

Большие надежды возлагали мы на запланированную дискуссию о состоянии и задачах литературной критики, которая — так получилось само собой — переплелась с развернувшейся дискуссией о художественном многообразии. Мы надеялись, что с помощью дискуссии о критике удастся отбросить некоторые совсем уж обветшавшие догмы, разоблачить заскорузлые идеологические стереотипы. Вторая, сопутствующая цель, которая тоже имела в виду, подразумевалась, заключалась в том, что мы решили «приучить» публику к дискуссиям, к тому, что их следует проводить не только в связи с большими праздниками литературы — так именовались в передовых статьях писательские съезды, — дискуссии должны становиться постоянным инструментом анализа и осмысления насущных проблем литературы.

Начинать дискуссию о критике мы намеревались острой статьей Георгия Мунблита, автор точно нацупал несколько реальных болевых точек современной литературной ситуации, для затравки статья вполне годилась. Дали ее читать Смирнову, к моему удивлению, он статью зарубил, сказав, что она недостаточно широко ставит проблему, начинать ею дискуссию нельзя, возникнет перекосяк. Но еще больше я удивился, когда вместо статьи Мунблита он предложил открыть дискуссию своими пространными «Заметками о критике». Когда его статья обсуждалась на редколлегии, у меня произошел первый серьезный спор с Сергеем Сергеевичем.

Ничего не имея по существу против его «Заметок», я был категорически против того, чтобы ими открывать дискуссию. Я считал это предложение тактически неграмотным, чреватым существенными осложнениями и потерями, ставящими под удар позицию газеты. Смирновские «Заметки о критике» наверняка будут долбать, на то и дискуссия, причем долбать прежде всего и больше всего справа, здесь нет предела, здесь безграничный идеологический простор, а допускаемая цензурой территория слева от позиции Смирнова совсем не велика

и тут граница на замке, не перешагнешь ее, критике не разгуляться. Надо учитывать этот неизбежный крен. И наивно думать, что мнение главного редактора — это одно, а позиция газеты — совсем другое, что их можно отделить, далеко развести. Удары по смирновским «Заметкам» обязательно будут ударами по позиции «Литературки», не могут не быть. Разумнее выступлением главного редактора завершить дискуссию, раздавая всем участвующим в ней сестрам по серьгам. А если мы начнем дискуссию «Заметками», свою серьгу придется получить и Смирнову, и газете, деваться будет некуда. Хотим мы того или не хотим, подводя итоги дискуссии, в поисках равновесия, «золотой середины», придется отступать от смирновских «Заметок» вправо, а может быть, и критиковать их.

Все это я выложил на редколлегии, но без успеха. Сергей Сергеевич остался глух к моим аргументам, он ни за что не хотел консервировать свою статью до конца дискуссии. Что говорить, каждому автору охота побыстрее увидеть свое сочинение напечатанным, это естественно, и Сергея Сергеевича как автора вполне можно понять, но как главный редактор, я был убежден в этом, он совершал ошибку.

Смирнов упирал на то, что если он откроет дискуссию, сама возможность критиковать статью главного редактора на страницах руководимого им издания, предоставляющаяся каждому желающему принять участие в дискуссии, — это самое лучшее подтверждение демократичности позиции газеты, практическое осуществление, как бы сегодня сказали, принципа плюрализма, обеспечивающего нормальное литературное развитие. Довод серьезный, от него не отмахнешься. Но я считал и сказал об этом на редколлегии, что демократизм, отсутствие групповых пристратий не обязательно доказывать именно таким образом. Но никого не убедил...

Увы, дискуссия кончилась так, как я предсказывал на редколлегии. И не в том дело, что я был таким уж прозорливым. Чтобы угадать это, не надо было быть провидцем, требовалось немного трезвости, — простенькая двухходовая шахматная задачка из области газетной тактики. И никакого злорадного торжества — видите, я предупреждал, а вы не хотели слушать, — я не испытывал, все это было очень огорчительно, удар газете был нанесен весьма чувствительный. В сущности дискуссия была не завершена, а прервана (как это произошло, чуть позже я расскажу).

В итоговой редакционной статье «Идейная позиция писателя (по поводу дискуссии о литературной критике и многообразии литературы)», которая была затребована в ЦК и там «изучалась», «выверялась», «выправлялась» и т. д. (на редколлегии потом Михмат сообщил, что ее читали три секретаря ЦК — вот как было дело поставлено), пришлось каяться, признавать какие-то обнаруженные бдительными поликарповскими подручными ошибки, в том числе и в статье Смирнова. Газету таким образом заставили присоединиться к злым нападениям на себя своих противников: «Автору «Заметок о критике» необходимо было прежде всего глубже и шире поставить вопрос о партийности и идейности как основе нашей литературы, подчеркнуть благотворное влияние партийного руководства на советскую литературу. Справедливо критиковались «Заметки о критике» за нотки либерализма, недооценку принципиального значения недавней идейной борьбы... В «Заметках о критике» С. С. Смирнова не было в должной степени подчеркнуто значение идейной позиции писателя — и в этом их существенный недостаток». Досталось в редакционной статье и мне: «У некоторых участников дискуссии наметилась ошибочная тенденция принижения героического, некоего уравнивания героического и рядового, более того — недоверие к героическому в жизни. Так, отстаивая право художника живописать «прозу войны», Л. Лазарев в статье «Пядь нашей земли» («Литературная газета» от 18 июня 1959 г.) ни словом не обмолвился о книгах о войне, написанных в ином духе — духе высокой патетики. Л. Лазарев выделяет в современной нашей литературе о войне особое «некрасовское» направление, характерное некоей «окопной» правдой, и именно этой группе писателей отдает предпочтение. Получается

не столько борьба за многообразие, сколько пропаганда одного стиля в творчестве, то есть пропаганда однообразия».

Сергей Сергеевич настойчиво внушал нам, что критика эта вполне обоснована и заслужена нами, в ней есть рациональное зерно и следует внимательно прислушаться к ней, учесть ее, сделать из нее надлежащие выводы. И если бы внушал это только нам — из педагогических соображений, чтобы мы не зарывались, — еще куда ни шло. Но он и себя старался убедить, что попало нам не зря, за дело, что мы — и он тоже в своих «Заметках» — впали в ересь эстетства и теперь должны замаливать идеологические грехи. Оказалось, что позиции руководства газеты не тверды, что Смирнов готов их сдавать, отступать, не держит ударов со Старой площади. На «Новый мир» тоже шла постоянная атака, еще более жесткий нажим, им тоже приходилось маневрировать, искать обходные пути, порой каяться, правда, сквозь зубы, во всяком случае, не с такой готовностью и не так истово, как Смирнов. Энергия сопротивления у Твардовского не иссякала, и он не намерен был идти навстречу требованиям Поликарпова, огрызался, отбивался. Конечно, с Твардовским тот же Поликарпов и более высокие цековские чины — Поспелов, Ильичев — разговаривали по-иному, чем со Смирновым, — поменьше было металла в голосе и командного рыка. Твардовского побаивались. И не только потому, что он был человеком, не позволявшим наступать себе на ногу, дававшим сдачу, но и потому, что он был автором ставших уже классическими «Страны Муравии» и «Теркина», первым поэтом страны, с ним считались на самом вершине, к нему явно благоволил Хрущев. Кстати, думаю, что на Старой площади были обеспокоены и перспективой намечавшегося сближения «Нового мира» и «Литературной газеты» и решили не медля нанести упреждающий удар по более слабому звену — «Литературной газете».

Как выяснилось, в поликарповском ведомстве за нами с самого начала было установлено неусыпное наблюдение, копился материал, свидетельствующий о нашей неблагонадежности, смутьянстве, в следственное «дело» заносились даже заголовки статей и рецензий. Прошло немногим больше полугода после назначения Смирнова и четыре месяца после писательского съезда, как все это газете предъявили. Неожиданно в ЦК было собрано инструктивное совещание руководителей газет, журналов, издательств, творческих союзов, на котором Поликарпов сделал доклад, посвященный нашим прегрешениям, ошибкам, отступлениям, уклонам, — торопились обломать рога, пока не окрепли, сразу же пресечь обнаружившуюся крамолу. На совещание были приглашены все члены редколлегии «Литературки», чего обычно не делалось, вела совещание сама Фурцева, курировавшая в Президиуме ЦК культуру, что подчеркивало важность мероприятия — чиновникам от идеологии все эти протокольные тонкости зрелого бюрократического уклада были, разумеется, понятны. Идеино-воспитательная порка проводилась по первому разряду.

На летучке Смирнов, очень подробно пересказывая и комментируя доклад Поликарпова, — разве можно было хоть что-нибудь упустить из столь ценных указаний, — изо всех сил пытался соединить несоединимое. С одной стороны, донести до нас, что критика была серьезной, глубокой, основательной, как и полагается партийной критике, иной она просто не может быть. С другой, представить дело в таком свете, словно бы ничего особенного, ничего страшного не произошло. Это как бы плановое профилактическое обследование нашего идеологического здоровья, и нам предстоит в соответствии с установленным диагнозом и предписаниями самых авторитетных врачей заняться некоторыми необременительными оздоровительными процедурами. Все это должно пойти нам только на пользу. Если мы несколько скорректируем наш курс, строгое, но справедливое партийное начальство широко раскроет нам свои объятия.

Сергей Сергеевич был человек искренний, он в это верил или очень хотел верить, внушал себе, заводил себя, — не зря Твардовский как-то назвал его «самовзводом». И он отталкивал от себя мысль, что все, что мы пытались делать в газете, в принципе чуждо, враждебно Поликарпову.

«Речь на совещании шла, — сообщил нам Смирнов, — главным образом о

разделе литературы, и я прошу товарищей из раздела литературы прислушаться к этим замечаниям, потому что мы согласны с ними, и нет сомнений, что эти замечания правильные...»

Приклеивание политических ярлыков, проработочное рычание, невежественные благоглупости — вот из чего состоял доклад Поликарпова, представленный в качестве точки зрения ЦК, которая, конечно, обсуждению не подлежала, а должна была служить руководством к действию. Поэтому выступление Смирнова сплошь набито раболопными «полностью согласен», «совершенно справедливые замечания», «правильно говорили» и т. п.

«Газета допускала (хочу обратить внимание на это повторенное Смирновым очень характерное словечко из лексикона партийных руководителей литературы. — Л. Л.) на своих страницах (это совершенно естественно) высказывание различных точек зрения, тем не менее сплошь и рядом недостаточно проясняет свою собственную линию... Газета не может в дискуссии, как совершенно справедливо нам сказали, ограничиваться тем, чтобы печатать разные точки зрения, не прокладывая в дискуссии собственного русла, не ведя и не организуя эти дискуссии...»

Голосовали же мы за одного кандидата, и это называлось выборами, да еще самыми демократическими. Вот и дискутировать следовало в таком же духе. Сергей Сергеевич продолжал:

«При всем том, что мы должны всесторонне оценивать произведение, ни в коем случае не отрывая содержание от формы, и мы в тех коренных статьях, которые были по вопросам мастерства (я имею в виду статью Исаковского, статью Твардовского), по которым не было никаких замечаний, наоборот, было сказано, что газета правильно ведет свою линию на повышение мастерства, — вместе с тем мы не должны забывать о том решающем критерии, который у нас есть при оценке произведений...»

О бесподобный язык тех лет: говорится одно, подразумевается другое, а делать надо третье! С помощью нехитрых оговорок: «вместе с тем», «наряду с этим», «нельзя забывать и», «тем не менее» и т. п. разом снимается и перечеркивается то, что вроде бы утверждалось перед этим. Указание на решающий критерий (разумеется, это идейность) подрывало курс на повышение эстетических критериев: какая там художественность, к чему она, если ценность произведения определяется прежде всего и главным образом его идейностью, вернее тем, что Поликарпов под идейностью подразумевает. Нам внушали, что важен не талант, а его направление...

«Совершенно справедливое замечание, — начал Сергей Сергеевич новую тему, — что в целом ряде статей, которые у нас появились, ощущается желание смягчить остроту той идейной борьбы, которая происходила в недавнем прошлом в литературе, очень серьезной и важной идейной борьбы, о которой нам не следует забывать, тем более что нельзя сказать, что элементы этой борьбы не давали себя чувствовать и сейчас».

Современным читателям, наверное, нужно объяснить, что за идейная борьба имеется в виду. Это второй тур — после злополучной встречи с английскими студентами — избиения Зощенко, общегосударственная травля Пастернака, разгром «Литературной Москвы», яростные атаки на только-только заявившую о себе «оттепельную» литературу. Организатором этой борьбы был Поликарпов, особенно отличился на этом поприще Кочетов.

«В данном случае было высказано серьезное замечание по моей статье «Заметки о критике». Это замечание целиком и полностью относится к ней...

Я должен признаться, что если бы мне сейчас пришлось ее писать, я написал бы несколько иначе, и упрек в том, что статья несколько вегетарианская, я должен принять».

Каково же было постоянное давление, многолетняя обработка психики (за собственное мнение — взъяснение, за свободомыслие — вон из партии, вон с работы, упорствуешь — в лагерь), что неглупый, не робкого десятка человек уверовал, что его собственные наблюдения, его мысли ничего не стоят по сравнению с руководящим словом, сказанным на Старой площади, и стал вот так

каяться. Передавали, что Кочетов, прочитав нашу покаянную редакционную статью, написанную на основе доклада Поликарпова, презрительно хмыкнул: «Слабы у Смирнова идеологические поджилки». Но дело здесь не только, даже не столько в личной стойкости. Для властей Кочетов был свой в доску, и ему разрешили вольности, которые ни за что не прощали Смирнову. Я вспомнил, как один знакомый чешский журналист мне сказал: «У нас уже разрешили критиковать китайцев, но только самым отъявленным догматикам».

Сергей Сергеевич говорил и говорил — казалось, перечню наших грехов не будет конца.

От конкретных замечаний он переходил к более общим и обратно, видимо, так было и в докладе Поликарпова:

«В ряде статей заметны известные шатания и известная идейная неустойчивость. Главным образом здесь речь идет о вопросах взаимодействия героического и бытового, обычного в наших произведениях...»

Вопрос этот, товарищи, очень важный, и когда мы с вами задумаемся, то в решении этого вопроса до некоторой степени лежит, если хотите, определение дальнейшего пути советской литературы. В этом отношении назывались такие статьи, как статья Лазарева, статьи Сарнова, Маргвелашвили, Трифионовой. Создается впечатление, благодаря целому ряду формулировок, — я опять-таки прошу правильно понять меня: речь шла об отдельных замечаниях, ни одна из этих статей не признана вредной, но какие-то тенденции в этих статьях внушают опасение, и поэтому наше внимание на это обращено...»

Одобряться на Старой площади лишь произведения приподнимающие, бравадно воспевающие современную действительность, то есть изображающие ее такой, какой хотело бы видеть ее начальство.

И опять конкретное замечание, из которого Поликарпов делал далеко идущие выводы:

«Упоминалась неудачная фраза Лидина в «Дневнике писателя»: что, мол, писатель определяет эпоху, писатель — царь и бог человечества.

Это, конечно, у Лидина неудачная фраза, и мы признали, что это неудачная фраза, и сказали, что наша газета не собирается проповедовать эти вещи, проповедовать культ писателя. Мы с вами знаем и понимаем, что писатели воспринимают себя прежде всего как верных помощников нашей партии, проводников политики партии, и нет сомнений, что более важных задач, чем эта, у писателей нет...»

Похоже, что Поликарпов действительно конспектировал каждый наш номер — так он однажды сказал Михмату. Поразительная реакция на то, что в статье Лидина было всего лишь красивой фразой, не более того, никакого реального содержания, близкого тому, что обнаружил Поликарпов, автор, конечно, в виду не имел. Лидин лишь повторил общее место: по давней российской традиции в писателе видели властителя дум, нравственного наставника. Это было расценено Поликарповым как посягательство на власть партии. Только партия, ее мудрые руководители способны и имеют право нести нам свет истины. А писателей, которые возомнили или возомнят себя высокой нравственной инстанцией, сразу же поставят на место, дадут им по рукам. Никогда прежде (даже при Сталине соблюдался некоторый декорум, писателей величали «инженерами человеческих душ») так тупо и агрессивно, как это делал Поликарпов, не утверждалось: у владычицы-партии золотая рыбка — литература должна быть на побегушках...

Вывалив на нас груды этих и других такого же рода замечаний и указаний, свидетельствующих о том, что на Старой площади нас читают через лупу, что на нас идет охота, нас обложили, закончил, однако, Сергей Сергеевич духоподъемно: «Мы приехали из ЦК в очень хорошем, бодром настроении и считаем, что то, что там было сказано, должно нам действительно помочь, и это сказано вполне справедливо, нам нужно внимательно к этому прислушаться, потому что это критика еще мягкая, нас следовало бы критиковать более жестко».

Все это Сергей Сергеевич говорил, успокаивая не только нас, но и себя. Какое уж там хорошее, бодрое настроение! С той поры нас в покое уже не остав-

ляли, вся газетно-журнальная свора была спущена на нас, рвала на части. За две недели ноября тринадцать выступлений, посвященных «Литературке». Пошли на нас в атаку и внутри редакции.

Смирнов пришел в «Литературку» с желанием выпускать острую и живую газету. Но после сделанного нам Поликарповым официального внушения на дискуссиях пришлось поставить крест. Иногда вспыхивали острые споры, как между М. Рыльским и К. Паустовским, обменявшимися открытыми письмами, в которых были затронуты некоторые важные и больные проблемы, напрашивавшиеся на широкое обсуждение, были и жаждавшие их обсудить. Но увы, пришлось ограничиться лишь публикацией писем и на этом поставить точку. Со Старой площади поступила команда: «Не раздувать!»

Изредка мы отваживались на колючие полемические выступления. Громкий резонанс вызвала реплика Михаила Кузнецова «Невежество? Нет хуже!..» о напечатанной в «Молодой гвардии» разнузданно заушательской статье К. Токарева «Раздумья над полем боя», громившей военную прозу Симонова, Бакланова. И в этом случае мы могли позволить себе лишь реплику, более обстоятельный разговор был нам заказан: в сущности Токарев «развивал» и «заострял» поликарповские установки, при серьезном анализе это обнаружилось бы.

В реплике Михмата была фраза: «Надо критиковать, а не бить дубиной...» Рассадин, который вел эту реплику, обнаружил в контрольной полосе опечатку, было набрано: «Надо критиковать, а не быть дубиной...» Мы посмеялись, представив себе, какая была бы потеха, если бы опечатка проскочила, что не исключалось. И тут у Рассадина возникла хулиганская идея: напечатать реплику вот так с опечаткой, а в следующем номере с невинным видом дать исправление ошибки, воспроизведя оба варианта фразы. И он отправился к Михмату, чтобы уговорить, упротить его проделать этот номер. Михмат, увидев опечатку, зашелся от смеха, но героическими душевными усилиями превозмог искушение...

Вот так устроена память: вспомнил эту историю, как тут же всплыла еще одна, тоже связанная с Михматом и тоже смешная. Прислал свою статью в «Литературку» Федор Панферов. Он тогда совершил несколько либеральных поступков: напечатал одну из мемуарных книг Паустовского, пробивал «Синюю тетрадь» Казакевича, взял себе в замы изгнанного Кочетовым из «Литературки» Фролова, сочувствовал нашему новому курсу. Все это заставляло руководство газеты отнестись к статье Панферова с самым благожелательным вниманием. Статья была поставлена в очередной номер, с колес отправлена в набор. К сожалению, написана она была, мягко говоря, без блеска, и Михмат, передавая ее Сарнову, который должен был вести статью, и понимая, что тот может сказать, прочитав ее, заранее распалился:

— Только не трогать ни одного слова, ни одной запятой! Я вас знаю! Флоберы! Панферов наш классик и может писать, как хочет.

Вычитывая набранную статью, Сарнов обнаружил в ней такую фразу: «Сорок с лишним лет советский народ, преодолевая невероятные трудности, безропотно строит коммунизм». И решил подшутить над Михматом. Спустился к нему с верстой:

— Я тебе хочу показать одно место у Панферова.

Михмат начал чуть ли не топтать ногами:

— Я же сказал: ни одного слова, ни одной запятой! Нечего глумиться над нашим старейшим писателем!

— А я не предлагаю править Панферова, пусть все остается, как у него. Я хочу, чтобы ты только глянул.

Прочитав отчеркнутую фразу, Михмат начал ругаться и смеяться одновременно...

А теперь от веселых воспоминаний вернусь к нашим тогдашним невеселым делам. Рецензии, в которых говорилось о художественной немощи или слабостях того или иного произведения, с большим трудом стали пробиваться на полосу. И выходили нам боком. Покритиковала Инна Борисова «Глухую Мяту» Виля Липатова — и тотчас окрик со Старой площади, да такой угрожающий, что пришлось напечатать статейку Юлиана Семенова, в которой дезавуировалась

рецензия Борисовой и превозносилась повесть Липатова. И это был не спор, что было бы совершенно естественно, а исправление допущенной газетой ошибки. Покрытиковал Юрий Буртин роман Александра Чаковского «Дороги, которые мы выбираем» — опять окрик: рецензента-эстета не интересует жизненное содержание произведения, и он поэтому не в состоянии оценить его по достоинству. В секретариате, возглавляемом уже Прудковым, стали бояться рецензий и под любым предлогом перекрывать им путь на полосу. На одной из летучек я вынужден был сказать об этом: «Рецензия в «Литературной газете» стала уже жанром, который едва терпится».

Постепенно, шаг за шагом формула газеты: острая и живая — менялась на другую: живая и по возможности острая. А возможностей становилось все меньше и меньше, день от дня они таяли, надзор над нами усиливался. Сергей Сергеевич после экзекуции у Поликарпова (думаю, время от времени они повторялись за закрытыми дверями) сильно остыл к делам литературы. Не хочу сказать, что делал он это намеренно, сознательно уклонялся от этих безрадостных дел. Нет, скорее всего это происходило как бы само собой, незаметно для него самого, срабатывал инстинкт самосохранения — у человека, несколько раз больно ударившегося об один и тот же угол, вырабатывается рефлекс и он автоматически обходит этот угол.

Смирнова все больше увлекала идея регулярно публикуемых фельетонов не о каких-то конкретных происшествиях или людях, имя, отчество и фамилия, а также занимаемая должность которых непременно называются, а о явлениях. В это дело вскоре после своего прихода в газету Смирнов впряг Леонида Лиходеева. Неожиданно подрядил на серию путевых очерков — показательно, что не статей о театре! — Юзовского. Это была попытка воссоздать персональные рубрики, которые были не только прочно забыты, со сталинских времен считалось предосудительным постоянно печатать одного и того же автора. А если это к тому же штатный сотрудник редакции, жди серьезных неприятностей. Хочу отметить, что выбрал Смирнов авторов для этого, тогда казавшегося в лучшем случае сомнительным дела точно — и Лиходеев, и Юзовский были очень подходящими кандидатурами.

Но больше всего пестовал и нянчил Сергей Сергеевич новую — юмористическую — рубрику «Литературный музей». Это был первый постоянный отдел юмора и сатиры в тогдашних центральных газетах. Считалось, что эти жанры епархия «Крокодила», ему были отданы на откуп пришедшие в упадок юмор и сатира. Разумеется, деградация произошла не только из-за отсутствия конкурентов, были на то серьезные общественно-политические причины. И хотя при Сталине с самой высокой трибуны было заявлено, что нам Гоголи и Щедрины нужны, — это было чистое фарисейство, разве что для того были нужны, чтобы изобличать проворовавшихся завмагов и нерадивых управдомов, выше сатире ходу не было. Жалкое существование влачила и литературная пародия — именитых авторов пародировать было опасно, вдруг обидятся, пожалуются, тогда не оберешься неприятностей, а никому не известных — занятие никчемное, пустое. В «Крокодиле» литературная пародия была где-то на задворках, а больше никто пародий не печатал.

Сергей Сергеевич не просто ценил юмор как редактор, старающийся делать живую газету. Юмор был его страстью. Он даже пробовал свои силы на этом поприще и весьма успешно. Две его пародии: «Кавалерный бунт» — на Бабаевского и «Чего же ты хохочешь?» — на Кочетова — по праву нашли свое место в антологии советской литературной пародии, выпущенной уже в наше время издательством «Книга». Мы уже не работали в «Литературке», когда я встретил как-то Сергея Сергеевича в ЦДЛ, и он дал мне читать свою пародию на Кочетова — веселье переполняло его, он хотел им поделиться. Пародия эта почти два десятилетия ходила по рукам и была опубликована лишь через много лет после смерти Сергея Сергеевича в 1988 году в «Вопросах литературы».

Смирнов загорелся идеей юмористического отдела. На летучке он произнес пламенную речь в обоснование своей идеи, которая вовсе не всем должна была понравиться — не солидно, не серьезно: «Я еще этот вопрос перед редколлегией

не ставил, думаю, что его надо ставить, мы должны будем создать группу юмористов и добиться того, чтобы каждую субботу минимум четверть полосы было посвящено юмору, причем юмор этот делать с выдумкой, интересно, и я думаю, что у нас есть все возможности».

И дело пошло, закрутилось. «Музеем» Смирнов занимался сам. И не только потому, что новое дело требовало повышенного внимания и поддержки главного редактора. Это была для него какая-то отдушина, здесь можно было укрыться от постоянных неприятностей, которые были связаны с литературой, отдыхать душой, заниматься тем, что радовало. По пятницам в кабинете главного собирался синклит юмористов: Александр Раскин, Морис Слободской, Владимир Лифшиц, Борис Ласкин, Никита Богословский, Зиновий Паперный, Владлен Бахнов, Леонид Лиходеев. Это был постоянный состав, появлялись там и другие мастера смеха. В пятницу во второй половине дня к Сергею Сергеевичу ни с какими, даже срочными делами не имело смысла обращаться, он слушал рассеянно, от всего отмахивался, мыслями он был уже на Олимпе юмористов. К заседаниям «Музея» он относился как к некоему священнодействию. На свой кошт выставлял участникам коньяк, конфеты, печенье, подавался чай с лимоном. При этом Сергей Сергеевич не только не вел себя, но и не чувствовал хозяином, скорее робующим смертным, которого всеблагое неожиданно пригласили на свой пир...

Первые выступления «Литературного музея» имели большой успех, которым Сергей Сергеевич упивался. Но любая постоянная газетная рубрика таит в себе опасность. Она должна в определенный день непременно появиться, ее нельзя отложить, пропустить. И она начинает командовать. Нет хороших материалов, приходится печатать средние, время от времени на полосу проникают и вовсе слабые вещи. Только слаженная, очень напряженная журналистская работа, настоящая газетная культура, широкий круг сильных постоянных авторов могут обеспечить рубрике стабильный высокий уровень. Чуть отпустили вожжи, пустили дело на самотек, и вот на полосу проникает то, что не под этой рубрикой не имело никаких шансов на публикацию. Так случилось и у нас — напечатан был «Музей», составленный из очень слабых материалов, плох из рук вон. На летучке я его изрядно потрепал, закончив выступление старой байкой: «Рассказывают, что как-то у Леонида Утесова спросили, что он думает об одном новом, входящем в моду джазе. Утесов ответил: «Любой еврей в Одессе это умеет, только стесняется». Именно это я хочу сказать о последнем нашем «Музее». Что тут сделалось с Сергеем Сергеевичем, даже вообразить себе нельзя. Он был так задет, так уязвлен, что вышел из себя и ответил мне совершенно троллейбусной репликой: «Критиковать любой может. А вы сами попробуйте».

Что мы, Рассадия, Сарнов и я, раззадоренные этой репликой и разозленные тем, что Смирнов вступает за столь бездарное рукоделие, путь которому на полосу должен быть при любых условиях закрыт, и сделали. Решили сочинить несколько пародий. За два вечера, оставшись допоздна в редакции, мы написали целый цикл. Нашим консультантом, вернее ОТК, был Александр Борисович Раскин. Мы читали ему только что испеченные пародии по телефону, он отнесся к ним благосклонно и только удивлялся тому, как быстро мы их сочиняем, — сам он иногда работал над одной пародией чуть ли не целый месяц. Но для нас это не было работой в настоящем смысле этого слова, скорее развлечением, забавой, игрой, никогда мы так от души не веселились. Остроты подхватывались, рождали новые, оттачивались, парировались, неудачные высмеивались. И все это под непрекращающийся общий хохот.

С готовым циклом мы отправились на заседание «Музея». Сергея Сергеевича не было — видно, он был в отъезде, иначе, конечно, не пропустил бы ни за что такое ответственное дело. Но традиционный коньяк все равно был, конфеты и печенье тоже стояли на столе, исправно принесли чай — все, как заведено им. Вид у заседающих был неприступный, как у верховных жрецов, творящих некое таинство. Мы скромно уселись на дальнем конце стола для заседаний. Читал пародии Сарнов — он был охоч до публичных выступлений. Прочел первую — гробовое молчание, никто не только не засмеялся, но даже не улыбнулся, мэтры

веселых жанров сидели с каменными лицами. А нам пародия казалась смешной, даже очень смешной. Кто-то сказал: «Дальше», — и Сарнов стал читать следующую пародию. Реакция та же — с отсутствующими лицами молчат. У меня ощущение полного, позорного провала. Пародии, которые нам нравились, которые мы считали удачными, уже кажутся мне вымученными, совершенно неостроумными. Я клянусь себя, зачем мы самонадеянно ввязались не в свое дело. Вот и кончилось все, как и должно кончаться в таких случаях, — позором. А ведь они еще затеют обсуждение и будут нас растаптывать, вежливо, невежливо — роли не играет. В тягостном молчании Сарнов, наконец, заканчивает чтение. После короткой паузы, которая мне, однако, показалась невыносимо длинной и во время которой я думал об одном: как бы поскорее смыться, Морис Слободской с все тем же сосредоточенно каменным лицом бросил: «Очень смешно». Владимир Лифшиц добавил: «Вполне профессионально». Так же односложно, очень серьезно, без улыбок и шуток, высказались и остальные.

Поразительная все-таки штука профессионализм. Григорий Канович, прекрасный писатель, живущий в Вильнюсе, как-то мне рассказывал. Он зашел к своему отцу, известному в столице Литвы портному. Отец очень сосредоточенно смотрел телевизор — выступал Межелайтис — и молча показал сыну, чтобы тот сел и ждал. Передача продолжалась довольно долго, но отец с неослабевающим вниманием следил за тем, что происходило на экране. Григорий спешил и несколько раз пытался отвлечь отца от телевизора, но ничего не получалось. Когда передача закончилась, разозлившийся сын съязвил:

— Что-то, папа, я не замечал прежде, что вас так интересуют стихи Межелайтиса.

— Какие стихи? При чем здесь стихи? — удивился отец. — Ты видел его костюм? Я пошил его пять лет назад, а он ни с места, как будто Межелайтис надел его сегодня в первый раз.

Цикл наш был опубликован в «Музее», потом мы еще несколько раз печатали свои пародии в «Литературке». Стали печататься и в других местах: благодаря «Литературке» пародия, как говорится, пошла. Выпустили книгу пародий, подготовили вторую, которую в «Советском писателе» зарезали Лесючевский и Карпова. Но профессионалами мы так и не стали — по-прежнему веселились, когда писали свои пародии, и от души смеялись, когда читали чужие, разумеется, хорошие.

Эти маленькие радости — сочинение пародий, колючих реплик для придуманных нами новых рубрик «Ох, уж эти читатели...», «Язык мой — враг мой» — несколько скрашивали нашу жизнь, взбадривали нас. Все-таки азарт — пробить непроходимое, обвести вокруг пальца бдительное начальство на Старой площади, вставить перо «кочетовцам», бездарным сервильным литераторам — не покидал нас. У нас не было никаких сомнений, что курс на очищение литературы от серости, раболепия, безнравственности — единственно правильный курс, диктуемый изменившимся временем. Но когда поликарповское ведомство всерьез взялось за нас, стало ясно, что если не произойдет дальнейшей сдвижки всей нашей общественной жизни влево, они нас замордуют, задуют.

Однако понимаем все это, мы ни за что не хотели сворачивать с этого курса. Когда нам говорили, что курс этот гибельный, нечего переть на рожон, я отшучивался, напоминал о сказке, которую в «Капитанской дочке» рассказывает Пугачев Гриневу. XX съезд многое перевернул в нашем сознании, со многим стало невозможно мириться, совесть не позволяла. Опротивела законопослушность, неволегу стало безропотно подчиняться тупым руководящим «установкам» идеологических надсмотрщиков, мутило от тех жаб, которых по их воле приходилось глотать. Конечно, изматывала ежедневная нервотрепка, постоянные угрозы и окрики, нависавшая вполне реальная перспектива вылететь из газеты да еще с таким клеймом, что потом мало кто отважится тебя печатать. Но все-таки мы уже глотнули воздуха свободы, и это опьяняло, возбуждало азарт, а там что бог даст...

Но у Эсэса азарта в литературных делах поубавилось. Сказав это, справедливости ради должен заметить, что ему шишек доставалось больше всего.

Иначе не думаю, чтобы он, проработав в газете всего лишь год, даже чуть меньше, вдруг сорвался с места и отправился в трехмесячное путешествие. Будь все ладно, не оставил бы газету на такой большой срок. А может быть, в глубине души надеялся, что пока его не будет, как-то все у нас уляжется, сгладится, рассосется...

Нас же в его отсутствие продолжали клевать с тем большим остервенением, что руки у нас были связаны, редко удавалось давать сдачи. Вот одна из таких историй, когда нам всыпали, а мы могли только утираться.

На Дальнем Востоке унесло в океан баржу с четырьмя солдатами. Через сорок девять дней совершенно обессиленных от голода, едва живых ребят обнаружили и спасли американцы. Конечно, выдержавшие это испытание солдаты были молодцы. Но ведь попали они в эту переделку из-за чьей-то халатности, из-за плохо поставленной службы. Как могло случиться, что на берегу прозевали, когда баржу унесло в открытое море, почему плохо искали ее — баржа-то не щепка? Но эти напрашивающиеся вопросы игнорировались. Пропагандистская машина была нацелена на другое и запущена на максимальное количество оборотов. Громкая газетная кампания строилась по привычной колодке 30-х годов: так прославлялись челюскинцы, папанинцы — покорители полюса, сталинские соколы, совершившие рекордные перелеты. «Правда» сразу же дала две полосы материалов под крупно набранными шапками: «Советский народ по праву гордится отважными и верными сынами!». «Ваш героический подвиг — пример служения Родине!». Кроме передовой и репортажей, многочисленные отклики по одной колодке простых и именитых людей, обязательно представляющих все слои населения, наспех состряпанные стихи. Такое же вариво в больших количествах выплескивалось на полосы «Правды» еще несколько дней, и если бы не визит Хрущева во Францию, занявший всю газетную площадь, неизвестно, сколько бы еще все это длилось. Чтобы подстегнуть отстававшую от нее печать, «Правда» на третий день под рубрикой «Из последней почты» разразилась репликой «Вне времени...». В ней сначала критиковалась газета «Литература и жизнь», которая ничего не напечатала о подвиге четырех, видно, сразу не оценила, какое значение будет придано этой пропагандистской кампании. А затем наносился удар по «Литературке». Но «Лижи» корили за нерасторопность, а у нас были обнаружены идейные пороки:

«С неоправданной скупостью пишет о подвиге советских воинов и «Литературная газета». В номере от 17 марта о нем говорится лишь в «Дневнике писателя». Г. Бакланов, вкратце описав события, неожиданно заявляет (далее, чтобы выделить недопустимо еретическое высказывание писателя, оно набрано с отступом жирным шрифтом.— Л. Л.):

«Сейчас срочно разыскиваются подробности их прошлой жизни, сами того не сознавая, пытаются создать вокруг них ореол исключительности».

В странную полемику неизвестно с кем вступает автор. Он как будто недоволен, что люди хотя бы побольше узнать о героях.

Это была удивительная реплика. Она основывалась на вырванной из контекста фразы, заметка-то Бакланова называлась «У нас таких миллионы» — не случайно в реплике «Правды» это неудобное для них название опущено. Видно, центральный орган почувствовал себя задетым словами «срочно разыскиваются подробности», этим «Правда» и занималась, следуя давно утвердившемуся пропагандистскому стереотипу: герой с младенческих лет готовился к подвигу, был, как говорится, круглым отличником всюду — и в детском саду, и в школе, и на производстве, и в армии.

Чтобы взбодрить пропагандистскую кампанию, «Правда» решила кого-то для примера высечь, и статья Бакланова в «Литературке», конечно, была самым подходящим объектом. Директивные инстанции давно недовольны «Литературкой», подтверждали ее критике за «дегероизацию», в главных «дегероизаторах» ходил Бакланов, вся эта каша заварилась вокруг его повести «Пядь земли». И что бы на самом деле ни писал в своей заметке Бакланов, никакой

роли не играло, промахнуться здесь было невозможно. А потом, что бы ни утверждала «Правда», она всегда права, никогда не ошибается.

Эта реплика «Правды» сильно укрепляла позиции наших недоброжелателей в «Литературке». Хотя ситуация была щекотливая. Мы упросили Бакланова срочно в номер написать о четырех солдатах, но сделали это, выручая раздел внутренней жизни, проморгавший данное событие. Однако гнев со Старой площади обрушился не на них, а на нас. Последовал очередной вызов Михмата к Подикариову, тот устроил ему головомойку: реплика «Правды» свидетельствует, что «дегероизаторы» в «Литературке» не унимаются, в газете по-прежнему нет нацеленности на героическое, она намеренно уклоняется, не хочет пропагандировать высокое и героическое в нашей жизни, принижает и очерняет нашу действительность. Состоялось чрезвычайное заседание редколлегии, на котором было принято решение признать критику «Правды» справедливой. Решение, разумеется, было послано в «Правду».

Кстати, по иронии судьбы заклеянные как «дегероизаторы» Бакланов, Бондарев и Тендряков (последнего «Правда» как раз в это время разделала за ту же порочную тенденцию, проявившуюся в напечатанном «Новым миром» рассказе «Тройка, семерка, туз», правда, не на материале войны), именно они потом написали сценарий о четырех парнях, оказавшихся во власти океана, по которому был снят фильм...

После реплики «Правды» сразу же еще одно зубодробительное выступление против «Литературки» (не сомневаюсь, что оно было вдохновлено и подстегнуто «Правдой», случайными такие совпадения не бывали) — редакционная статья в «Крокодиле» против Леонида Лиходеева. Откровенный пасквиль в самых худших традициях сталинских времен. Вся эта история бурно обсуждалась на летучке. Евгений Сурков, Радов, Гулия связали статью «Крокодила» с репликой «Правды»: «Литературку» справедливо критикуют за плохое знание жизни, за «дегероизацию», а мы не делаем из этого никаких выводов, стоим на своем. На истерической ноте нас обвиняли в том, что мы постоянно подставляем газету под удар, губим ее. За Лиходеева вступился Солоухин, некоторые сотрудники. Выступил и я, сказав, что злобный выпад «Крокодила» объясняется тем, что фельетоны Лиходеева обнажают мелкотравчатость позиции этого журнала, причины явного падения интереса к нему читателей. Мы должны защитить не только нашего сотрудника, которого политически шельмуют за фельетоны, охотно печатавшиеся газетой. Мы — на то мы и «Литературная газета» — должны выступить на защиту права на сатирическое обобщение отрицательных явлений жизни — именно против этого ополчился «Крокодил».

Михмат стал на нашу сторону. Завершая летучку, говоря о статье «Крокодила», а имея в виду и реплику «Правды», он старался успокоить подавившихся панике:

«Наша тяжелая газетная жизнь напоминает фронтную жизнь. Там тоже не знаешь, что тебя ждет, может быть, трофеи, а может быть, ногу оторвет. То ты успешно двигаешься вперед, занимаешь города, а то приходится сидеть в обороне... Очевидно, газеты и при полном коммунизме будут жить довольно сложной жизнью... Очевидно, из этих объективных закономерностей надо исходить.

Продолжая эту параллель, надо сказать, что самое страшное на фронте паника. «Стреляют». — «Где?» — «Сзади». — «Братцы, спасайся!» Смотришь — хорошая позиция. Нет, все покинули ее. А кто стрелял? Оказывается, Ванька случайно разрядил винтовку.

Нельзя сразу ложиться на спину и говорить: «Товарищи, линия у нас неверна. Лиходеев в этих фельетонах занял антисоветскую позицию». Это же «Крокодил», а не ЦК».

Со скрипом, но все-таки было принято решение «Крокодилу» ответить. Писали ответ Рассадин и Сарнов. Ответ мурыжила и обкачивала редколлегия, смягчались резкие характеристики пасквильного выступления «Крокодила», вставлялись традиционные оговорки: «Фельетоны Л. Лиходеева есть за что критиковать...», «Может быть, не все они, с точки зрения художественной, совершенны...», в общем, борьба шла за каждое слово. Некоторые члены редколле-

гии настаивали, чтобы ответ был подписной, не редакционный. Эта возня продолжалась несколько дней, но все-таки ответ, хотя и с довольно беззубым заголовком «Грубость не украшает» — тоже результат коллективного творчества редколлегии, — был напечатан.

Вернулся из дальних странствий Смирнов, посетил высокие сферы, доложив о своем возвращении, и имел возможность убедиться в справедливости афоризма: «Путешествие — перемена декорации, сцена остается на месте». За то время, что его не было в Москве, ничего в нашем положении к лучшему не изменилось, начальство не смягчилось, не сменило гнев на милость, напротив, недовольство нами усилилось.

На первой летучке после возвращения Эсэса то ли доклад, то ли содоклад делал от бюро московских критиков Григорий Бровман. Выступления «людей с стороны» на летучках для более тесной связи с московской писательской организацией при Смирнове стали практиковаться. За несколько месяцев до этого в подобного рода выступлении Иван Чичеров (долгие годы он был постоянным членом всяких бюро, правлений, советов, а вот что писал и писал ли вообще, совершенно не помню), укоряя редакцию за статью Виктора Некрасова об архитектуре, пустил в ход любопытный аргумент: «Вы поместили статью Некрасова о градостроительстве. А между прочим, о таком большом событии, как выставка проектов второго тура конкурса на памятник Ленину, газета совершенно умолчала, как будто его и не было». Но это так, к слову пришлось.

Бровману когда-то, во времена борьбы с космополитизмом, немало досталось, и он стал (а может быть, и был — тогда ведь дело было не в том, что он писал, а в пятом пункте) очень правоверным, всегда занимал четкую партийную позицию, по мере сил стараясь ее угадать. В данном случае угадать было не трудно. Отношение к нам на Старой площади не было для литературной среды биномом Ньютона или военной тайной, в курсе дела был, разумеется, и Бровман, и он со спокойной совестью припечатывал нас на летучке: «Товарищи, которые здесь работают, и Сарнов, и Феликс Кузнецов, и Рассадин, и, конечно, Лазарев — наиболее квалифицированный человек в этой группе, — они хорошо пишут. Но иногда бывает грустно, что они не могут проанализировать произведение так, как полагается марксисту».

С такого рода обвинениями тогда шутки были плохи. Грусть Бровмана легко могла обернуться для нас слезами. Но самым огорчительным было то, что Эсэс поддержал Бровмана. Конечно, потому что это совпало с тем, что ему перед летучкой внушали в Большом доме.

«Я должен сказать вам, Юрий Васильевич и Лазарь Ильич, — обличал нас Эсэс, — вы и очень способные товарищи в разделе литературы, которых мы ценим, упрек, который вам сделал Бровман, должны принять. Действительно ощущение какого-то эстетизма есть. Я буду говорить более грубо, чем это высказывалось, и убежден, что говорю правильно, по главной линии.

Дорогие товарищи, будучи способными литераторами и критиками, вы не всегда даете себе труд быть политиками. Вам эта фраза может показаться лобовой, и вы скажете, что я повторяю избитые места, тем не менее это остается. Сплошь и рядом в ваших статьях ощущается любовь к искусству и литературе как таковым. Но простите, пожалуйста, искусства нет как такового, — мы знаем это теоретически, но никак не можем практически почувствовать, что это так, что нет в мире литературы, которая свободна от политики... Литературный раздел и людей, которые там работают, я очень ценю и уважаю, но хочу сказать, что элементы чистого эстетизма в вашей работе есть... Я это чувствую. И не только я. Этот упрек мы иногда зарабатываем...

Вам нужны факты, Лазарь Ильич? Хорошо. Я, например, не вижу, чтобы рассказ Некрасова, о котором вы писали, заслуживал среди других столь оперативной (не говорю, что газета не должна быть оперативной) и особенно пространной статьи (речь шла о небольшой — строк двести — моей рецензии «Первый бой» на новые тогда рассказы Виктора Некрасова «Судак» и «Вторая ночь». — Л. Л.). Я прочитал этот рассказ. Некрасов не ушел в рассказе вперед... Элемент механического восприятия Ремарка и Хемингуэя у него есть...»

Меня сильно разозлило выступление Бровмана. Нет, то, что он говорил, меня совершенно не удивило и мало задело, ничего другого я не ожидал. Разозлило меня то, что Смирнов, не успев приехать, зачем-то пригласил его выступать с докладом, устроил весь этот цирк. И когда говорил Эсэс, я грубо перебил его репликой: надо все это или доказывать конкретно, или не говорить,— бросил я ему. Потом я пожалел, что не сдержался. Эсэс был явно растерян. Мне показалось, что он не уверен в том, что преподносит нам, даже не сумел себя, как это бывало иногда прежде, убедить, говорит с чужого голоса. И вообще возвращение в газету его не радует, скорее тяготит. Он уже не искрился энергией, кажется, газета лишалась главного мотора, ведь от него многое зависело, ему принадлежало последнее слово. Все это было печально.

«Самый лучший в мире читатель»

Но «нужно жить и исполнять свои обязанности». И мы искали щели, чтобы как-то продолжить то, что считали главным делом,— повышение планки эстетической требовательности. Расширили затеянную раньше серию статей о мастерстве классиков — запомнились статьи Е. Добиная «Деталь и подробности», А. Белкина «Чудесный зонтик (об искусстве художественной детали у Чехова)», В. Берестова «Судьба девяностого сонета», К. Ваншенкина «Преимуществом о рифме». Статьи были хороши. Но в газете подобные просветительские материалы могли быть лишь дополнением к дерзким атакующим выступлениям по современной литературе, должны были поддерживать их авторитетом высокой классики. А так как все меньше на полосы пробивалось таких статей о текущей литературе, обращение к классике отдавало вегетарианством.

Однако мы нащупали еще одну литературную проблему, которая представлялась нам общественно важной, была остра и добавляла столь нужный газете, чтобы удерживать внимание читателей, перец. Проблема эта тогда уже носилась в воздухе. Речь идет о взаимоотношениях читателей и литературы. Когда заслуженный рабочий или передовая доярка наделялись правом решающего слова в делах литературы и искусства, простая мысль о том, что читатели бывают разные, отличаясь уровнем культуры, шириной кругозора, воспитанностью вкуса, что многим из них не учить, а учиться надо,— эта простая, элементарная мысль в обществе, потерявшем представление о здравом смысле, с большим трудом пробивала себе дорогу через многолетние завалы демагогии и мифов.

Неслучайно у Хрущева такой взрыв негодования вызвала ироническая фраза Виктора Некрасова о седоусом рабочем, который изрекает по всем вопросам абсолютные истины. Видно, Некрасов попал в очень чувствительное место — ведь седоусые рабочие, творение угодливых, льстивых литераторов, от имени народа вещали то, что решено было, как это называлось в начале прошлого века, «высшими правительственными местами». По обыкновению это были грозные одергивания и не подлежащие обжалованию приговоры. Большая почта, поступавшая в газету, свидетельствовала, что у многих читателей воспитано чувство гегемона, они считают свое мнение непререкаемым и требуют самых крутых мер по отношению к тем, кто думает иначе. Миф о «самом лучшем в мире читателе», которому отдали дань многие — в том числе такой умный и трезвый человек, как Эренбург, не раз писавший о том, что у нашей литературы много слабостей, но зато замечательный читатель,— этот миф мы начали разрушать. И, кажется, не без успеха. А нынешнее время воочию продемонстрировало, каков он, этот самый лучший читатель, жадно набросившийся на низкопробные детективы, порнографию, хиромантию и т. д. и т. п.

С проблемой читателя так или иначе мы сталкивались чуть ли не каждый день. Но по-настоящему мы задумались над ней после одного случая, когда она проявилась в крайней, почти пародийной форме. Напечатана была подборка стихотворений Евгения Винокурова. Одно из них посвящено судьбе лошади. Элегическое стихотворение о том, что век этого чудесного животного, с которым столетиями была связана вся жизнь человека, кончается:

Ракета, атмосферу прорывая,
 Уйдет туда, где теплится звезда...
 А ты, о лошадь, ты душа живая,
 В наш сложный век исчезнешь без следа.

Можно ли было ожидать, что это совершенно невинное стихотворение вызовет шквал возмущенных откликов? В редакцию (и не только к нам, но и в другие органы печати, а также, как говорили в пушкинские времена, «лицам, облеченным доверием правительства») пришло несколько десятков писем, обличающих Винокурова и нас. В том числе демарш от маршала Буденного, главного авторитета в конных делах. Коллективные письма, резолюции собраний прислали чуть ли не все конезаводы. Одно я процитирую:

«Лошадь как сельскохозяйственное и транспортное животное, конечно, устывает в наше время свое место машине. Она уже не имеет сейчас такого громадного значения, как какие-нибудь 20—30 лет назад. К счастью, ушли навсегда те проклятые времена, которые описал Г. И. Успенский в своем рассказе «Четверть лошади», но забыть о том, что дала лошадь в прошлом, забыть, какую роль она сыграла в истории нашей страны, в победе революции, невозможно.

Конь-пахарь, конь-воин, конечно, ушел в прошлое, но чарующая прелесть русской тройки, захватывающее зрелище рысистых бегов и скачек, смелость, сила и удаль в народных конных играх, увлекательность многообразных видов конного спорта будут жить века и никогда не умрут.

Выступление Е. Винокурова на страницах вашей газеты не только бездарно и ложно, но и политически ошибочно, так как наше советское коневодство является одним из лучших в мире...»

И требование Винокурова наказать, письмо напечатать. Тринадцать подписей и гербовая печать...

И нам пришло в голову: а почему бы не опубликовать такого рода письма, в которых вульгаризаторство, опирающееся на официальные представления о задачах и месте искусства в общественной жизни, проявляется в крайнем, порой совершенно карикатурном виде? Разумеется, сопровождая их комментирующими заметками.

Письма мы получали такие, что нарочно не придумаешь. Когда в редакцию пришло послание кандидата наук (не биологических, не медицинских, это еще куда бы ни шло, — исторических!) Колпакова, призывавшего сжечь «Муху-цоко-туху» как вредное произведение, воспевающее переносчицу всевозможных опасных болезней, и набранное уже стояло в полосе, меня вызвал Косолапов:

— Вы уверены, что это не розыгрыш? Больно смахивает на пародию. Существует этот Колпаков в природе, вы проверяли?

И я подумал: а вдруг действительно розыгрыш? Стали дозваниваться в Душанбе, который был еще Сталинабадом, с трудом разыскали Колпакова, сотрудника одного из тамошних институтов, убедились, что он реальный человек. Кстати, его требование запретить сказку Чуковского некоторые читатели поддержали — взгляды эти даже в таком диком виде были распространены.

Важно было найти правильный тон для такого рода выступлений. Мы поняли, что вовсе не всегда надо высмеивать, клеймить, изобличать в невежестве и дурном вкусе авторов таких писем. Гораздо чаще надо вежливо, уважительно разъяснять ошибочность их взглядов. И доходит лучше, и проходит легче. И потому, что мы нащупали правильный тон, публикация этих материалов не влекла тяжелых для нас последствий. Начальство скорее всего относило эти по глубинной сути подрывные выступления к разряду активной работы с письмами читателей. Эта работа была любимым коньком отдела пропаганды, на важность ее постоянно указывали, за это редакции постоянно жучили, какие бы ни проводились проверки, непременно учитывался этот показатель — сколько писем трудящихся опубликовано, сколько использовано. Вот почему все такие выступления, как ни странно, сходили нам с рук. Читатели «Литературной газеты» тех лет помнят эту историю с «Мухой-Цокотухой», потому что она не была просто казусом, в ней было заключено очень серьезное содержание. Было напечатано несколько статей такого рода: Сарнова «Вреден ли «Том Сойер»?», Солоухина

«В защиту поэзии (ответ читателю Евгению Хнычкову)», «Умеете ли вы читать?» и потом обзор откликов на эту статью под тем же названием — ее мы писали втроем: Рассадин, Сарнов и я.

Но все это, по правде говоря, были уже арьергардные бои...

Последние дни

Рабочий день заканчивался, в редакции оставались считанные люди, ждали прессовых полос. Я зашел к Михмату, и тут неожиданно появился Эсэс:

— Ребята, вы скоро освобождаетесь? Поехали поужинаем.

Я поднялся к себе наверх, у меня были еще какие-то дела — на следующий день утром я улетаю в Киев. Когда минут через двадцать я спустился к Михмату, мне показалось, что он помрачнел, какая-то тень легла на его лицо. Но потом это впечатление рассеялось. В «Праге» Михмат весело рассказывал байки, мы с Эсэсом тоже, о редакционных делах не говорили.

Это был хороший вечер, мы славно поспели. Когда попрощались с Эсэсом, задержав меня, Михмат сказал:

— Ты должен знать. Сегодня он нас с тобой заложил Поликарпию. Наша песенка спета. Я в ближайшее время уйду из газеты. Придется уйти и тебе. Так что начинай подыскивать работу.

— А он сам? Неужели он думает, что откупится, уцелеет?

Михмат пожал плечами...

Вспоминая тот вечер, я пытался понять, зачем Эсэс пригласил нас на ужин. Видимо, приехал он в газету прямо со Старой площади после тяжелого разговора с Поликарповым, который потребовал убрать из газеты «смутьянов». Может быть, сначала хотел рассказать нам об этом разговоре за ужином, а потом, пока я возился у себя, выложил все Михмату. А кроме этого, наверное, хотел с нами таким образом заранее попрощаться — ведь лучшие проводы, когда не думают, не говорят о расставании. Может быть, он и сам тогда уже решил уходить из газеты, но не захотел или не отважился уйти демонстративно, хлопнув дверью...

Я не раз резко спорил и даже ругался с Сергеем Сергеевичем. Но не таил на него зла — и тогда, даже в тот вечер, когда узнал, что он отдал нас на съедение Поликарпову, и нынче, когда вспоминаю о нем через много лет. Конечно, он не представлял, что ждет его в газете, в какие тиски он попадет. Быть может, если бы он не поддавался так давлению Поликарпова, нам бы больше удалось сделать. А может быть, нас прикончили бы гораздо раньше. Кто знает, что сегодня гадать! Так или иначе игра была проиграна.

И все-таки кое-что нам удалось сделать. Мне кажется, мы продемонстрировали, особенно на первых порах, какой может быть газета, если дать ей немного свободы, как оздоровляюще действует на литературный климат повышение художественных критериев. В этом была немалая заслуга Сергея Сергеевича, — в оживлении газеты, в преодолении заскорузлой многолетней рутины.

Лет пять тому назад в электричке я слышал, как два молодых человека говорили о войне. Один из них упомянул Смирнова.

— Это какой же Смирнов?

— Брестский.

Чтобы написать не очень большую книгу «Брестская крепость», потребовались упорный труд и высокое мужество. Надо было по крупницам собрать сведения об обороне крепости, разыскать участников этой героической и трагической эпопеи — иногда это было почти то же самое, что отыскать иголку в стоге сена, — разговорить их, а их военная и послевоенная одиссея приучила не больно откровенничать. А главное, подходы к этой теме были так густо заминированы, что оставляли мало шансов на успех. Требовалось преодолеть официальное отношение к сорок первому году как к времени, о котором лучше не писать, — надо о победах, а не о поражениях. И уж тем более нечего заниматься людьми, побывавшими в плену, — на них лежит несмываемое пятно, как опреде-

лил генералиссимус, «плен — измена родине», кто знает, как они попали в плен, и кто может поручиться, что они вели себя там достойно. Человек, прошедший через плен, автоматически оказывался под подозрением, подвергался разного рода дискриминации, если вообще не попадал за колючую проволоку. Смирнов своей книгой первым поставил под сомнение утвердившуюся презумпцию виновности военнопленных, первым отважился двинуться через это минное поле.

Если бы я писал очерк о Сергее Сергеевиче Смирнове, я бы обо всем этом рассказал подробно, а его работа в «Литературной газете» стала бы лишь одним эпизодом его жизни, увы, не самым счастливым, не самым удачным, и заняла бы в очерке скромное место. Но что поделаешь, я пишу воспоминания о «Литературной газете», именно там судьба свела меня с Сергеем Сергеевичем...

Ушел из газеты Михмат, как было сообщено на летучке, «в связи с личными творческими планами». Вскоре после этого Косолапов отправил меня в довольно продолжительную командировку. Поездка была в основном развлекательной: Баку, Ереван, Тбилиси, читательские конференции, выступления по местному радио и телевидению, одно писательское застолье, переходящее в другое. И компания подобралась приятная: Белла Ахмадулина, женские и поэтические чары которой действовали неотразимо в любой аудитории, Сергей Орлов, единственный среди нас трезвенник, опьянявшийся гипотезами о «пришельцах», Георгий Радов, вполне демократично руководивший нами, в Ереване к нам присоединился Константин Серебряков, благодаря которому мы попали в мастерскую Сарьяна, в Тбилиси — Булат Окуджава. Конечно, они вполне могли обойтись без меня, похоже, что Косолапов просто решил на какое-то время убрать меня из редакции, чтобы не мозолил там глаза. Впрочем, это ничего уже изменить не могло...

Я был рад возможности посмотреть новые края, а главное на какое-то время отключиться от редакционных дел. Работать стало совсем трудно. Литературой никто в руководстве газеты не занимался, место Михмата — зама главного по литературе и искусству — оставалось вакантным. Эсэс почти не бывал в газете. Косолапов разрывался от множества дел. Редакцию все больше прибирал к рукам Олег Прудков, старавшийся во избежание неприятностей всякими правдами и неправдами свести литературу на страницах газеты к минимуму.

Последняя редколлегия, на которой я присутствовал уже фактически в качестве «вольнотрушателя», все знали, что я ухожу, произвела на меня самое мрачное впечатление. Обсуждался план работы на первые месяцы 1961 года. Газету уже подписывал как и. о. главного редактора Косолапов, Бондарев был в отпуске, от раздела выступал Феликс Кузнецов, сдававший под натиском редколлегии позиции. Все дружно дули в одну — поликарповскую — дуду.

В. Косолапов: «Меня больше всего тревожит то обстоятельство, что нашей газете недостает качеств бойца, бойца идеологического фронта, по многим линиям. Мне кажется, что этих качеств нам прежде всего недостает в работе литературных разделов, — я имею в виду отдел русской литературы и отдел литературы народов СССР. Чувствует ли наш читатель, что газета по-настоящему борется за современную тему в литературе? По-моему, наш читатель этого не чувствует».

Г. Радов: «Еще одна беда происходит оттого, что у нас очень узкий круг авторов, которые выступают по литературным вопросам... Основные критические силы ушли в «Литературу и жизнь», там выступают более солидные критики...»

О. Прудков: «Нужно сказать прямо, что у нас за последнее время в общем литературная политика ушла из-под надзора редколлегии, и она находилась в руках товарищей, которые какими бы они ни были сами по себе талантливыми и интересными журналистами, все-таки редколлегию не должны были и не могли заменить. И мы будем и дальше терпеть всякие неудачи и всякие неприятности с отделом критики, если редколлегия всерьез не займется литературными вопросами».

Ф. Кузнецов: «Если бы мы были более строги и более последовательно вели борьбу за идейность литературы, у нас больше были бы развязаны руки по

вопросам борьбы за качество литературы... У нас совершенно нет заслуженных и преданных забвению таких важных жанров, как передовая статья и редакционная статья».

Когда я вернулся из вояжа по закавказским столицам, меня вызвал Косолапов. Разговора этого я ждал, и трудным он был скорее для Косолапова, чем для меня. Запомнил я его хорошо — слово в слово. Не глядя на меня, Косолапов сказал:

— Вы сами понимаете, что дальше работать в разделе литературы вы не можете.

— Понимаю, — ответил я, а про себя подумал: интересно, что бы он стал говорить, как бы крутился, если бы я сказал — нет, не понимаю.

— Виноваты вы, не виноваты, — продолжал Валерий Алексеевич, — все будет приписано вам. Я хочу предложить вам место спецкора при секретариате.

— Спасибо, но из этого вряд ли что-нибудь получится, — меньше всего мне улыбалась перспектива оказаться в непосредственном подчинении Прудкова. — Я могу писать только о литературе. А печатать это будет трудно. И через два-три месяца Прудков или какой-нибудь Крымов (был такой сотрудник международного раздела, который особенно агрессивно нападал на нас, стараясь такого рода активностью компенсировать свое беспробудное пьянство) выступит на летучке, обличая меня как бездельника и дармоеда. Нет, я буду уходить из газеты. У меня есть два предложения, мне нужно решить, куда податься.

— Я вас не тороплю. Взвесьте, осмотритесь. Можете поверить, я очень жалею, что вы уходите из газеты...

У меня действительно было два предварительных разговора — с «Вопросами литературы» и «Литературным наследием». Я выбрал «Вопросы», договорились с Озеровым, который был тогда главным редактором «Вопросов литературы», что начну оформлять перевод.

Но тут произошла история, к которой я имел весьма отдаленное отношение, потому что делами раздела уже почти не занимался, но вина за которую была приписана мне. Косолапов был прав, когда предупреждал меня об этом.

В те дни состоялся объединенный пленум правлений Союза писателей РСФСР, московской и ленинградской писательских организаций, посвященный детской литературе. Освещался он «Литературкой» очень скупно, хотя я даже в положении человека, отстраненного от дел литературы, счел своим долгом предупредить Прудкова, что руководство Союза писателей РСФСР очень болезненно реагирует на невнимание к его деятельности и, игнорируя этот пленум, можно влипнуть в неприятную историю. Что и произошло: когда после окончания пленума его участников торжественно принимал Пospelов, тогдашний секретарь ЦК, входивший в Бюро ЦК по РСФСР, — это было свидетельством большого значения проведенного мероприятия, там, на приеме у Пospelова, посыпались жалобы на «Литературку» — принижает, замалчивает, строит козни. Когда меня называли как того, кто несет ответственность за скупое и бледное освещение пленума, один из писателей, которого задел в отчете, позволил себе антисемитский выпад (я не называю его, его уже нет в живых, и у меня есть основания думать, что он всю жизнь стыдился своей выходки). Его резко одернул Пospelов.

Это скандальное происшествие вызвало разные отклики в литературной среде: одни злорадствовали — поделом «Литературке», с высокомерием относящейся к Союзу писателей РСФСР, другие возмущались антисемитской выходкой — мне даже позвонил Маршак, чтобы выразить свое негодование. И со всей этой историей оказалась связана моя фамилия — по принципу то ли он украл шубу, то ли у него украли шубу. Я не придавал случившемуся особенного значения, но меня вдруг вызвал Косолапов:

— Я хочу вам повторить свое предложение перейти в секретариат спецкором.

— Но вы же уже подписали мое заявление, я оформляю свой переход в «Вопросы литературы», — удивился я.

— Они вас не возьмут. Испугались скандала у Пospelова. Я задержал при-

каз и хочу повторить вам свое предложение. Чтобы не получилось, что вас выбрасывают на улицу...

Через несколько дней собрался секретариат Союза писателей СССР, чтобы разобраться с жалобами на «Литературную газету», высказанными в столь высокой партийной инстанции. В этих случаях полагалось реагировать немедленно. В качестве ответчиков были вызваны Косолапов, Бондарев, находившийся в отпуске и к этому делу непричастный, и я. Но разговор вопреки моим ожиданиям был спокойным, без обвинительного уклона, быстро выяснилось, что вся эта история выведенного яйца не стоит, а я вообще здесь ни при чем. Решено было дать некоторое удовлетворение Соболеву и всей его компании, объявив редакционным приказом взыскание авторам отчета о пленуме — Рассадину и Сарнову.

От этого заседания в памяти осталось одно место из выступления Константина Воронкова (он был оргсекретарем правления — должность не выборная, занимать ее мог и не член Союза писателей, постепенно он избавился от «орг» и стал фигурировать в качестве, так сказать, полноценного секретаря, всячески подчеркивая, что и он писатель). Чувствуя себя чем-то задетым, он сердито произнес: «Ну, ладно, я знаю, что как писателя вы меня считаете за г..., но я же чин, я возглавляю Комиссию по детской литературе, почему не пришли посоветоваться ко мне?»

Прошло дней десять после заседания секретариата, что там говорили и чем все кончилось, дошло, конечно, и до «Вопросов литературы». А я уже, что делать, решил отправиться в «Литературное наследство». И вдруг звонок из «Вопросов литературы»:

— Куда же вы пропали? Когда появитесь, наконец, в журнале?

Я не скрыл, что знаю причину их молчания. Мы объяснились с Озеровым, и все-таки я решил идти работать в этот журнал...

После ухода Михмата, моего, а потом и Сергея Сергеевича команда шестого этажа один за другим покидала «Литературку». Все это произошло в течение года. Бондарев остался внештатным членом редколлегии, но пост редактора по разделу русской литературы перестал занимать. Рассадин ушел в «Юность», Борисова — в «Новый мир», Стеценко — в «Вокруг света», Окуджава и Берестов — в никуда, на творческую работу, позже других Феликс Кузнецов — в «Знамя». Ушли наши оперившиеся, ставшие на ноги «внештатники». У Балтера в «Юности» была напечатана повесть «До свидания, мальчики», имевшая большой успех, до этого первая часть ее под названием «Трое из одного города» появилась в «Тарусских страницах». Максимов в тех же «Тарусских страницах» опубликовал повесть «Мы обживаем землю». Подборку стихотворений и статью «В защиту банальных истин» Коржавина напечатал «Новый мир», его заметил и отметил Твардовский. Занявший мое место Владимир Лакшин не проработал в «Литературке» и года. Пришел конец и нашему «клубу» на шестом этаже: часть его завсегдаева откочевала в «Юность», часть в «Новый мир»...

Как писал Щедрин, «академия де сиянс» приказала долго жить, «просвещение прекратило течение свое... Воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты». Просвещение в «Литературке» действительно надолго прекратило течение свое. А позднее, когда сбросили Хрущева и началась не слишком тщательно маскируемая ресталинизация, наступила пора злобещей тишины и клеветнических шепотов: свирепела цензура, распоясывался КГБ, проведен суд над Синявским и Даниэлем, развернулась охота за диссидентами...

«Вопросы литературы» — мое новое место работы — размещались тогда на Спартаковской улице. Мне нужно было ехать туда на метро до «Бауманской». Но в первый день вместо того, чтобы пойти на «Арбатскую», я, задумавшись, по многолетней привычке свернул на Суворовский бульвар и пошел к остановке пятнадцатого и тридцать первого троллейбуса, которыми ездил на Цветной бульвар. Дошел до остановки и только тут спохватился, что мне нужно не сюда. С этим маршрутом все было кончено...

Евгений Стариков

БАЗАР — НЕ РЫНОК

Общезвестно, что страна наша переживает ныне этап первоначального накопления капитала. Однако сама по себе констатация этого факта, ставшая уже тривиальной, не говорит ровным счетом ничего о типе возникающего рынка. Ибо, как совершенно правильно отметил историк Г. Мирский, «бизнесмены бизнесменам рознь, и капитализм, даже находящийся еще в стадии становления, бывает разного сорта». Сказано это было о странах «третьего мира», но вообще-то применимо к любой стране, переживающей такой этап. Бросим краткий взгляд на то, что происходило в США после 1783-го и во Франции после 1794 годов, то есть после победы в этих странах буржуазных революций. В обеих странах к власти пришла буржуазия, но какая разная! Американский тип предпринимателя — энергичный промышленник, зачастую конструктор и изобретатель. Во Франции же термидорианская буржуазия — пассивные рантье, ростовщики и спекулянты. Если американцы с уважением относились к своим эдисонам и употребляли выражение «good profit» (хорошая прибыль), то французы своих буржуа откровенно презирали, любые прибыли рассматривали как результат воровства и именовали их «grands profits» (жирные прибыли). Англосаксонские страны после своих революций явили пример бурного промышленного и научно-технического прогресса, Франция же надолго превратилась в страну-рантье, где господствовал не промышленный, а непродовольственный, спекулятивно-ростовщический капитал.

Известно, что первые годы (и даже месяцы) жизни ребенка определяют тип его характера и поведения на всю жизнь. Точно так же самые первые шаги зарождающегося рынка задают исходную матрицу, парадигму его дальнейшего развития, предопределяют, быть ли ему полноценным или ущербным. Известно и то, что все высокоразвитые страны базируют свою экономику на рынке, однако далеко не все страны, где есть рынок, — развитые. Причина — в различии предпринимательских субкультур, изначально заложенных в рынок по-американски (по-европейски, по-японски) и в рынок, скажем, по-колумбийски (по-сицилийски, по-нигерийски эт цетэра, эт цетэра).

По причине вышесказанного не могу всерьез воспринимать расплодившиеся в последнее время сентенции такого примерно типа: ну до чего же наивны господа журналисты, увещевающие наших нуворишей не намазывать «подошвы икрой на глазах у полуголодного народа!» Да ведь «это — дикая весна, торжествующий брачный танец раннего капитализма». (Цитирую статью Леонида Радзиховского «Новые богатые. Кто еще хуже богатых? Только бедные», напечатанную в № 6 «Столицы» за этот год.) Так давайте же отвлечемся от моральной стороны дела и посмотрим в корень. Хоть и не симпатичны для интеллигентского взора эти «крутые ребята» и грязны, очень грязны все эти их «баксы» и «лимоны», — не в том суть! К рынку они ведут нас! Не до чистоплутства — лишь бы в рынок проскользнуть. А как проскользнем — изобилие будет! И «крутые ребята» исправятся. То есть (опять цитирую), «уже глубоко войдя в капитализм, люди неизбежно вернуться к осознанию вечных истин». Но это потом. Пока же, до «глубокого вхождения», нам необходима «поистине язычески-исступленная

вера в похабную мощь денег. Если на долларе написано «На Бога мы уповаем», то символ сегодняшней веры «демократов», «патриотов» и «нормальных граждан» — «на доллар мы уповаем». Сим победиши.

Меньше всего хотелось бы морализировать по поводу сих пассажей. Наоборот, примем исходную позицию автора — вынесем (хотя бы на время — вплоть до «глубокого вхождения») моральные оценки за скобки и станем «зреть в корень». Но вот беда — не отделяется никак мораль от экономики! И не будем здесь повторять набившие уже порядочную оскомину высказывания Макса Вебера о роли этики протестантизма в становлении промышленного капитализма. Возьмем для примера нашу отечественную «теневую экономику» доперестроечного периода. Еще с 50-х годов у нас существовал мощный производственный сектор теневой экономики, удовлетворявший товарный спрос пусть «левым», но доброкачественным продуктом, причем по государственным ценам. Несмотря на свой «теневой» характер, это были настоящая промышленность, настоящий бизнес с высокими критериями деловой этики и порядочности. Как свидетельствует бывший советский «подпольный миллионер» (а ныне иностранный бизнесмен) Сергей Ваганов, «теперь, когда мне есть с чем сравнивать, могу сказать, что наша деловая этика мало чем отличалась от нормальных деловых отношений в свободных странах».

Но ведь теперь и у нас — «свободная Россия». Казалось бы, самая пора для «теневого» сектора всплыть на поверхность легальных рыночных отношений. Но вот незадача — еще в первые перестроечные годы этот уже готовый, налаженный рыночный сектор попросту перестал существовать.

В чем же дело? Оказывается, «теневики» на дух не переносили «крутых ребят» и в свою промышленность деньги спекулянтов и грабителей не допускали. Как объясняет Сергей Ваганов, делалось это не из соображений морали. Хотя и «теневой», но самый что ни на есть настоящий рыночный сектор в перестроечные и постперестроечные годы оказался несовместим с мощным разгулом «блатной экономики» (по Л. Радзиховскому — «торжествующим брачным танцем раннего капитализма»). То, чего не смогли сделать работники ОБХСС, успешно добились урки.

Не может частный производственный сектор воспрянуть и сейчас. Причины все те же — невозможность честно вести дела с «крутыми ребятами», плюс отсутствие долгосрочного банковского кредита под нормальные проценты (краткосрочный же кредит под ростовщический процент выгоден лишь для торгово-посреднических операций), плюс грабительские налоги, плюс рэкет чиновничий и уголовный.

Сейчас стало, мягко выражаясь, немодным цитировать классиков марксизма (по крайней мере в позитивном ключе). Нарушу это неписаное табу и приведу вполне уместное здесь высказывание Ф. Энгельса: «Любое... восточное господство несовместимо с капиталистическим обществом; нажитая прибавочная стоимость ничем не гарантирована от хищных сатрапов и пашей; отсутствует первое основное условие буржуазной предпринимательской деятельности — безопасность личности купца и его собственности».

Кто же в таких условиях станет вкладывать деньги в производство? Дураков нет. Нет и места для эдисонов, зато есть место для спекулянтов. Ученые, специалисты экстра-класса бедствуют, бегут из страны, а процветают перекупщики да разного рода мафии. Такой вот у нас «рынок».

Не надо путать дар божий с ячницей, а рынок — с восточным базаром. В основе их различия лежит различие экономических субкультур. У воров номенклатурных, «воров в законе» и просто воров — в сущности, одна и та же уголовно-блатная субкультура, на которой может быть построен лишь купецко-азиатский базар. От обычного, нормального рынка его отличают такие родимые пятна, как неконкурентный тип поведения и стремление к торговой монополии путем сговора или внеэкономического уничтожения конкурента; ставка на спекулятивную сверхприбыль, то есть максимизацию прибыли путем создания дефицита товаров при завышенных ценах; упор не на производственную деятельность,

а на торгово-ростовщические и спекулятивно-посреднические операции; тесная зависимость от коррумпированной власти — феномен «бюрократической буржуазии», хорошо известный на примере стран «третьего мира»; отсутствие не только рыночной культуры и деловой этики, но культуры и этики вообще.

Если эти хамско-базарные черты сейчас утвердятся в экономической жизни, то никакого благостно-цивилизованного «потома» уже не будет: восторжествовавшая криминальная субкультура забьет, заглушит все ростки цивилизованного рынка, превратится на долгие десятилетия, на века в своеобразный генетический код нашей экономики. В качестве иллюстрации можно привести в пример Латинскую Америку: вот уже двести лет там — «рынок» и двести лет — слаборазвитость, нищета, дикие социальные антагонизмы и субкриминальный капитализм. Одним словом, «пылающий континент».

Стыдно воспевать нуворишей, когда из страны бегут те, кто мог бы уже сейчас стать основой истинного, а не балаганного рынка. Так называемый венчурный (рисковый) сектор производства, представленный малыми и средними предприятиями, — главный носитель научно-технического прогресса на Западе, создатель интеллектуального, наукоемкого продукта, высоких технологий, мотор всей экономики. Преимущественно у венчурного бизнеса крупные фирмы и компании заимствуют технологические разработки и прочие инновации.

Может, у нас нет соответствующего «человеческого материала»? Для справки: около 50 процентов всех мировых изобретений сделано советскими учеными. На родине внедрено 0,05 процента. Японские бизнесмены предложили руководству Дальневосточного отделения РАН продать... отклоненные авторские заявки. «Русские играют ключевую роль в нашей работе, — заявил главный конструктор Института передовых технологий в Сеуле Пак Дэ Сук. — Благодаря их помощи институт разработал уникальную технологию, которая примерно на год опережает то, чего достигли японские конструкторы». Всего на процветание южнокорейской экономики работают около 400 русских ученых и инженеров, приглашения разосланы еще 150-ти. Немало наших соотечественников трудится в знаменитой Силиконовой долине в США.

Итак, все идет своим чередом: русские специалисты играют все большую роль в чужеземных экономиках, в российской же экономике все большую роль играют «специалисты» иного рода — с наколками на теле и с кастетами в кармане. «Какой оценки заслуживает государство, — задается вопросом академик Раушенбах, — в котором лучшие интеллекты, мозг нации вынуждены наниматься строить скотные дворы?» Номенклатурно-воровская шайка душит все здоровое, талантливое, порядочное, что есть в стране. Потенциальные творцы русского экономического чуда или спиваются, или вынуждены эмигрировать. Из 200—250 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые в 90-е годы, согласно прогнозам, ежегодно будут выезжать из СНГ, большая часть — эмигранты из России...

Не секрет, что русская культура несет в себе много антикапиталистических, антитоварных, антирыночных элементов и установок, враждебных частной собственности и индивидуальной предприимчивости. Собственно говоря, вся идеологическая борьба между славянофильско-почвенническим и западническим направлениями русской мысли вот уже на протяжении полутора веков ведется вокруг именно этого пункта. Почвенники считают эти черты русской культуры положительными, для западников же они — причина головной боли. Как добиться экономического прогресса на рыночных путях и при этом не разрушить культуру, как приспособить ее к европейским методам хозяйствования, которые все шире распространяются по планете, доказывая свое неоспоримое превосходство, и поэтому являющиеся уже не только европейскими, но и американскими, японскими, южнокорейскими, чилийскими, турецкими?.. Как сделать их русскими, что бы они не потеряли при этом своей идентичности?

Бьется над данным вопросом многие годы и автор этой статьи. Окончательного ответа на него пока что не дал никто. Отсюда можно сделать вывод о необыкновенной сложности проблемы, не решаемой методом кавалерийского на-

скока. Правда, кое-какие истины культурологи в процессе длительной работы все же установили. В чем они заключаются?

Первое: культура — это система, а не простая совокупность традиций, нравов, обычаев и ценностей, сваленных в общую кучу, из которой по желанию можно что-то безболезненно убрать, а что-то добавить.

Второе: культура многослойна. В ней сосуществуют лежащие на поверхности нормы поведения, под ними — общие мировоззренческие принципы и идеологемы, и, наконец, есть у культуры ядро из коренящихся в «коллективном бессознательном» этнических архетипов. Это ядро — своеобразная метаструктура культуры, ее генетический код. Назовем его социальным генотипом этноса. Он скрыт под внешней поверхностью культуры, его присутствие неявно по большей части даже для самих ее носителей. Человек до поры до времени может не осознавать, что где-то в глубинах его сознания и подсознания таится строго упорядоченная система этических и эстетических ценностей и смыслов. Да, до поры до времени... Пока кто-то бесцеремонно и жестоко не попытается нанести удар по этому ядру. Тогда человек инстинктивно почувствует, что покушаются на саму основу его духовного бытия, на его совесть. Реакция будет импульсивно-судорожная, эмоционально-взрывная, яростно-защитительная. Человека (и народ тоже) можно «раскультурить», то есть разломать первый и второй слой культуры. Мы это наблюдаем сейчас у себя в России как результат 70-летнего «эксперимента». Но и в этом случае ценностное ядро не распалось. Отсюда неизбежность регенерации вторичных слоев культуры — пусть в измененном виде, но в соответствии с социо-культурным кодом ядра.

Далее — про культуру и рынок. Ни в одной стране, имеющей развитую рыночную экономику, рынок не создавался посредством разрушения или тотальной смены традиционной культуры. Англия, США, Япония строили рынок не вопреки своей национальной культуре, а на основе ее бережного сохранения и преумножения. К рынку в определенной мере могли приспосабливаться верхний и средний слои культуры, социальный же генотип обладает колоссальной инерционностью. Здесь по большей части рынок вынужден был приспосабливаться сам. И — о странная вещь! Вроде бы явно антирыночные черты социального генотипа, например, Японии (общинный коллективизм, негативное отношение к индивидуальной инициативе и прочие, столь свойственные и нам, русским) оказались отнюдь не помехой для рынка. Только рынок по-японски приобрел явные отличия от рынка по-американски. Не буду распространяться на эту тему, ибо хорошо известны и японская система пожизненного найма, и коллективистские отношения в японских фирмах. Выяснилось, что не надо ломать национальную культуру и расщеплять ядро социального генотипа, если по-умному, с головой подойти к проблеме модернизации.

Есть и обратные примеры, когда в целях прогресса и модернизации горячие головы пытались в один момент весь старый духовный мир «до основания разрушить». Например, якобинцы во Франции. Наломали дров немало, но вот парадокс: чем больше выбрасывали на свалку истории «старого феодального хлама» и чем больше явочным порядком внедряли «прогрессивное», тем больший урон наносили будущему Франции. С самими якобинцами социальный генотип французов быстро справился. Посредством ими же изобретенной гильотины. Но после погрома в сфере культурных традиций Франция оправлялась вплоть до 50-х годов нынешнего столетия — только тогда по уровню и типу капиталистического развития она встала на одну доску с Англией и США. А до этого — четыре революции, смена двух королевских династий, две империи, пять республик, экономический застой. С восточными странами — еще хуже. Там, где пытались нахрапом ввести «прогресс», дело кончалось торжеством такой дикой архаики, что... В общем, не приведи Госюдь. Вывод: реакцией на «культурный шок» станет не распад социального генотипа (необычайно прочного), а конвульсивно-судорожный контрудар страшной силы, использующий самые архаичные резервы и подспудно дремлющие архетипы «коллективного бессознательного».

Как это происходит?

В конце 50-х годов в советских лагерях для уголовных заключенных администрация предприняла мощнейшую атаку на криминальную субкультуру. Ответом было мгновенное по времени и всеохватывающее по территории появление субкультуры на порядок более криминальной. Социолог Валентина Чеснокова пишет по этому поводу: «Можно предположить, что разрушительная агрессия дошла до самого ядра тюремной культуры, и это ядро дало такую мощную ответную реакцию».

Если примеры из жизни «на зоне» не убеждают («мы же не зэки!»), то должны убедить примеры Кампучии («красные кхмеры»), Ирана (хомейнисты), да и России (большевики) — все это мотивы из той же оперы: основной массе населения шокowymi методами, грубо, не считаясь с базисными ценностями национальных культур, навязывалась вестернизация-модернизация. Ответная реакция была страшной.

И все же не следует абсолютизировать неизменность социального генотипа. Истории известны его постепенные эволюционные изменения и даже «мутации». Интересные примеры приводит Игорь Кон: «...В начале XVIII в. в Европе многие считали, что англичане склонны к революции и перемене, тогда как французы казались весьма консервативным народом; 100 лет спустя мнение диаметрально изменилось. В начале XIX в. немцев считали (и они сами разделяли это мнение) непрактичным народом, склонным к философии, музыке и поэзии и малоспособным к технике и предпринимательству. Произошел промышленный переворот в Германии — и этот стереотип стал безнадежным анахронизмом». А взяв отношение западноевропейцев к труду: «Для средневекового ремесленника — это судьба, не вызывающая ни восторга, ни сожалений, которую надо просто принимать как нечто само собой разумеющееся. Протестантская этика поднимает труд до степени религиозного призвания...»

Главное средство трансформации социального генотипа — не агрессивные атаки на него, а рефлексия по поводу оснований собственной веры, рефлексия прежних культурных норм в новой ситуации, когда человек, по словам философа и публициста Сергея Лезова, «обнаруживает, что эта культура лишена некоторых важных содержаний, существенные для него смыслы не выражены в ней и потому она не в состоянии ответить на его «последние» вопросы или вовсе не обладает языком, на котором они могут быть заданы». Систематическая рефлексия культуры относительно своих собственных базовых оснований (социального генотипа) — естественный путь ее изменения в прогрессивном направлении (в нашей стране — адаптации к рынку).

Две глубочайшие ошибки свойственны ныне расхожим рассуждениям о «введении рынка на Руси». Первая ошибка основывается на заученных в школе истматовских истинах о том, что бытие определяет сознание, а базис — надстройку. Отсюда и примитивный вывод: заведем-де сначала рынок, а сознание, глядишь, и само подтянется до уровня рыночного бытия. Будет рыночный базис — рыночной станет и надстройка, следовательно, и культура.

Во-первых, культура — это не «надстройка», а самый что ни на есть базис. Экономические производственных отношений (которые, согласно Марксу, и составляют базис) вне культуры не бывает вообще, ибо культура — это не что иное, как «заученное поведение», экономическое — в том числе, заученное на протяжении столетий и превратившееся в традицию.

Во-вторых, появлению рынка всегда предшествовали такие изменения в культуре, которые придавали частной собственности и товарно-денежному обмену высокую моральную санкцию. Отнюдь не погоня за наживой, не культ мамоны сформировали рынок в Англии и США, а высокие, жесткие и аскетические требования протестантской этики. Труд как долг перед Богом, обществом и самим собой, предпринимательский успех — как реализация сверхзадачи, намного более высокой, нежели само обогащение, безукоризненная честность, верность слову, порядочность, ставшие нерушимой культурной традицией, — вот духовные предпосылки подлинного рынка. Они возникают до его появления, а не формируются после, как некая «надстройка».

Здесь мы подходим ко второй глубочайшей ошибке в понимании формирования рынка. И лучше, чем увлеченный своей идеей Леонид Радзиховский, эту ошибку не выразить: «Но если страна хочет двигаться по пути, который называется «экономический прогресс», она должна заболеть этим слепым, безумным, нелепым культом богатства, слепой завистью к «золотым телятам» — дельцам и желанием подражать им, принять систему их ценностей. Первой должна заболеть молодежь. Это настроение — наркоз (или наркотик), который только и поможет стране не умереть от болевого шока в период рождения капитализма. Тут должна быть поистине язычески-иступленная вера в похабную мощь денег».

На самом деле историки уже давно установили, что «вера в похабную мощь денег» — барьер на пути первоначального накопления, ибо порождает такое явление, как «торгашеский феодализм» (термин Э. Ю. Соловьева). «Торгашеский феодализм» — это атмосфера паразитарного стяжательства, основанного на ростовщичестве, спекулятивной торговле, открытом грабеже общества, силовой монополии. В этой атмосфере гибнут любые ростки капиталистического предпринимательства, ибо оно основано на идеях «честного» дохода, умеренности, трудолюбия и нерушимости договорных обязательств, на определенных правилах и этике конкурентной борьбы. «Мамонизм» — он же «торгашеский феодализм» — явление до- и антикапиталистическое. В его атмосфере задохнулись североитальянская мануфактура XIV века и бюргерский капитал в Германии XV—XVI веков, именно он загубил промышленность Испании шальными деньгами, награбленными в завоеванной конкистадорами Америке.

Сейчас, спустя полтысячелетия, мы начинаем успешно повторять этот тупиковый зигзаг западноевропейской истории. Тут в набат надо бить, а не в литавры.

Хочу подчеркнуть, что я не морализирую, а подхожу к высказанной Радзиховским идее как социолог. То, что он предлагает, на языке социологии именуется аномией, то есть отсутствием всяких норм поведения. Я об этом уже неоднократно писал, повторяться не хочу. Духовный люмпен, маргинал — вот кто здесь нам предлагается. Были в истории явления тотальной аномии? Были. Кто интересуется, может прочитать у историков описания страшного падения нравов в России после опричнины.

Если между рыночной системой и теми, кто желает в ней работать, существует нравственный барьер, то есть если рыночная система не интегрирована в систему национальной культуры, она с неизбежностью превратится в экологическую нишу для асоциальных личностей, маргиналов или просто элементов, для которых наш устав не писан. Подобный, с позволения сказать, «рынок» действует и как паразитарная структура, живущая за счет общества, и как фермент его ускоренного разложения. Что же касается многих из тех, кто сейчас у нас «бизнесмены» (как они сами о себе думают), то тут надо вспомнить слова Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме».

Предвижу реплику читателя: «Что же это вы, Евгений Николаевич, в прежних своих публикациях — все за рынок да за рынок, а теперь, когда в стране с рынком нелады, — на попятную?»

Не откажусь ни от одного слова, сказанного или написанного мною о пользе рыночной экономики для России. Считаю, что рынок — стратегическая цель всей нашей политики. Сейчас же никакого перехода к нему у нас нет. А есть «торгашеский феодализм» (да еще «с азиатским лицом») — главный барьер на пути к рынку. Есть процесс нарастающей дезинтеграции России и ее экономики. Есть развал культуры и массовое бегство наиболее конкурентоспособных («конвертируемых») специалистов и предпринимателей за рубеж. Называть все это рынком — значит привить многим поколениям русских людей рвотный рефлекс на одно это слово. И тогда уже не видать нашей стране в обозримом будущем ни рынка, ни демократии — так все будет скомпрометировано.

Мария Руденко

ПОСЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ: ИГРА ИЛИ МОЛИТВА?

Отмучилась, Царствие
Небесное...

Похороны были по первому разряду. Правда, оркестр подкачал: звуки казались резкими и фальшивыми и иногда предательски сбивались на пресловутый марш в Варьете. Зато речи, речи на гражданской панихиде...

Первое время жили смутно, свыкались с пустотой. «Думаю, в прошлом — и фантастические тиражи книг и литературных журналов, и резонанс, порождаемый ими, и понятие о писателе как о «вероучителе», харизматическом лидере, «совести нации». Боюсь, что в прошлом — и традиционная «литературоцентричность» отечественной культуры, когда литература была по-прежнему «нашим всем», — такой диагноз был поставлен критикой.

«Все в прошлом». Старушка у окна. Картина в Иркутском краеведческом музее.

Выяснилось, что за поминальным столом, меж гостей, «собственного лица не имеющих», находятся две ветви непрямых, правда, наследников, готовых «принять дела». Броский, бойкий, плодovitый поставангардизм, уже имеющий все формальные признаки «школы», оказался не единственным претендентом. Рядом с ним подспудно, но мощно возрасало нечто весьма неожиданное, что я бы назвала неоромантическим или неорелигиозным — «направлением»? «школой»? Не берусь пока найти точное слово. Принципиальное поставангардистское: «без божества, без вдохновенья» и это, неоромантическое: «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Сознавая, что проблеск — еще не свет, я все-таки считаю необходимым писать о нем, хотя догадываюсь, что получится скорее всего не «обзор», а литературно-критическая утопия, гадательная модальность.

Но сначала несколько замечаний, так сказать, «общего» характера.

Страна разделилась сама в себе. Внутри почти каждого поколения (за исключением, пожалуй, истинных виновников чести, в рядах которых нет места предательству своего времени, каким уж его Бог послал, нет места продажности) — оказалось как минимум два. Хищные,

оборотистые наглые хозяева — парвеню и... «мы». Те, кто не в силах бросить на погибель «храм ре-минорной токкаты» (воспетый Галичем), куда не действительны ни пропуска, ни их долларовой эквивалент. В конце концов все мы — в одном храме: спаянные общностью интересов поставангардисты, и разномастные неоромантики, интеллектуалы и «простецы», насмешники и «возрожденцы»; мы заперлись в нем и терпим голод, пока за дверями этого ковчега нарастает девятый вал денежной массы. Но вот — что делать, пока не схлынула мутная вода и не прояснились очертания суши, — играть или молиться?

В том, что происходит, «выжить», то есть сохраниться, каким был, нельзя. Время ставит перед выбором. И все же, все же — стоит ли так отчаянно сопротивляться любой ангажированности, «снимать с себя» духовную ответственность за происходящее, играть с судьбой в бисер («Постмодернизм — игрок в бисер» (Вяч. Курицын))? Не пытаться создать реальность, полноценный, жизнеспособный и жизнеподобный мир, а делать нечто не слишком существенное для самого создателя (чтобы не было больно, если отнимут); то, что может кончиться в любой момент или беспрепятственно длиться вечно? Лишь бы не боль, лишь бы не жизнь...

Или — выбрать «тесный путь»: систему, конструкцию, именно в силу жесткости своей способную выдержать напор любого хаоса, тяжесть любых испытаний и искушений, а они будут, не сомневайтесь. Выбрать адамантовой крепости средневековья, с его четким различием добра и зла, с его незыблемой иерархической системой ценностей: чистый цвет, гармония древних распева, чистота жанров словесности. Путь, выбор, преодоление смущающей «суеты».

Да нет, нет, конечно, не дело писателя и его продукции «спасать мир» без его на то согласия. Как говаривали святые отцы, «спаси себя, и хватит с тебя». Это — «программа-минимум» неоромантика. Если, чтобы спастись, потребует замолчать, он забудет алфавит. Ему, как и поставангардисту, в конце концов не это важно. Игра и молитва — вот полюса, по которым «разносит» не-

когда единое духовное пространство литературы; в пределе, в полном осуществлении, и там, и там — коллапс литературы как типа восприятия; в игре, как мире тварном и пустом, или в высших созерцаниях, «художестве из художеств», где нет места искусству.

Но это — идеал, который вряд ли когда-нибудь осуществится. А пока надо еще что-то читать.

Впрочем, лично я выберу жития святых, или чьи-либо воспоминания, а в качестве отдыха — какую-нибудь Митчелл. А то и эту пародию на наше с вами ошалевшее компьютерное сознание, неслышанное предупреждение, акт отчаяния производства тончайшего поэта Бахыта Кенжеева, что напечатана в №№ 1—2 «Знамени» за 1993 год, — мещанский романик выберу про Ивана Безуглова и заглотну с большим, надо сказать, аппетитом.

«Люди русские, вы можете превратиться в ЭТО; оскотиниться, одуреть до того, что чистосердечно полюбите литературную бижутерию», — вопиет Кенжеев, «наворачивая» эти самые клише и штампы. Вопиет — но не поздно ли?

А ведь, читатель, прочтешь и согласишься украдкой, перекатив за щекой пресноватую, авитаминозную, макаронно-картофельную слюнку: что ж — увя нам! — тынет! Как там, однако, тепло, душисто, аппетитно! И — словно от журналы мод, пусть по-мещански, но как-то отмякает пусть не лучшая, но все-таки часть души. И быть может, есть в этом некая норжковая правда: «Единственным чтением за этим столом должно быть меню» — не так ли, господин Верлен, повелитель аккредитивов и тарифных ставок?..

Разумеется, конец литературы как образа жизни для небогатых, конец ее как рода религии, эдакого «опиума для народа» изменил и положение писателя, еще вчера чтемого, как чтят именно «служителя культа». Время легендарных личностей ушло, поставангардизм сам не понимает, насколько сильно он тоскует о популярности, о лидерстве, о поклонниках, даже если делает вид, что просто обожает анонимное искусство мейл-арта. Как гнетет его эта добровольно принятая несущественность, незаметность, хотя о ней поет он песню на улицах и площадях.

Неоромантик к себе равнодушен. Ему особенно не за что себя ни любить, ни презирать. А вот мир ему по-настоящему интересен во всей полноте — видимый и невидимый.

И если многие критики сходятся на том, что для постмодерна, как явления маргинального, характерно выдвижение на первый план второстепенных литературных жанров, то в «иной литературе», напротив, складывается, а точнее, прорастает через позднейшие наслоения система жанров Византии и Древней Руси. И находится в ней место не только «воинской повести», но и проповеди, исповеди, житию.

Для «нового жития» характерен рассказ от первого лица, сохраняющий особенности речи главного, по сути, единственного героя. Остальные в лучшем случае даны через призму его восприятия, говорят его языком. И если «хорошим тоном» модерна и постмодерна считается грубость, лексика проникает с забора, со стен «туалета Курского вокзала», плотной дымовой завесой заслоняя «идеал Рафаэлевой Мадонны», то «новое житие» дает нам шанс вспомнить те слова, которыми пристало говорить именно о «Рафаэле». Ныне каждое слово реально может оказаться последним. Не стало бы оно «праздным». А если этим «последним словом» о любви будет бессмертный русский мат, а «последним героем» — доблестно сквернословящий персонаж «ангиромана»...

В лингвистической точности «нового жития» нет стилизации: ставка делается на подлинность. Автор сознательно у малывается, исчезает. Он за знамо меньше героя и интересен лишь как человек, имеющий возможность о герое написать. Это — анонимность древних авторов и изографов: «Аз же точно свидетель есмь».

Жанр «жизнеописания», столь популярный в семидесятые годы, в какой-то степени предчувствие «нового жития». Тот же «канон», та же незаметность автора: индивидуальность проявлялась только в выборе героя, «типа святости». Сакрализованная культура создавала своих «преподобных» — ученых-исследователей, писателей типа Гончарова, Лескова, Чехова, Тургенева; «святых воинов»; «мучеников» — революционеров и прогрессивных писателей, к которым причисляли не только Радищева, но и Пушкина, Лермонтова, Грибоедова. Были свои вероучители и пророки — Достоевский и Толстой; свои обличители-юродивые — Писарев, Щедрин, Некрасов. Серия «Жизнь замечательных людей» — не своеобразные ли Четыи Минеи, собрание сонма советских святых? Но если в атеистический «синодик» допускались лишь по заслугам перед властью, в крайнем случае — перед историей, то «новое житие», продолжая иную традицию, выбирает героя по качеству души.

В отличие от «жизнеописания», все же допускавшего «личные» трактовки (вспомним нашумевшие книги о писателях И. Золотусского, Л. Аннинского, Ю. Селезнева) и некое отождествление себя с героем («Достоевский мой мучил, а я — его»), «новое житие» не имеет права на «личность». Смирно признает автор, что пока нет у него ничего общего с избранным героем, кроме надежды стать хоть в чем-то на него похожим. «Скажи мне, кто твой герой, и я скажу, кто ты» — единственное свидетельство о внутреннем мире автора.

Герои «нового жития», как и святые, — вне житейской известности, славы, сокрыты от мира. Они — в глубине, под толщей суеты, незаметны, неведомы,

убоги до отверженности. Перед ними всегда как бы две цели: «ближняя» — вместо того, чтобы уступить, — сделать следующий шаг и успеть поддержать стоящего рядом, и «глобальная», следующий день, следующий шаг оправдывающая: они вслух об этом не говорят, а мы скажем: это — спасение, свое, а по возможности, — ближних.

«Новое житие» — рассказ о том, как, «потерявши душу», себя прежнего «потерявши», человек становится собой.

Очевидно, «Триптих» — первая крупная публикация М. Нарбекова (альманах «Чистые пруды», изд-во «Московский рабочий», 1990). Нарбекову близки традиции Лескова и Мельникова-Печерского, «сказа» двадцатых годов и «деревенской прозы», не случайно и посвящение Ивану Шмелеву. Но нет в тексте и намек на стилизацию и ту «этнографичность», что подразумевает некий разрыв меж «чистым, но примитивным» героем и «интеллектуальным, мудрым» автором. Главная героиня для автора — прежде всего неповторимое создание Божие. Она действительно героиня, но нет здесь ни особого любования, ни умиленного сюсюканья, с которыми почему-то нередко пишут про Церковь и церковных людей те, кто внутренне от них далеки. М. Нарбеков укоренен в этом мире, хотя очевидно, что среда его общения и обитания — скорее всего столичная интеллектуальная элита...

...«Бабой-соломой» прозвали ребятишки псаломщицу деревенской церкви, монахиню разоренного в двадцатые годы Севастианова Пошехонского монастыря Александру Николаевну, «нашу Шуру»...

Всей тяжелой жизнью своей разрешает она неприятное «либо — либо»: выжить физически, любыми средствами, или — любыми средствами, вплоть до голодной смерти, «спастись», то есть выжить духовно.

Есть предел, за которым перестаешь скучать и жаловаться на мироздание, и, если не разрушится к этому моменту непоправимо душа или тело, — сам не заметишь, как начнешь улыбаться чаще, чем в самые счастливые годы. Кто испытал это умиление и этот смех, знает, с каким удовольствием, с какой благодарностью можно рассказывать об испытаниях (ведь Бог спас, повезло, выбрались, можно жить дальше; как это — «ни за что» пострадал — а грехи?), ибо в мире мало по-настоящему страшного и вытерпеть можно почти все. Каждому посылается по силам, а слабому даруется избавление — смерть. «Мне хотелось заболеть да помереть, да так ничего и не случилось», — из рассказа Шуры о лагерном этапе.

Надо только не тосковать да ужасаться, а, приняв случившееся как должное, все-таки ползти, пока не оставили силы. В ожесточении да тоске не найдешь спасения — ни от людей, ни от бесов.

Вот, например, мерзнешь ты в лесу,

зимой, за непосильной работой, уж темнеть стало. Плакать? Ан, нет!

«Раз зимой ельник рубили, уж темно, а мы все работаем. Матушка Эсфирь — она тоже была трудолюбивая — все работает и работает. А уж темно. Я еще в лаптях была, валенки мне не привезли. А я как запою:

Поглядели бы родные,
Чего Шурка делает.
В лапотниках по снежицу
С ельничием бегаешь!

А матушка Эсфирь: «Господи Иисусе! Пойдем все скорее домой. А то она у нас сейчас заплачет».

Шуре повезло: родилась она в зажиточной крестьянской семье, были у нее ласковая мама и добрый, хозяйственный, глубоко верующий отец. Но, не удери она девочкой в монастырь, пришлось бы ей плакать над разоренным революцией хозяйством, стоять у гроба отца, не перенесшего издевательств и ссуденного скоротечной чахоткой. Хотя тюрем, надзоров и лагерей нахлебалась она вдовсталь — уже не как кулацкая дочь, но как монахиня, разделив в полной мере мученический подвиг Русской Православной Церкви.

Шура меньше всего похожа на схематичную иллюстрацию Евангельских заповедей. Вера — смысл ее жизни, но никому не придет в голову назвать ее святой... Как и все нормальные «церковные люди», живет она полнокровной, сложной жизнью. И дела житейские, и горе, и простые радости — все это лишь воспринимается чуть по-иному — иногда необыкновенно остро, чаще — спокойнее, светлее, мудрее.

Вот попала первый раз в тюрьму «Шурка маленькая», тяжело ей, что ни говори, рухнула прежняя жизнь, а впереди — мрачная неизвестность... «Мне говорят: «Иди новых принимай!» Пришла я, обалдела: Матушка Игуменя! ...Принесла я две шайки горячей воды, вымыла ее. Белье чистое подала. А Матушка говорит: «Ничего мне не надо. Я и спать не буду, и есть не буду». «Нет, — говорю, — все, Матушка, все будешь — и есть, и спать...»

По-настоящему страшно может быть только тому, кто считает «самым ужасным» «все обрывающую» смерть. В таком состоянии именно **смертного** ужаса, конечно, не до остроумия и невозмутимости Шуры, спасающих ее от чувства беззащитности и униженности в самых, казалось бы, «унизительных» ситуациях. Так и в момент ареста меньше всего склонна она признавать власть над собой тех, кто пришел за ней («Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить»), преодолевая ту рабски-покорную растерянность («Меня? За что?»), за которую корил себя даже Солженицын. «Забрали босиком, не дали даже одеться... Петухов спрашивает: «А где у тебя муж?» (Это у монахини!) — А я говорю: «Мой муж обьелся

груш, и утащил его уж». — А Куринов говорит: «С такой проституткой разве муж будет жить?» — «Нет уж, — говорю, — проституткой я не была». — «Это, — говорит, — хуже проституции. Придется тебе посидеть». «Не все, — говорю, — сидеть: придется и постоять, и полежаать». — «Не скаль зубы-то».

Последнюю рекомендацию дают несибаемой Шуře весьма часто. Быть может, именно умение увидеть смешную сторону беды спасает ее.

Что оставалось Шуře, изгнанной из монастыря, насильно выданной замуж, оставшейся после тюрьмы и лагеря с двумя маленькими детьми без крыши над головой, без всяких средств к существованию, ослабевшей и больной? Кажется — только звать смерть. Но она вырубает из мерзлой земли прошлогоднюю картошку и стряпает из нее знаменитые «тошнотики» — тяжелые, приторно-сладкие «колобухи». «Истолкла картошки и испекла на сковороде. Пополам разрезали и съели. Слава Богу! Сегодня поели. А день-то хороший!»

Но нужна ли нам Шура, ее детская и святая душа, ее духовный опыт, сама вера, за которую приняты такие муки, ежели нам сегодня так не хватает «самого необходимого», Шуře показавшегося бы роскошью немислимой... У нас еще все впереди, так зачем уподобляться нищей старухе, ведь мы-то не монахи... Нам хочется быть счастливыми, наконец! Но вот парадокс: очевидно счастлива именно Шура. И всем довольна. Мы же — не прекращаем страдать.

«И что же выходит из сего права на умножение потребностей? У богатых — уединение и духовное самоубийство, а у бедных — зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали... Кто же из них способен вознести великую мысль и пойти ей служить — уединенный ли богач или сей освободенный от тиранства вещей и привычек?» (Достоевский. «Братья Карамазовы»).

А поди-ка сохрани на не всегда блаженных и праведных мирских путях чистоту и бескорыстие, хоть в помыслах своих, особенно если рожден ты и вырос на самом дне, если не графское чадо ты и даже не крестьянское, а цыганка-воровка, незаконная дочь деревенского кузнеца... Если дана тебе судьба Сабины Бужор, героини повести И. Митрофанова «Цыганское счастье» («Знамя», 1991, № 1). Ее история должна бы укладываться в пределы истории о «детях природы», погубленных цивилизацией, да о том, что «и цыганки любить умеют». Но есть в этой повести тот свет жертвенности, цельности, внутренней чистоты, что выводит ее за рамки привычных оценок.

Обездоленная, кажется, с рождения, униженная, вечно голодная, прошедшая слишком рано школу воровства, обмана и поругания, что знает, что помнит Сабина о счастье?

Как бежала — несла отцу, еще живому и веселому, ковшик ледяной воды с Дуная? Как поили чаем и учили грамоте добрый военный дядя Витя и его жена Нина? Как нашла на помойке серебряные монеты? Как любила художника Богдана?

Сколько свалилось на сироту — и ни проблеска, ни надежды выбраться, хоть в мир заветной мечты: кочевать с цыганами, как в незапамятные времена, став их королевой — прекрасной, доброй и мудрой. Куда там — трагическая реальность послевоенной Молдавии... Вот, кажется, оно, счастье: вся раскрылась Сабина в любви к художнику Богдану, как раскрывалась раньше лишь в песне да в мечтах. Но спился Богдан, непризнанный, уставший от халтуры, и снова пришло ей ради спасения любви идти на вокзал, добывать деньги на еду, краски, а потом уже и на лекарства... Однако, не смотря ни на что, тон повествования — какой-то необыкновенно светлый, ликующий. Это вообще отличительная черта «нового жития». Герои его в отличие от многих из нас воспринимают благодать бытия как дар, как абсолютную величину. Поэтому так ненавистно Шуře уныние, поэтому не может понять Сабина нашей усталости и апатии, доходящей до отупления, нашего неумения видеть красоту там, где она есть. Это несмирение и производная от него депрессивная тоска по неосуществленному благополучию — черта современная, прежней России не свойственная. И в глазах Сабины мы не русские: «гажѣ».

«В будний день на гажѣ скучно смотреть. Они сами в себе потерянные. Глянь на лица — на базаре, на улице — все как пыльным мешком прихлопнутые. Отчего? Что есть в этой жизни страшного? Что людям в этой жизни надо? Немножко здоровья надо. Немножко покушать надо и выйти в красивом на улицу. Они и одеты красиво, и здоровье имеют, и кушать имеют что, а глянешь на них — жалко их. Они жизни не чувят. Солнца не чувят. Ветра весеннего».

Герои «житий» явно предназначены для лучшей доли. Ах, какой игуменьей была бы Шура, какой цыганской королевой — Сабина! В этом противоречии между предназначением и реальностью (осознаваемом самими героями, кстати) — не осуществление ли слов: «Многими скорбями надлежит вам внити в Царствие Небесное»? Они — именно будущие «граждане неба», и оттого так тяжела их земная жизнь. Нам страшна их судьба — от тюрьмы и до сумы, но они, грань перешедшие, обрели в результате нечто большее. Тебе никто не помогал — тем лучше: ты знаешь, что такое беспомощность и почему другим надо помочь. Когда не предстоит выбор между благом и бедой, ты можешь выбрать только одно: горевать ли в вечном унынии или — показать в улыбке остаток так не выбитых жизнью зубов, сохраняя таким образом душу.

«Покаяния несть во мне» — печалится смиренная Шура; Сабина грешит от безысходности; нераскайная Клавдия («Новая народница» Ю. Андреева — «Звезда», 1990, № 12) никак не может понять, была ли она за свою, весьма разбойничью жизнь хоть в чем-то не права. Покаялась бы — может, меньше бы били. А так — скорбями да делами спасается эта странная душа. Если бы не отношение к испытаниям да не преобразование на старости лет в бескорыстную бабу-травницу, Клавдия была бы тихичной нераскайной старой большевичкой, из тех, кто уверен, что «все было правильно».

Конечно, сама по себе повесть Ю. Андреева, мягко скажем, произведение не первого ряда, если вообще не курьез. Но интересна и показательна она именно в качестве курьезной поделки. Имитация — неизбежная тень подлинных ценностей, она обнажает, делает более отчетливыми законы жанра.

Лет... назад история Клавдии была бы даже трогательна. Крестьянская девочка, красивая и трудолюбивая, «за счастье народа» решившая «воевать», то есть свергать законную власть (дело происходит в польской части Белоруссии). Листовки, агитация и пропаганда, депутатство в Сейме — и тюрьма. Потом — плавание «по партийным каналам» в СССР, через недолгий период «учебы на подпольщика» — лагеря. Муж расстрелян, дети скитаются по интернатам. Возвратившись полуинвалидом, найдя детей, спасает их и себя, как это издавна велось в народе, «травками». Практика расширяется, и вот она — бабка-травница, состоящая на партучете, в костюмчике, с шестимесячной завивкой, регулярно посещающая собрания в жэке. Сведения поступают куда надо, «шарлатанку» дергают, вызывают, проверяют, грозят выгнать из партии. А она «качает права» и огрызается: ведь не для себя...

«И стали они выступать друг за другом и призывать один другого к борьбе со мной, мол, как она смеет нас оскорблять». Но как «бог из машины» появляется Машеров, тот самый, — и правда торжествует.

«Слова мстят», — говаривал Шкловский. Замысел проседает и дает трещины, расплзается и обнажает грубые швы языка. Клавдия изъясняется на чисто литературной смеси Платонова, блатной фени, северного диалекта и газетного штампа. Ее речь — классика имитации. «В лагерях мне много таких попадалось, которые совести не теряли и готовы были жизнь отдать за други своя... судьба их хранила. А разного рода придурки, пристебан уголовные исчезали бесследно». А вот через несколько строчек: «И я до конца поняла смысл своей жизни и увидела, что должна до конца посвятить себя борьбе с бедностью, со сплошной темнотой человеческой жизни и неграмотностью». Соседствуют диалектная форма «извлекчи» (о «шлаках»)

и «сильная, патриотического содержания, речь».

Но и в этой вкривь и вкось рассказанной истории о нелепой жизни партийной знахарки, хорошего, по существу, человека, финалом ложатся Шурины слова о том, что никому она не завидует, ибо и «вправду богаче всех». Под толщей суеты хранит Клавдия смирение, что освещает ее дни лучами ежедневного счастья. Так же, как и Шура, старается она восстановить гармонию бытия ударным трудом лагерным («будто — свободные»), «борьбой за справедливость», врачеванием своим. И неистребимо в ней ощущение какой-то высшей правды, реальности иного порядка. Конечно, нельзя ее назвать человеком верующим — на Бога она может и прикрикнуть, но законы божеские признаёт. Может быть, оправдывается она — «делами», и, может быть, тип заблуждающейся праведницы станет в будущем открытием «нового жития».

Тянет человека излить душу, поисповедоваться — и пишутся мемуары. Однако желание «поделиться воспоминаниями» редко становится именно исповедью. Не к тому, чтобы услышал Господь, «Который в тайне», и отпустил грехи, стремится автор, но к тому, чтобы услышал и «оценил по достоинству» мир. Нам свойственно вести духовную жизнь на показ, и, пропадая во мраке неизвестности, что приравнивается к катастрофе, мы, пожалуй, предпочли бы, чтобы нас услышали в первую очередь люди, а потом уж — Бог. Рассказывая о жизни своей, меньше всего мы собираемся каяться — чтобы не повторилось; скорее — хвалимся прежней удачей, сожалея, что нет уже силы и азарта для прежних грехов. Наша мечта — возвратиться в прошлое, то есть в счастье; согреться хоть воспоминаниями без надежды на свет завтрашнего дня; Рай — не впереди, не на небесах, наградой — а в прошлом. Для нелicenseмерно исповедующегося любое прошлое есть ад, ибо много в нем греха. Но прошлое есть путь, по которому должен ты был прийти к Вечности. Так написано «Житие протоппа Аввакума»; так работал и продолжает, судя по новым публикациям (заключительные главы «Последнего поклона» — «Новый мир», 1992, №№ 2—3 и первая книга романа «Прокляты и убиты» — «Новый мир», 1992, №№ 10—12), работать Виктор Астафьев; таковы и записки И. Карпова «По волнам житейского моря» («Новый мир», 1992, № 1).

В последнем случае перед нами «исповедь за всю жизнь», единственная, трагическая, сумбузная. То — прогреб по годам, десятилетиям, то — остановка на детали, частности — иголкой, в стогоу найденной, укусившей до крови. «Как мог я все это вынести?» — дивится рассказчик — и вдруг обрывает речь на полуслове, пораженный: так вот он, перст Божий. Здесь — предупредили об опасно-

сти, здесь — испытывали, здесь — нака-зали, здесь — спасли... И становится ясно, что главный-то вопрос для человека не «за что?», а «почему?» — и ответ на него добывается всей жизнью.

Чистосердечие — черта для неоромантического сознания принципиальная («Блаженны чистии сердцем») — вырывает эти воспоминания из «мемуарной литературы», склонной к абберациям и выгодным подтасовкам, и заставляет рассказывать о своей жизни, как не о своей, так, как мог бы рассказать о ней смотрящий на человека с небес его ангел-хранитель. Выкладывается «как на духу» все — и достоинство, без ложной скромности, и стыд-позор, и колебания, и восхищение неизреченной Божией милостью, и «разборки» с самим Господом Богом.

Фактом новой словесности (несмотря на то, что написана она не вчера и человеком немолодым) стала исповедь И. Карпова. Конечно, далеко кротчайшему красноречивому дьякону и до протопопа мятежного, и до одного из лучших современных писателей русских, но есть черты, сближающие написанное ими. Прежде всего — отношение к беде. Тут нет глупого геройства, нет и гордыни страдальца; при том, что описания болей и бед вполне натуральны, даже подчас натуралистичны. Прожитая и преодоленная жизнь была ужасна — но нет в тоне ни самодовольства победителя, ни апатии побежденного. Это — путь побеждающего с Божьей помощью. И обстоятельства, и самого себя.

Как похожи судьбы Ивана Карпова, Шуры, Сабины, астафьевских сибиряков-крестьян! Как тяжело достается им все, как легко их обездолить, как беззащитны они! И видимая канва их жизни схожа: от относительного счастья и довольства — ко все большим бедам и лишениям.

Счастлирое, незабвенное время в монастыре, архиерейский хор, должность псаломщика, семья, хозяйство, дом, революция, сан дьякона, гонения, издевательства, бегство из родных мест, арест, лагерь — вот судьба Ивана Карпова. Почему, ну почему так убог и жесток мир?

Формулы-решения нет и в «новой» словесности, но герои ее, вопрошающие, тем не менее удастаиваются некоего ответа — и тогда в сердце приходит надежда и покой. И, может быть, дьякон Иван, с трудом подбирая слова, прорываясь сквозь свою «нетактичность» и малограмотность», скорбя о своей «отсталости от современной жизни и культуры», самой судьбой своей и ее вершинной-исповедью умудряется как-то ответить на «достоевские» вопросы. Это — парадокс неоромантического сознания, не могущего ни победить зло мира, ни примириться с ним. Только внутри себя дана человеку возможность власти над хаосом, лишь в своей душе человек может, если хочет, гармонизировать сошедшее с ума бытие.

Банально, простенько, избито? А ну-ка, попробуйте сами. И, к сожалению, боюсь, очень скоро поймете, что невозможность собрать рассыпавшееся бытие назад, в лукошко — одна из пыток нашего времени. Но — только ли нашего? Всю жизнь носит ее в себе Виктор Астафьев. Вновь и вновь возвращается он памятью на те же места, к тем же дорогим могилам, незабвенным лицам. Не может и не хочет примириться с утратами, простить их — Богу и людям. Не прощает своей боли и читателю, Хлещет наотмашь по душе: мало, — на еще, страдай, как мы страдали, пей до дна чашу, не миновавшую нас, как ни молили мы пощадить и помиловать. Будьте вы все прокляты и убиты, прокляты и убиты, как ТОГДА прокляты и убиты были мы... Нет, это не мстительная злость — просто кровоточит и не заживает рана, и скорее всего не заживет уже никогда. Испытание растоптанным счастьем — как выдержать его, как найти в себе силы возблагодарить и за это Господа Бога? Да и сможет ли кто-нибудь выдержать эту пытку — знать, какой должна быть жизнь, любить, видеть, обладать подлинной красотой, гармонией, смыслом — и наблюдать в бессилии, как гибнет все это безвозвратно и навсегда... На этом-то разрыве между потеряннм, незабвенным раем и рукотворным адом рождаются мучительные, пыточные интонации астафьевских книг. Астафьев с самого начала, по сути, работает в жанрах, близких именно к житию и исповеди. Так и роман «Прокляты и убиты», что начал с десятого номера за прошлый год печатать «Новый мир», — не что иное, как крестьянское «житие новомучеников Российских». Страдают, гибнут, всхлипывают: «О, Господи!» Но — «прокляты и убиты». Ни света, ни выхода, ни надежды. Все — так, все — было, и хуже было, и страшнее, и безысходней — но не оставляет ощущение, что это все-таки не вся, неполная правда. Чего-то не хватает на этом полотне. А, да и точно — неба... Вот и превращается роман по отношению к тем, кто до сих пор еще читает книги, — в добивание лежачего, в войну Миколки с лошадкой — и по кротким, плачущим глазам — так тебе, так...

Кажется, что роман «Прокляты и убиты» написан на несколько лет раньше, чем заключительные главы «Последнего поклона»: они как-то мягче, глубже, умудреннее. А может быть, обнаженному, изболелшемуся сердцу пока под силу только исповедь?

О сломанных, убиенных душах вопиет Астафьев: есть ли после этого справедливость у Господа Бога, и есть ли...? И на грани отчаяния вдруг чувствует: есть. И завершает последние главы «Последнего поклона» не осуждением, не оправданием — молитвой: «Вот на вере в чудо, способное затушить пожар, успокоить мертвых во гробе и обнадеежить живых, я и закончу эту книгу, сказав в заключение от имени своего и вашего:

Боже Праведный, подаривший нам этот мир и жизнь нашу, спаси и сохрани нас!»

Так «разрешается» и «Забубенная голловушка», повесть о человеке, жизнь давшем и жизнь отравившем,— о знаменитом астафьевском папе. Мучители, позоре семейства, и все-таки — отце. Жестокие, раздражительные слова Астафьева — от сострадания, брань от бессилия помочь, «вытянуть». Только любящая душа будет так сердчать, как сердчат и злится Астафьев, ведь самые жестокие, язвительные и точные слова слышим мы от самых близких. Астафьевские выпады сродни материнскому: «Чтоб ты сдох!» Подлинная любовь в ослеплении может лупить и по своим.

«Внимаю товарищу детства моего, обрюзгшему от пьянства и безделья, а из проигрывателя с подаренной мне записи современный монах плаксиво ведет: «Мир тебе, одиноко бредущий, и тому, кто тебя приютит». И не хочет в минутной запальчивости своей вспомнить Астафьев, что непростая судьба самого певца-иеромонаха Романа (Матюшина) будто написана именно астафьевским трагическим пером, что отец Роман — своими средствами — борется с тем же злом и не менее Астафьева скорбит о России. Но — он более навек молиться, а не «обличать». Поэтому священнический возглас «мир вам» — человеком пусть верующим, но светским воспринимается как неприятное юродство: «Что толку в твоём молитвословии?» — А в писательстве? Никто не может приютить сразу всех «одиноко бредущих» — нигде.

А вот понять, пожалуй их, часто неприбранных, неприятных, много в жизни своей себе и другим навредивших... «...Вижу, капитан мой, директор, непобедимый зверобой, плясун, на карачках ползет по выдвигающему трапу, хватаясь за ступеньки, «Счас коньки отброшу, счас коньки отброшу» — повторяет. Тут на глиной припачканных, скользких ступенях самолета вскипело, рассиропилось мое траченое российское сердце, и простил я папе все и навсегда». Не за обстоятельства жизни дадим мы ответ, но за свое к ним отношение. Астафьев не прячет ни испуганной любви-жалости,

любви-вины, ни приступов раздражения и злобы. И хотелось бы верить, что зачтется ему эта исповедь.

...Мы сейчас разъезжаемся: кто-то — резко вниз, к земле, злой и хваткой, кто-то — резко вверх, к свету. Культура, с ее средним положением, между небом и землей, ролью «чистилища», в силу этой межеумочности, принятой за универсальность, необходимая еще вчера, не поэтому ли беспомощна и безмолвна сегодня?

Эра разорванного сознания и модернистской эстетики вместе со спокойными временами прошла безвозвратно. Мир сошел с ума, и человек, чтобы не свихнуться вместе с ним, стремится к «простой», но спасительной гармонии. Много и прекрасно сказала литература о душе, но часто ли касалась духа? В сегодняшней России душа человека в ужасе замерла, если не омертвела, и средствами литературы ее не воскресить.

М. Эпштейн в своей апологии новой «литературы конца» чуть не лейтмотивом делает пушкинское «делать нечего». «Делать нечего», да, но герои все же действуют, идут, взыскав справедливости. Противостоят хаосу способна словесность, внушающая доверие. От многого придется отказаться душе, чтобы выстоять — даже от русского классического надрыва, ведущего в конце концов к авангарду.

Для избалованной всенародной любовью словесности нашей начался период «взрослых» искушений. Она перестала быть насущней насущного хлеба, и, чтобы выжить, ей придется заново доказывать свою необходимость тем, кто уже давно и никому не верит на слово. Действительно, прежние пути пройдены, возможности и ресурсы кажутся исчерпанными, и какова будет история того, что осталось после литературы — падение в воронку последней бессмыслицы или обретение вечного смысла?

Не слишком ли опасно сейчас, сегодня, тратить, быть может, решающие часы, сводя счеты с жизнью или играя в бисер на бочке с порохом у подножия той самой горы?

ЛИТЕРАТУРА И МОРАЛЬ

Известная нескромность слова — признак зрелости культуры, ее искушенности, светскости, эмансипированности. Так было всегда. Особенно в конце эпох, в конце каких-либо длинных исторических периодов, царствований, когда старые боги уже не страшны, а новые еще не появились. Это время барокко, когда место этики в сознании образованных людей занимает эстетика. Морализм еще жив и огрызается: одних художников отправляет в чудовищные ссылки (к нам!), других наравне с грабителями кидает в узилище, творения третьих держит под спудом... И сейчас на страницах нашей прессы продолжается старый, как мир, спор — вечный спор христианства с античностью, пуритантизма с барокко.

Мы тоже переживаем конец эпохи — советской, ура-коллективистской, и одновременно на нас бросает свою тень зрелость культуры общемировой... А в глазах еще — кровавые мальчики, еще мучают нас Вечные вопросы. Да и не вечные тоже: нищета, преступность, одичанье. И как всегда в отсутствие цемента, кирпича, денег — все должно исправиться **словом**. Отсюда серьезность разговора, хотя бы и литературного, судейская в тоне, абсолютность требований.

«Родненькие! Какая-то свобода? Тысячу лет нашей свободой было — нахамить и украсть. И по мере возможного воспроизводим все это и теперь. Вот поглядите!» — говорят нам и показывают современную отечественную литературу. Ну да, зрелище так себе. Страшно? Нисколько. Ни одна эпоха не была собой довольна. Можешь — напиши лучше. Вопросы вызывает тон дискуссий, самодовольная уверенность, что все, что ни делают современники, — убого, пошло, малокультурно (а потомки, возможно, обнаружат бездны).

Нет, не умеем быть свободными — ни от эпохи, в которой живем, ни от своих пристрастий. Лишь обрели прямую речь — и уже пошли пугать друг дружку

А. В. Вяльцев — критик, автор статей о современной литературе в периодической печати («Независимая газета», «Литературная газета», «Культура»). В «Знамени» публикуется впервые.

ку последствиями. И вот, вооружившись лупой и Евангелием, авторы критических статей начали атаку на новую литературу. Очень осерчали критики, что не вносит та в жизнь Истину, Добро и Красоту, иначе говоря — разумное, доброе, вечное, в которых Некрасов отказывал Достоевскому, но которые прозревал в забытых ныне писаниях графомана и «русских дев кумира» Добролюбова.

Вопрос о моральных задачах литературы — из тех, из вечных, поэтому любой ответ на него заведомо неубедителен. И не в добре и не в истине (хоть с большой, хоть с маленькой) тут дело. «Художник обязан приводить в порядок собственное творчество, а не окружающий мир», — говорил Андре Жид. Уровень современной отечественной литературы действительно невысок, но, может быть, потому, что прежняя наша словесность никуда не годилась. «Реакцией на предшественников» назвал феномен творчества Иосиф Бродский. Нынешний нарядный неореализм и концептуализм — тоже реакция. Все это болезненно и намертво срослось с прежней жизнью и отойдет вместе с ней. Пафоса становится меньше. Гоголь и Ахматова читаются, а Солженицын уже нет. Его даже, страшно сказать, начинают печатно поругивать! Конечно, это не значит, что наступило время Эдички Лимонова и Юрия Мамлеева. Почитываем из любопытства: в пишущих знаменитостях, у которых не довелось прочесть ни строчки, всегда есть «омут тайны соблазнительной».

Или вот, скажем, такой мэтр андеграунда, который достоин того, чтобы попасть в самый центр начатого разговора: Веничка Ерофеев. «Хорошо» это или «плохо»? Могу без обиняков сказать, что на протяжении целого десятилетия он изрядно веселил нас посреди нашей никудышной жизни в кондовой. Как скрашивали по-своему эту жизнь Высоцкий и «Голос Америки».

Но, положи руку на сердце, или, как теперь полюбили говорить, «по гамбургскому счету», — так ли велик Веничка на фоне нашей некогда богатейшей культуры, он ли по сей день «диа-

метральное направление» нашей литературы?

Почему печатавшийся при «застое» Битов имеет, кажется, больше шансов войти в золотой фонд мировой словесности, чем прославленный в андеграунде и растиражированный нынче Веничка? Потому что Битов работал в русле традиционной культуры, примериваясь к ее неизменным требованиям, а Веничка писал для «тусовки». Там же, в тусовке, выковыляли свой стиль и Нарбикова с Ванеевой, и Пригов с Виктором Ерофеевым, Сорокиным, Дарком и прочими «чернушниками» и «авангардистами». И появление такой литературы лишь отчасти можно объяснить по аналогии с подобной на Западе, иными словами: «шибко грамотные стали и страх Божий забыли, поэтому и пишете черт-те что!»

Ни для кого не секрет, что и «чернушная» литература и исход «во храм» зарождались в одну эпоху и на одних кухнях. И вплоть до весьма недавнего времени (скажем, лет пять назад) еще неплохо уживались друг с другом. Да и сами эти «чернушники», несомненно, все сплошь крещеные и верующие. Парадокс? Да, но только для марсиан или шведов. Странно об этом забывать, как и странно преувеличивать разницу. И как теперь резко теряют остроту настроения «тусовки», а заодно и все ею сделанное в искусстве, так и наша скоропалительная религиозность, я думаю, по-немногу пойдет на убыль. Большевиков-то уже нет, некого обманывать (говорю не про всех, но про многих).

Мы жили в специфических условиях и создали такое явление, как советский андеграунд. В поисках истины практиковалась особая дальновзоркость, но перспектива при этом довольно сужалась. Целые пласты культуры открывались заново, другие почти полностью исчезали из виду. Заново открытое усваивали плохо, понимали — еще хуже. По одну сторону баррикады был многоученый конформизм и бесплодие, по другую — самоуверенный дилетантизм и пододонная творческая активность.

Оговорюсь: то, чем в основном занимался (и занимается) пресловутый авангард, — не искусство. Это карнавално-развлекательная буфонада для своих. Пир во время чумы, когда многое позволено именно потому, что будущего не предвидится, солнце не встанет. Авангард — это не литературное направление, это — позиция, времяпрепровождение. Живя в небывалой реальности, мы имели и небывалое искусство, в терминах обычного искусствоведения не описываемое. Кричите: почему у нас такая «чернушная» литература? А почему у нас такая «чернушная» жизнь?

Вообще искусство андеграунда неотрывно от **контекста**. Идеолог авангардной поэзии Лев Рубинштейн помещает «центр тяжести» произведения не в рамки текста (как делает традиционное искусствоведение), а где-то «между авто-

ром, текстом и читателем». Важно не произведение как таковое, а диалог с читателем, зрителем, диалог, который не произведением начался, не им и закончится. То есть «проблема авангарда не решается на уровне текста» (альманах «Личное дело №...», М., 1991).

С этой точки зрения будущего у современного авангарда нет: изменился контекст, изменилась среда, изменился зритель. Если автор не изменился — тем хуже для него. Поэтому ни к чему причитать по поводу усиления чьих-то позиций и «захвата культурной авансцены». Все, что делается сейчас, — неопасно, хотя бы потому, что неактуально. Всплыло на поверхность все накопленное в самиздате за десятилетия. Причем в «толстых» журналах это все же не печатается, а печатается изредка в «Юности», которая никогда не котировалась как «толстый» журнал. Да и «Юность» отбирает лишь наиболее нейтральное из творчества нынешних знаменитостей. Да, выходят их книжки, но кто теперь не выпускает собственных книжек?

Такая литература обслуживает тонкую прослойку прожженных ценителей, мечтающих о русском *fin de siècle* и *poètes maudits* (проблтых поэтах), без которых невозможны полноценные богемные переживания. Уверю вас, что этих ценителей ничем не сворачишь и на порчу сидений в метро не направишь. Люди это тихие, домашние, общественные, а если и развлекаются как-то **так** в области слова, то только потому, что реальная их жизнь исключительно правильна, однообразна и лишена приключений. Они и грешат в книгах, и «подвиги» совершают тоже в книгах (а иногда **через книги**: тот же альманах «Метрополь»).

Бояться текстов вообще странно. Это раньше писатель вещал, проповедовал, обличал, напяливал на себя жреческие одежды и карабкался на треножник. Современная русская литература освободилась, кажется, от роли ясель, где человек учат первым цивилизованным навыкам. Как, я надеюсь, освободился и читатель от желания приписывать ей эту роль. «Вообще не следует понимать в слишком уж точном и мелочном смысле слово поэта или мазок живописца», — говорил Гете. И прежние эпохи лакировать не стоит: Пушкин наш какие фортели выкидывал! Это ведь он сказал, что первыми книгами, которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание стихотворений Баркова... До сих пор не вышло. Проявляем слабость и неуважение к мнению классика*. Что не было во зло Пушкину, наверное, и нам не будет во зло — не то видали. Так же и в Достоевском мало светлого и жизнеутверждающего: в каждом романе по несколько убийств и самоубийств, и вообще — атмосфера нездоровая, безумная.

* С момента написания статьи слабость, кажется, преодолели. — **Авт.**

Исторический опыт доказывает, что писать можно как угодно, лишь бы это было талантливо. Строки, которые вызывают слезы, очень полезны душе, и в этом полезном качестве напоминают лук. Но было бы нереально надеяться, что всей литературе в целом можно достичь своего идеала. Само прохождение времени с книгой многоблагодарно и умиротворяюще, и лучше пусть книгой будет читаемая Нарбикова (есть же любители), чем не читаемый Дант.

Мне не меньше других противно, когда автор по скромности дарования привлекает для фабрикации текстов свою душевную гниль, наглость и клевету на человечество. Кстати, когда года два с половиной-три назад я, моя жена и наш приятель стали вспоминать, что же нам больше всего запомнилось из обожаемого Нарбиковой Г. Миллера (которого мы читали в «ксере» года за три до этого), то я вспомнил эпизод, где миллеровский дружок рекомендует яблоко в качестве отличного средства для онанизма, жене припомнился индус, наложивший в биде, а нашему приятелю — как герой романа перепортил всех девушек в русских семействах, в которых ему оказали гостеприимство. Тоже показатель.

Стало уже общим местом говорить, что теперешняя литература пребывает в некотором ступоре. Две поправки: когда говорят о «теперешней» литературе, имеют в виду «вчерашнюю». И наблюдаем мы не ступор, а смерть этой литературы. И даже не потому, что она «плохая» — и гибнет в конкуренции с «хорошей». Просто на нее распространяется закон жизни глубоководной рыбы: привыкшая к темноте и большим давлениям, она гибнет при «улучшении» условий существования. Падение консервативных барьеров поставило точку на многих излюбленных авторами темах и приемах. С исчезновением цензуры отпала необходимость в дистилляции мыслей и положений, нету больше любовной проработки мелочей, которые когда-то и были зачастую всем, что оставалось от произведения после прохождения его через все инстанции. Цензура, как бы плоха она ни была, являлась все-таки «подсказкой» — о чем не надо писать, куда не надо соваться, тем самым она сберегала силы писателя от траты их на титанические (и бесплодные) попытки объять необъятное опыта и жизненных противоречий.

В новых же, «неправильных» авторах многих привлекают именно их бесстрашие встать за любую тему, способность писать без льгот и Переделкино, их беспартийность, безылюзорность, их некая европейскость, наконец. Они и пишут-то, словно хотят показать, как должен выглядеть свободный художник либерального времени: умный, пресыщенный, немало циничный.

Христиански окрашенный вариант литературы, может, и благолепен, но ску-

чен. И пахнет такой духовной цензурой, что Боже избави! (По мне, область ее деятельности и должна ограничиваться вниманием к тому, чтобы слово Бог писалось с прописной.) Ведь для художника свобода — это то же самое, что для рабочего лопата: *conditio sine qua pop.* И всякий ущерб в ней, незаметный для прочих, для него смертелен. Кому была обузой брежневская цензура? Уж наверное не простому рабочему Пантелею Грымзину, всегда мертвецки пьяному после шести. А ведь это в его интересах производятся все измывательства над искусством.

Если есть полюса, есть и все, что между ними. Широкие рамки способствуют развитию искусства. Зачем поднимать шум из-за авангардистов, будто никого, кроме них, и на свете нет. Это значит ставить их в особенное, вовсе не заслуженное ими положение. После подобного внимания общественное мнение и направляет на объект критики свой бинокль, и слава, хоть худая, хоть добрая, действительно становится скандальной. И результат может быть как раз обратным.

«Новохристианские» филиппики сливаются по тону с недавними проклятиями большевиков: «сумбур вместо музыки» об опере Шостаковича и «хулиганство в литературе» про стихи Есенина. Дело не в том, что в одном случае шельмовались гении, а в другом... еще не ясно. Дело в интонации, в задыхающемся голосе, нагнетании истерии, подготавливающей почву для внелитературного вмешательства в судьбу литературы.

Мои расхождения со многими иными — это не расхождения в оценке, но лишь в определении рамок, в которых должен вестись разговор о литературе, в определении тех приоритетных вопросов, которые должны интересовать литературную критику. Если вы пишете о литературе, подразумевайте будущее именно литературы, а не человечества вообще. Литература в конце концов такая же частная и специальная область, как и всякая другая. Нарбикова, может быть, и плоха, но не потому, что «металлисты» пишут в лифте. С точки зрения надписей в лифте и Достоевский никуда не годится. Им бы ремня хорошего, а не книжки совать.

Мало говорить истинные вещи вообще. В искусстве важно сказать истинную вещь в ее частном случае, в каком-то ее, истины, наклоне, ракурсе, не существовавшую ранее или пропущенную правду. Поэтому беллетристику будут читать несравненно охотнее, чем учебники жизни. Иные пишут — мы читаем. Так же как «Ударница» выпускает, а мы носим. Может быть, плохо выпускает, и при большем выборе мы бы ей показали, но пока что делать нечего. Слава и известность все же вещи мистические. Имя появилось и застряло в головах. Почему — никто не знает. Но, наверное, — почему-то. Вот загадка.

Параша, полная елеса

Александр Агеев

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РОССИЯН»

...**О**дно время моя жена работала бактериологом, и ее разговоры по телефону с коллегами, помнится, несказанно меня раздражали, поскольку в них бесконечно и в совершенно диком для моего уха контексте употреблялось почтенное слово «культура». В конце концов я не выдержал и задал жене вопрос, с гуманитарной точки зрения почти бессмысленный: «Что такое, по-вашему, культура?» Она открыла (для точности дефиниции) два три профессиональных справочника и деловито продиктовала: «Культура — это совокупность однородных микроорганизмов, выращенных на питательной среде». Причем для разных микроорганизмов нужна разная питательная среда: для одних варят сироп, для других — мясной бульон. В сироп или бульон микроорганизмы «сеют», и они через некоторое время буквально расцветают, образуя «культуру»...

Этот «бактерио-культурологический» сюжет вспомнился мне, когда я прочитал серию книжечек издательства «Палей» под многообещающим названием «Жизнь замечательных россиян».

Читатель, которому не довелось держать эти книжки в руках, услышав название серии, представил себе, должно быть, ряд фундаментальных томов в твердых переплетах, гравюры и виньетки. На худой конец — скромный, но солидный «шестидесятнический» облик книжек молодоговардейской серии «Жизнь замечательных людей»: серенький корешок с факелом, строгие черные буквы.

Но увы! Жульнические времена. Времена странных пропорций и диких масштабов. В такие времена даже о маленькой глупости сообщают «городу и миру» аршинными буквами. Если на фасаде написано «Супермаркет» — стало быть, это тесная, грязная лавка; а если на обложке стоит «Все о бизнесе» — так это тощая, глупая брошюрка, набитая чудовищными опечатками.

Та же история и с новым «культурным начинанием» таинственного московского издательства. Каждая книжка серии — крохотная тетрадка в 32 страницы, напечатанная или на слишком плю-

хой, или на слишком хорошей (должно быть, обложечной) бумаге. Впрочем, удобно читать в метро, в очереди, рассовывать вместо листовок на митингах. В выходных данных стоит скучная цифирь: «Формат 45x60¹/₃₂». Гораздо лучше звучало бы: «Формат пропагандистский № 1. Бумага типографская № 2». Однако не настаиваю — издательство «Палей» строго блюдет советские традиции.

Так кто же выбран в президиум, то бишь причислен к лику, виноват, удостоен почетного звания, сиречь выдернут с вещами? Сбиваюсь, путаюсь в стилистике, потому что выбраны, причислены, удостоены и выдернуты следующие широко известные товарищи: преподобный Сергей Радонежский и Александр Проханов, отец Дмитрий Дудко и Александр Стерлигов, Эдуард Лимонов и Сергей Бабурин, Виктор Анпилов и Геннадий Зюганов. Ну и, само собой, Александр Глебович Невзоров. Этаким, знаете ли, собирательный Петр Великий — «и мореплаватель, и плотник». Есть зыния (где, например, прекрасный пол в лице Нины Андреевой и Сажки Умалатовой?), но у серии, по слову какого-то злого пересмешника, «все спереди».

Дописал я до этого места, перечитал написанное и с глубочайшей тоской подумал: «Господи, как они мне все надоели!» В самом деле: их пиджаки, рясы, кожанки и даже знаменитые эдичкины брюки за последние год-полтора власть изжеваны целой армией журналистов. У всякого нормального читателя должен уже на эти имена возникнуть условный рефлекс. Как у павловской собаки. Я, например, вышеназванным рефлексом уже обзавелся и, стоит мне услышать либо прочитать славные имена, как меня тут же начинают мучить зевота, сонливость, падение мышечного тонуса.

Можно было бы, конечно, вдоволь повеселиться, подобрав десяток-другой совершенно убийственных цитат — таковых, уверяю вас, избыток в любой из книжек серии. Можно было бы, опираясь на другие цитаты, еще раз напугать впечатлительного демократического читателя «красно-коричневой», «красно-белой» и прочей серо-буро-малиновой опас-

ностью. Но смех — штука двойственная. Развенчивая и леча от страха, он примиряет. Попробуйте, посмеявшись над уродством тарантула, беспечно от него отвернуться. Что же до страха, то у него, как известно, глаза велики. Много чести для самых что ни на есть «замечательных россиян».

...И я подумал, что все-таки хорошо быть бактериологом. Посеешь на бульончик какую-нибудь тошнотворную гадость вроде синегнойки и рассматриваешь ее себе сквозь микроскоп с интересом и пользой...

Желали того или нет изобретатели и создатели серии, она есть некий обобщенный образ выросшей на наших глазах, года за два-три утвердившейся и расцветшей «культуры». Эта серия, если хотите, еще и своеобразный проект культуры будущего — того, понятного, маловероятного будущего, в котором к власти придут «замечательные россияне» Бабурин, Зюганов и Стерлигов.

С этой точки зрения все интересно в «Жизни замечательных россиян» — состав «действующих лиц», манера изложения, уровень владения русским языком, даже опечатки.

Наши культурологи утомительно спорят о достоинствах и недостатках «массовой культуры», разумея под нею либо дешевый импортный продукт, либо местные неуклюжие подделки под него. Между тем уже родилась, сформировалась и готова заполнить полупустую нишу подлинная, самобытная, по-молодому наглая и агрессивная «культура масс». Тех самых масс, о восстании которых Ортега-и-Гассет писал еще в 30-е годы. Справедливости ради следует сказать, что эта культура не такая уж и новость для России — в первое десятилетие после революции она было зацвела пышным цветом — читайце Зоценко, Добычина, Ильфа и Петрова, которые оставили о ее недолгом цветении выразительные свидетельства. Но большевики, замахнувшись на мировое господство, пожелали иметь культуру, соразмерную их монументальным замыслам, а потому загнали все прочие в подполье. И вот настал час освобождения — вышли на белый свет не только Пригов с Рубинштейном, но и весь наш кондовый «андеграунд» в лице Назара Ильича, господина Синябрюхова под ручку со Степой Лиходеевым... Да и отчего бы, в самом деле, не иметь им своей культуры?

...И они ее поймали — в полном объеме. История? Традиция? Есть история, есть традиция! «Слово и дело», «Битва железных канцлеров», «Нечистая сила». Косьма Минин и Пожарский с Пржевальским. Петр Аркадьич, опять же... «Но на израненном теле России, преданной правителями, вновь расплодилось сонмище паразитов, и нынешнее нашествие грознее прежних» (из брошюры об А. Стерлигове). Какова картина вшивой России?

Литература? Есть литература! «Да,

сегодня, несомненно, время Александра Проханова... Его техницизм близок техницизму Андрея Платонова, его империализм близок империализму Николая Гумилева... по своему дарованию Александр Проханов — великий авангардист, и потому государственный, эстет и консерватор, как Константин Леонтьев и Василий Розанов, как Владимир Маяковский, наконец» (В. Бондаренко об А. Проханове). «Эдуард Лимонов, на мой взгляд, очень близок Сергею Есенину. Настоящему, подлинному Есенину. Поэту с нежной душой и с резкими, грубыми поступками... И тот, и другой молодыми, красивыми, влюбленными вошли в русскую литературу без приглаженности, с черного хода, не спрашиваясь ни у кого...» Бондаренко, пишущий о Лимонове, — разве не достойно это кисти Глазунова?

Праведники? Есть праведники! «И будет наше смутное время казаться светлым и внятным, будет оно освещено его честью, его совестью, его мужеством, его верой в нравственные силы своей Родины, своей России. Итак, зовут его Сергей Николаевич Бабурин, и имя это Россия уже знает, как, слава Богу, уже знает она имена Макашова, Павлова, Алкснйса, Умалатовой и других своих настоящих сынов и дочерей».

Словом, для быстрого и решительного возрождения России все готово. «Добро возобладает над вселенским злом. Русичи освободятся от пут темных сил, ярма рабства, унижений и нищеты. Россия перестанет кормить, обогревать и ублажать (?) полмиллиарда неведомых ей (?) дармоедов...» (из брошюры об А. Стерлигове).

Как всякая массовая культура, эта культура явственно тяготеет к эклектике и кичу. Не к той эклектике и не к тому кичу, которым балуются пресыщенные, «оставшие от культуры» эстеты, а к эклектике и кичу подлинным, варварским, без рефлексии и комплексов. В сущности, каждую из книжечек «Жизни замечательных россиян» можно читать как изощренный постмодернистский текст, как мастерски сделанную пародию или как произведение соцарта. Но это, увы, уже настоящий, а не ряженный хам пришел, пришел и сказал свое, заветное — искренне, от души. И нам, чтобы не разводиться потом руками (любимый жест немецкой эмиграции времен Гитлера), есть смысл вслушаться в это хриплое косноязычие.

Все книжки серии по-своему замечательны, каждая демонстрирует ту или иную «грань» новой хамской культуры, но образцовый ее текст — это, конечно, брошюрка о Невзорове, которую написал — кто бы вы думали? — Иван Иванович Иванов. Неизвестный гений, о месте рождения которого еще будут спорить семь городов...

В самом деле: давненько мне не приходилось читать столь новаторского сочинения. Ну кто бы посмел «в поисках

жанра» создать такой восхитительный сироп, такой гремящий бульон из жития, тюремного «романа» и габэшной «объективки»?

Иван Иванович — не какой-нибудь там «субъект повествования», но какая-нибудь презренная буржуазная «личность». Он существо эпическое, стало быть — устное, а потому не стреноженное правилами грамматики, орфографии и синтаксиса. За ним, должно быть, с диктофоном ходили, а потом благоговейно расшифровывали записи, сохраняя, как Гильфердинг в «Онежских былинах», все драгоценные особенности произношения. Так, сочинение свое Ивану Ивановичу угодно было назвать во множественном числе: «Жизнеописание А. Г. Невзорова». Впрочем, не поручусь, что он не имел в виду женского рода... Пару раз — по недосмотру корректоров, должно быть — появляется в тексте правильное, скучное «жизнеописаниеЕ». Но это все милые мелочи — как и «перипатетики», «скоропосильный», «неистовоали», «депортмент», «конспирация», «имитаторы», «не мыслимо» и, пр. Настоящим новатором Иван Иванович выступает в построении сюжета, в выборе способа типизации и в создании особого, неповторимого пафоса, которым окрашено все сочинение. Специфика этого пафоса — смесь родственной, хамоватой фамильярности и восторженной, благоговейной почтительности. То ли Иван Иваныч и Александр Глебич на одной параше сидели, то ли были одним миром мазаны. (Миром — через «ижичу».) Вот, например, как игриво-возвышенно повествуется об одном из эпизодов удивительной жизни юного Александра: «В одном из монастырей Александр уже готов был принять постриг, но помешало какое-то искушение в виде местной прелестницы, юной девы». Впрочем, как пишет с восхищением Иван Иваныч в другом месте: «Сам Александр Глебович отказался комментировать эти легенды, дескать, время еще не пришло, и, будучи в дурном расположении духа, ответил нецензурно, посоветовал заняться более полезными делами державы». Какова фраза! Куда там Платонову — здесь подлинное!..

Создавая образ Невзорова, неизвестный гений, не отдавая себе в том отчета, следует сразу трем литературным и одной фольклорной традиции. Имею в виду традицию агиографическую (житийную), бульварный роман, «положительного героя» соцреализма и устную традицию повествования об удачливом, неуловимом воре. Это, в сущности, «джентльменский» культурный набор современного человека массы, каковым и является Иван Иваныч.

В качестве героя бульварного романа Александр Глебович должен иметь «высокое» происхождение, осложненное какой-нибудь семейной драмой. Так и есть, но «знатность» героя определяется в канонах соцреализма: его дед — «вы-

сокий красавец — генерал в форме КГБ». Впрочем, рисуя портрет деда, автор снова ориентируется на бульварщину — словно воскресший Немирович-Данченко (не тот, другой) описывает Скобелева: «Георгий Владимирович Невзоров крут был беспримерно. Отчаянно смел! В полковничьих погонах (!) сокрушал банды лесных братьев, хаживал на литовцев врукопашную...» Однако демократичность, то бишь «барачность» Иван Иваныча тут же дает себя знать, и роскошная дворянская фраза кончается «по-нашему», по-дворовому: «...и дрался во всех драках, которых много было в 46—55 годах в Литве».

Вообще Иван Иванович обладает, как автор, удивительным чувством равновесия. Он не дает своему герою впадать в крайности. Чуть только образ Александра Глебовича начинает слишком резко отдавать елеем («юный, в подражание»), Иван Иваныч тут как тут с уравнивающей, эгалитарной парашей. Чуть только в облике Александра Глебовича слишком явно выступают проступают черты лихого бандита-гастролера, который «с автоматом в одной руке, камерой в другой» кондотьерствует по Европе от Балкан до Прибалтики, как чуткий рапсод вставляет в свое повествование вполне житийную интермедию: «Там, в Сербии, вместе с отрядом сербов-партизан он прошел всю линию фронта с автоматом в одной руке и камерой в другой. В прифронтовой полосе он неожиданно повстречал женщину и девушку-проститутку из России. Мать, опытная московская путанка, прошедшая сквозь злачные круги богемной Москвы, привезла на заработки свою юную дочь, прелестное создание. Александр Глебович буквально вырвал из рук матери-торгашки девушку и повез ее в Белград в советское посольство. На прощание он ей сказал: «Зачем тебе эта «французская» жизнь? Поезжай в Россию — спасешься!» А в день рождения Невзоров получил письмо, в котором была вложена фотография этой девушки с молодым лейтенантом. На оборотной стороне несколько слов: «Спасибо, Александр Глебович! Будет сын — назовем Александром, дочь — Сашенькой!» Впрочем, не знаю, чего тут больше — агиографии или соцреализма. Как-то двоятся светлый облик Невзорова, смахивая одновременно и на Георгия-Победоносца — помните «чудо о змии»? — и на добродетельного секретаря райкома, перевоспитавшего гулящую девку и устроившего ее семейное счастье. Кстати, как поступил наш герой с «матерью-торгашкой», которая прошла «злачные круги»? Может быть, пристрелил?..

Повествуя о таком многогранном герое, автор просто обязан продемонстрировать крайнее простодушие, быть стократно глупее персонажа. Вот, например, Иван Иваныч пишет: «Поразительно, но сам Александр Глебович весьма неохотно отвечает на вопросы о своем

участии в действиях партизанского отряда...» Еще бы он отвечал охотно! Александр Глебович в отличие от Иван Иваныча знает, как квалифицирует международное право это самое «участие в действиях партизанского отряда» на территории иностранного государства... Да и вообще, если допустить, что все, рассказанное в этой книжечке о Невзорове, — чистая правда, то по Александру Глебовичу давно плачут тюрьмы нескольких государств. Так что книжечка сия — не только житие, бульварный роман и повесть о «неуловимом Джо», но и добросовестный донос — истинно советский жанр...

Кстати, книжка о Невзорове — единственная, где нашла-таки выход до того скромно сдерживаемая гордость издательства «Палея» самим собой. Долго терпел Н. Мишин, но все-таки вырвалось. Итак: «У «Палея» безупречная репутация. Книги «Палея» тщательно изучают: ЦРУ, Белый дом (Москва), Президенты, дипломаты, политологи». Недурно бы взяться за их изучение также культурологам, антропологам, психоаналитикам и юристам. А там, глядишь, и зоологи с микробиологами подспеют... Самые существенные открытия совершаются, как известно, на стыке наук.

Но что это, однако, меня так разобдало? У нас ведь нынче свобода, права человека, всеобщий въезд, выезд и съезд. К тому же вся эта барачная культура

на самом-то деле, без увеличивающих и возвышающих ее призм микроскопа феноменально худосочна и скучна смертельно. Содержимое параша, как ни сдобривай его одеколоном и елеем, дает всему питательному «бульону» основной аромат. Ведь хам отлично знает, что он хам, что папа его не «кобедневший граф» и мама его не «богемская принцесса в изгнании». Он знает, что он уродлив, неграмотен, третий месяц немыт. Именно поэтому он так напористо и нагло врет, так простодушно пускает пыль в глаза, так многозначительно молчит, когда ему действительно нечего сказать.

Беда в том, что у обнаглевшего хама всегда находятся меценаты, ценители «свежести» и «здорового примитива», искатели чистых родников духовности, не отравленных еще заразой «буржуазной культуры». Они слушают красноречивых Смердяковых, трясут почтенными сединами и шепчутся друг с другом: «Нет, положительно, в этом что-то есть. Такая энергия, такая нерастратченная наивность!»

Ах, профессор! Снимите очки-велосипед, пока вам их не разбили! Ваш коллега, Васисуалий Лоханкин, был тысячу раз неправ — нет во всем этом никакой «сермяжной правды» — только подлая лакейская ложь... Бросьте вы верить в «гущу народную», из которой выходят люди «с нежной душой и с резкими, грубыми поступками».

ОТ РЕДАКЦИИ

Статья Н. Работнова «С дровами в XXI-й век?», опубликованная в № 11 журнала за прошлый год, вызвала обильную почту. Оказалось, что, несмотря на тревожную социально-политическую обстановку в стране, людей живо волнуют проблемы развития и безопасности энергетики, остро поставленные Н. Работновым. Писали и специалисты, и люди, далекие от энергетики; мы получили короткие реплики и целые исследования, продолжающие и развивающие дискуссию.

В этом номере мы публикуем часть откликов на статью Н. Работнова — они представляют разные точки зрения на проблему.

Разговор, начатый статьей Н. Работнова, необходимо продолжить. Причем будем сперва говорить не об основном содержании статьи, а о проблемах энергетики, которые «заслуживают самого широкого, но трезвого обсуждения».

Начиная повествование, Н. Работнов пишет: «Высказываются все — политики, экономисты, журналисты, экологи. Но в этой разногласии почти не слышно тех, кто реально, на основании знания истинного положения вещей (выделено мною. — В. Р.) представляет себе, что на нас надвигается». Правда, заканчивая статью, Н. Работнов признается в том, что изложил свое личное мнение, «основанное на ограниченном опыте». Попытаемся исходя из иного ограниченного опыта дополнить сообщаемое Н. Работновым хорошо известными фактами.

1. Вводная часть статьи целиком посвящена энергетическому кризису, который якобы имеет место в нашей стране. И чернобыльская катастрофа (Н. Работнов упорно называет ее аварией) — чуть ли не прямое следствие энергетического голода. Отсюда логично вытекает необходимость строить новые ТЭС, ГЭС, АЭС (лучше АЭС). Для АЭС, видите ли, топливо уже добыто и лежит на складах.

Мы уже слышали подобную аргументацию. Помните, как нас убеждали в абсолютной необходимости строительства грандиозных систем каналов для переброски стока северных рек? Слава Богу, остановились. Но ведомственный зуд неистребим. Строить очень хочется. А нужда совсем в ином.

В России сегодня нет дефицита электроэнергии. Есть ее в высшей степени расточительное потребление. Чтобы сберечь запасы энергоносителей, чтобы привести энергопотребление к норме, нужно вкладывать средства в энергосберегающие технологии, структурную перестройку производств, обновление энергопотребляющего оборудования, а не вводить все новые и новые мощности. Их все равно не будет хватать, пока мы не научимся экономить энергию в большом и малом — везде.

Что говорит мировой опыт? По данным МВФ и МБРР, потребление энергии на производство единицы ВВП составило в 1989 г. в Великобритании — 27, Японии и ФРГ — 28, во Франции — 26%, если за 100% принять энергопотребление в бывшем СССР. Мировой энергетический кризис 1973 г. повсеместно привел к реализации крупных государственных программ энергосбережения и с 1973-го по 1989 г. в этих странах энергопотребление на единицу ВВП сократилось на 26—44%. Только в бывшем СССР оно осталось неизменным.

Исходя из приведенных данных, потенциальные возможности экономии энергии в России можно оценить как минимум в 35—40%. Существует региональная неравномерность размещения энергетических мощностей. Ее и следует устранить строительством новых электростанций, включая отвечающие нормам безопасности АЭС.

2. Н. Работнов скрупулезно перечислил все нетрадиционные источники энергии (солнце, ветер, приливы, геотермальное тепло), не обошел вниманием и малые ГЭС, ставшие нерентабельными, но почему-то забыл о блочных энергоуста-

новках, а их уже сегодня в высокоразвитых странах тысячи. Например, в ФРГ их суммарная мощность достигла 589 МВт и увеличилась на 52% всего за три года — с 1988-го по 1990-й. Очень важно, что двигатели многих блочных энергоустановок работают на отходящих промышленных газах или на биогазе, получаемом при очистке сточных вод. Так в регионах с большой концентрацией промышленных предприятий и высокой плотностью населения комплексно решаются энергетические и экологические проблемы. Блочные энергоустановки дают электрическую и тепловую энергию, не загрязняя атмосферу, так как отработавшие газы проходят через эффективные нейтрализаторы. Достаточно низкая стоимость получаемой энергии обусловлена использованием дешевых энергоносителей, высокой степенью автоматизации и высоким кпд (до 90%).

3. Та же забывчивость проявилась в перечислении стран Восточной Европы, где были построены АЭС с нашими реакторами. Упомянуты Чехо-Словакия, Болгария, Венгрия, но не ГДР. И не случайно. После объединения Германии атомные электростанции в восточных землях были сразу остановлены. И это в стране, энергетика которой в огромной степени зависит от импорта нефти и природного газа. Но там безопасность людей ценят выше, и (от греха подальше) заглушили реакторы, не соответствующие западным нормам.

4. Получение энергии путем сжигания ископаемых органических веществ имеет два принципиальных недостатка: их невозобновляемость и поступление в атмосферу дополнительного количества углекислого газа. Н. Работнов напрасно иронизирует по поводу дров в XXI веке. Растительная биомасса уже сегодня привлекает к себе пристальное внимание ученых и инженеров как возобновляемый энергоноситель, выделяющий в процессе роста кислород и поглощающий углекислый газ. Отработаны технологии получения высококачественных жидких топлив из отходов древесины, опилок, стружек, городского мусора. Этого сырья десятки миллионов тонн. Выход жидкого топлива — до 30%. В сельскохозяйственной энергетике уже нашли применение в качестве топлива растительные масла, продукты их переработки, а также спирты из биомассы. Например, урожай рапса с 1 гектара дает тонну корма скоту и рапсовое масло, заменяющее около тонны нефтяного дизельного топлива. У хорошего хозяина в дело идет все! Биомасса — дрова XXI века — самый экологически чистый энергоноситель среди органических веществ.

5. Говоря об энергетическом балансе предвидимого будущего, Н. Работнов в качестве альтернативы АЭС оставляет только ТЭС, работающую на угле, т. е. наихудший из возможных вариантов. А довод — угля хватит на тысячу лет! Но речь ведь о предвидимом будущем, точнее, о XXI веке. На его первую треть хватит разведанных запасов нефти, а тем более природного газа. Через 30—40 лет станут широко использоваться технологии газификации углей, получения топлив из тяжелых нефтей и горючих сланцев. Зачем же сравнивать экологические характеристики допотопных угольных ТЭС и современных АЭС? Ведь технологии очистки дымовых газов ТЭС постоянно совершенствуются. Нельзя прогнозировать будущее, исходя из наихудшего варианта угольной ТЭС или АЭС чернобыльского типа. Мы обязаны видеть весь фронт развития ТЭС и АЭС в обозримой перспективе, все возможные способы обеспечения их безопасности. Кроме того, нельзя все сводить к производству электроэнергии. А горючее для тракторов, автомобилей, самолетов и т. д.? Ведь суммарная мощность двигателей внутреннего сгорания в пять раз больше мощности всех электростанций.

6. Статья Н. Работнова в основном посвящена доказательству недоказуемого: безвредности часто пересматриваемых допустимых доз радиации для жизни и здоровья, небольшой тяжести последствий катастроф 1957-го и 1986 годов. Нагромождаются пожары, наводнения, взрывы, землетрясения, аварии самолетов и автомобилей, вред от алкоголя (будто станем меньше летать или пить водки, если построим блок-миллионник на новой АЭС). Мол, окружающий мир очень опасен, а атомная энергетика ко всем факторам риска добавляет совсем немного.

Спорить по этому поводу нет нужды. Исчерпывающие ответы на подобную аргументацию дал Андрей Дмитриевич Сахаров. Возьмите в руки «Знамя» № 12 за 1990 г., откройте «Воспоминания» на стр. 57 и прочтите главу «Непороговые

биологические эффекты». Вы узнаете, что безопасных доз радиации не бывает. С убыванием дозы уменьшается число пораженных, но не степень поражения тех, кому «не повезло». Вы узнаете, что недобросовестные авторы уже не раз приволили необоснованные сравнения с другими, не имеющими связи с обсуждаемым вопросом причинами смертности, и «доказывали» большую опасность пачки сигарет в сравнении с ядерными испытаниями. Такие приемы информирования общественности Андрей Дмитриевич очень точно назвал логическим, моральным и политическим заблуждением.

Анонимность подавляющего большинства жертв радиации, проявление ее губительных последствий в последующих поколениях, невозможность однозначно трактовать причины возникновения заболеваний открывают широкий простор для разного рода манипуляций под флагом борьбы с радиофобией. Н. Работнов призывает внимательно отнестись к пятнадцатилетнему опыту работы в условиях тысячекратного, а позднее трехсоткратного превышения естественного радиационного фона. А зачем, собственно, всем нам (детям, беременным женщинам, старикам с ослабленным здоровьем в том числе) примерять к себе дозы радиации, воздействию которых подвергались практически здоровые взрослые люди, добровольно согласившиеся работать в особо вредных условиях, дающих право на сокращенный рабочий день, ранний выход на пенсию при меньшем стаже и т. д.? Говоря, что степень опасности чернобыльской катастрофы «была осознана и меры приняты адекватные», Н. Работнов, видимо, забыл им же в этой статье написанное: «...никто из них долго, иногда трагически долго, не понимал, что именно произошло. Руководство не забило сразу тревогу...». Это явная нестыковка, а есть и сокрытые.

Например, целый параграф посвящен пользе рентгеновской диагностики и лучевой терапии, но ни слова нет о том, что врачи-рентгенологи расплачиваются за продление жизни и заботу о здоровье других людей сокращением собственных жизней в среднем на пять лет. Это в чистом виде действие радиации в «безопасных» пределах.

Опасность радиоактивного заражения местности не сводится к внешнему облучению, дозами которого оперирует Н. Работнов. Многие радиоактивные элементы имеют свойство убивать медленно, накапливаясь в организме (особенно растущем). Если корова или коза пасется на загрязненном лугу, где в траве, к примеру, 1 мг стронция-90 на единицу массы, то в молоке — 10 мг, а в костях и молочных зубах ребенка, пьющего такое молоко, — 100 мг. Локальных доз облучения при этом достаточно, чтобы вызвать раковое заболевание...

Хочется надеяться, что публикация моего письма дополнит тот «стереоэффект», о котором идет речь в предисловии редакции к статье Н. Работнова. Ведь стереоэффект предполагает трехмерное пространство, а сопоставлялись лишь две публикации.

И все же — с дровами в XXI-й век!

В. Д. Резников,
кандидат технических наук
Москва

Хочется выразить глубокое удовлетворение от статьи Н. Работнова, ибо практически почти впервые прозвучала научная Правда о радиации и показан тот вред, который наносится обществу от разгрома АЭС и, добавлю как врач-профессионал, от радиофобии. Подтверждаю все факты, приводимые в статье. И добавлю хотя бы один. Из 931 больного хронической лучевой болезнью (см. мою статью в журнале «Мир радиологии», 1991, № 8), несмотря на большие дозы радиации (200—400—600! бэр), за 40 лет умерло 177 больных. Это ниже, чем естественное вымирание взрослого населения развитых стран! На 1990 г. среди живых — 115 человек в возрасте от 70 до 87 лет! (При средней продолжительности жизни мужчин в России — 62,5 года!) Хочется надеяться, что ваш журнал продолжит публикацию не фальши, что делалось всей прессой до сих пор, а Правды о радиации.

Радиационные профпатологи, радиологи, гигиенисты располагают огромным опытом, который, увы, до сих пор на 90% все еще томится в секретных отделах. Не верите? Приведу факт — из более чем 100 моих научных работ (монографии, статьи, доклады, отчеты) пока в открытой печати лишь несколько!

Я и мои коллеги убеждены, что без АЭС не только нам, но и человечеству не выжить. Поэтому так ценна статья Н. Работнова.

И в заключение несколько слов о себе. В 1947 г. окончил 1-й ЛМИ, в 1950-м — клиническую ординатуру, после чего был направлен в г. Челябинск-65, где прошел путь от зав. з/п плутониевого завода до ст. науч. сотр. и зав. клиническим филиалом Института биофизики МЗ. На протяжении сорока лет ежедневно лечил больных всеми формами лучевой болезни. В мае 1986 г. работал на Чернобыле.

Всего вам доброго. Ваш

В. Н. Дощенко
Челябинск

В отношении энергоресурсов Россия по-купечески спокойна, но из многочисленных источников известно, что нефти глобально хватит на 30—40 лет, газа немногим больше, угля на несколько сотен лет. Но уголь не может быть полноценной заменой нефти и газа, поэтому сегодня весьма актуален вопрос о ядерной энергетике и ее перспективах. При этом сторонники АЭС обычно ссылаются на Францию, ничуть не задумываясь об отдаленных, хотя бы в масштабах десятилетий, последствиях такого шага, как не задумывались пионеры первой промышленной революции об уже начавшейся экологической катастрофе. Но история, как известно, никого и ничему не учит. В этом аспекте люди ничем не отличаются от бабочек-однодневок, различие только в масштабе явлений.

В свете сказанного статья Н. Работнова написана весьма профессионально, все в ней — правда, только правда, ничего, кроме правды. Но — только с одной стороны, как говаривал М. Жванецкий. Поговорим же о том, о чем энтузиасты АЭС предпочитают умалчивать: кому охота рубить сук, на котором сидишь?

Так вот, в энергетическом производстве отдача на единицу энергетических же затрат составляет: по нефти — 10, по углю — 4,8, по АЭС (без учета затрат, связанных с авариями и экологическим захоронением радиоактивных отходов) — 2,7. При этом ресурс АЭС составляет всего 25—30 лет, и восстановлению они не подлежат. Так, в США (которые, кстати, после аварии на АЭС Три Майл Айленд в 1976 г. прекратили проектирование и строительство новых АЭС) к 1990 г. отработали свой ресурс 35 АЭС, к 1995 году их станет 66, а к 2000 г. — 150. В Англии находятся на отстое 20 ядерных подводных лодок, отработавших свой ресурс: их демонтаж равен стоимости строительства новых, а топить подлодки в океане, предварительно залив их бетоном, не разрешает общественность по экологическим соображениям. У нас, правда, с подлодками нет проблем — мы их просто топим, как Герасим Муму.

При развитой атомной энергетике существует перспектива нарастающего загрязнения биосферы смертельно опасным плутонием, а также сильными генетическими ядами — тритием, криптоном и др. По опубликованным данным, если темпы развития ядерной энергетики сохранятся, то к 2000 году глобальное заражение биосферы одним лишь тритием в 8 раз превысит санитарный уровень, что откроет эру биологического вырождения человеческой цивилизации по законам действия отдаленных последствий облучения, о которых сегодняшняя наука, кормящаяся от политики, старается не вспоминать. Помните кинофильм «Через тернии к звездам»? Только спасателей в данном случае не будет.

Существует также принципиальная проблема захоронения радиоактивных отходов, которое таит в себе угрозу возрастающего загрязнения среды радионуклидами, несущими смерть всему живому. Не случайно ведь возник в обсуждениях вариант выброса отходов в космическое пространство. Нелишне при этом еще раз напомнить об опыте Франции, которая 70% своих потребностей

обеспечивает за счет АЭС. Ответ здесь прост: если все страны пойдут по пути Франции и достигнут ее уровня, то мир людей исчезнет.

Теперь нелишне вспомнить о термояде, эйфории ученых по поводу которого вроде поубавилось, но работы продолжают и средства на науку в этой области, надо полагать, идут немалые. Похоже, что наука водит здесь политиков за нос. Об этом говорил еще акад. П. Л. Капица, считавший токамаки и лазерный метод тупиковыми направлениями. Лазерный метод потому, что первичный энергоноситель здесь — это энергетический поток нейтронов (мощностью, скажем, в несколько сотен или тысяч МВт!) со всеми вытекающими отсюда последствиями. В случае токамака (кольцевая камера) причин несколько. Первая — космический уровень разрежения рабочего тела (плазмы), из-за чего требуются циклопические размеры ТЯЭС. Вторая причина — проблемы с исходным энергоносителем — тритием: его получают облучением лития на ядерных реакторах; литий же, в свою очередь, в природе рассеян и труднодоступен для добычи. Третья причина — ресурс рабочей камеры токамака составляет всего 5—6 лет. Ее восстановление (ученые, наверное, пока не решаются говорить о могильнике) должно вестись автоматами без присутствия человека и экономически вряд ли целесообразно, если иметь в виду, что ожидаемая экономическая отдача у ТЯЭС — из-за ее большей сложности — будет скорее всего еще ниже, чем у АЭС, возможно, вообще окажется ниже единицы. На все эти вопросы официальная наука ответа не дает, точнее, уходит от них, так как работает пока в режиме научного поиска, без учета инженерных проблем экономики и экологии.

Каков же выход из положения, создавшегося в энергетике и экологии? Если признать, что положение тупиковое (этому имеется достаточно оснований, как у динозавров), то надо всем нам, всей цивилизации изменять сам способ своего существования на более скромный и экономичный, с возвратом людей к труду на земле. Времени для подготовки к такому переходу осталось совсем мало — пара десятков лет. Если не успеем, считают некоторые авторы, наступят социально-экономический шок и смерть всей цивилизации, возможно, не первой на Земле.

Ю. М. Осецкий
Киев

...Чем виновата система? Ее большая вина в аварии на ЧАЭС в том, что при ее фактическом попустительстве в стране процветала общая расхлябанность, пренебрежение своими обязанностями (и, в частности, профессиональными инструкциями), погоня за планом любой ценой, за дешевизной в ущерб надежности, секретомания, очковтирательство, порочный подбор кадров, возмутительно либеральное отношение к низкому уровню профессиональных знаний и общенаучной подготовки значительной части выпускаемых специалистов.

Сообщаю: ни я, ни мои родственники и друзья не принадлежат к числу проектировщиков и эксплуатационников АЭС, и все, что я хочу в связи с обсуждаемой проблемой,— это объективного описания того ужасного события, которое произошло на ЧАЭС, и правильного решения будущего атомной энергетики. В связи с этим моим желанием мне представляется содержательной, убедительной, объективной и свободной от чрезмерных эмоций статья Н. Работнова «С дровами в XXI-й век?».

М. И. Клянт-Дашинский,
доцент кафедры Высшей математики
Санкт-Петербургского инженерно-строительного
института

Автор большой яркой статьи профессор Н. Работнов стремится убедить, что атомные электростанции много безопасней всех других основных рукотворных энергетических устройств: электростанций на угле, речных плотин ГЭС, домаш-

них дровяных печей. Проф. Н. Работнов анализирует число смертельных исходов на ядерных объектах отдельно в нерадиационных происшествиях и в радиационных авариях от лучевой болезни. Это сопоставлено с количеством смертельных исходов при автокатастрофах, пожарах, отравлениях и проч. Подборка и особенно трактовка данных заметна направленная. В анализ почему-то не вошли случаи лучевой болезни Чернобыльской катастрофы.

Известно, что неблагоприятные воздействия ионизирующей радиации ведут не только к лучевой болезни. Эти эффекты могут быть разделены на две группы. Во-первых, заболевания, вызываемые большими дозами. Сюда относятся лучевая болезнь, обусловленная облучением всего или большей части тела, и поражения при облучении отдельных участков тела, отдельных органов, тканей: лучевые ожоги, некрозы, повреждения костного мозга, щитовидной железы и др. Лучевое поражение щитовидной железы особенно значимо при авариях на АЭС из-за воздействия радиоактивного йода. Все эти повреждения возникают при дозах, превышающих определенные (пороговые) величины. Во-вторых, в результате действия ионизирующей радиации возникают опухоли и генетические нарушения, проявляющиеся врожденными заболеваниями. Это вызывается не только большими, но любыми, в том числе и малыми, дозами, однако, чем больше доза, тем, в общем, больше вероятность и частота этих последствий. Действию малых доз облучения, превышающих естественный фон, дополнительных к нему, могут подвергаться большие контингенты, что увеличивает их значение, ибо суммирует малые индивидуальные дозы в большие коллективные. Закономерность такова, что количество последствий в виде злокачественных опухолей и генетических нарушений (число случаев) зависит от к о л л е к т и в н о й дозы.

В отличие от ядерного взрыва с его испепеляющей вспышкой и бешено несущейся взрывной волной, радиоактивные утечки и выбросы, описанные на АЭС, распространялись в основном естественными воздушными и водными потоками. На АЭС работает не так уж много людей; крупные города не стоят вплотную к ним. Это должно облегчать оценку обстановки и — при надобности — эвакуацию людей из местности, где уровень радиации из-за аварии на АЭС угрожает лучевой болезнью и другими поражениями, возникающими при превышении пороговых доз.

Неоднократно сообщалось, что в Чернобыльской катастрофе выброс составил (не считая благородных газов) примерно 3,5% активности радионуклидов, находившихся в реакторе 4-го блока. Всего лишь 3,5%! И от этого пострадали большие территории Белоруссии, Украины, загрязненные участки оказались и в Российской Федерации. Таким образом, уехать от малых доз непросто или даже невозможно. Уже по протяженности территории масштабы последствий Чернобыльской аварии трудносопоставимы с другими антропогенными катастрофами мирной жизни. Однако эта дальнобойность может проявляться не только в пространстве, но и во времени.

Дальнодействие во времени обусловлено, во-первых, тем, что в выбросах АЭС может быть значимое количество долгоживущих радионуклидов. Такого упоминания «заслужили» цезий-137 с периодом полураспада 33 года, стронций-90 с периодом полураспада 19,9 года и плутоний, по крайней мере один из изотопов которого сможет быть «послом» и в какой-нибудь грядущей цивилизации. Позвольте напомнить, что период полураспада, например, 20 лет означает, что за этот срок распадется $1/2$ количества радионуклида, а еще за следующие 20 лет — отнюдь не все остальное, а лишь половина оставшегося и т. д. Эта длительность действия тоже трудносопоставима с последствиями иных аварий.

Во-вторых, злокачественные опухоли выявляются обычно лишь через годы после индуцировавшего их облучения, в основном же — через 1—2 десятилетия. Генетические дефекты обнаруживаются со следующего поколения, а часть из них покажет себя, начиная с внуков людей, которые подверглись облучению.

Таким образом, количество случаев лучевой болезни, а тем паче количество ее смертельных исходов односторонне и лишь частично способно характеризовать последствия аварий на АЭС для здоровья людей. Критерий, использованный проф. Н. Работновым, учитывает только одно из поражений, вызывае-

мых большими дозами ионизирующей радиации, и игнорирует все остальные последствия и больших, и малых индивидуальных доз, включая и ситуации, где малые индивидуальные дозы являются частями больших коллективных доз.

Проф. Н. Работнов благодарно пишет о том, что использование ионизирующей радиации принесло больше пользы, чем вреда, благодаря применению в диагностике и лечении. Но аналогичным образом мы с благодарностью относимся, например, к режущим инструментам в хирургии, но защищаем человеческое тело от их проникновения с иной целью.

Выбросы АЭС не только повышают уровень радиации, но изменяют соотношения различных радионуклидов в окружающей среде и организме, поставляют новые радионуклиды, обуславливают избирательное накопление искусственных радионуклидов: йода — в щитовидной железе, цезия — в мышцах, стронция и плутония — в костях. Следовательно, в сравнении с естественным радиационным фоном создаются не только количественные, но и некоторые качественные отличия, во всяком случае — в пространственном распределении дозы.

Но проф. Н. Работнов своеобразно обосновывает свое представление о безвредности значительного превышения естественного уровня ионизирующей радиации. Он пишет, что «до 1963 года профессиональной нормой было 15 рентгенов в год», что это тысячекратно превышает естественный радиационный фон и «никто и нигде не зарегистрировал отрицательных последствий при таких мощностях дозы». Но, во-первых, имеется принципиальная и большая разница между понятиями нормы и предельно допустимой дозы (ПДД) профессионального внешнего и внутреннего облучения. В СССР ПДД и другие ограничения доз ионизирующей радиации устанавливались, как и в других странах, в соответствии с рекомендациями Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ). «Санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и источниками излучений», утвержденными 21/VII-1960 г. (№ 333—60), в СССР установлена ПДД в 5 биологических эквивалентов рентгена (5 бэр) в год для всего организма, что остается и поныне. Правда, в 50-х годах ПДД для таких работников была 0,05 рентгена в день. Если 0,05 р помножить на число рабочих дней в году (тогда был 1 выходной в неделю) и учесть отпуск, продолжительный у таких работников, то насчитаем около 15 рентгенов в год. Но чтобы получить эти 15 рентгенов, надо все рабочие дни иметь по предельно допустимой дозе. Позволительно ли целый год работать на пределе, если он отграничивает опасность для здоровья?! Примечательно, что в отношении действующей сейчас ПДД 5,0 бэр в год Международная комиссия по радиационной защите указала, что распределение годовой дозы в больших группах соответствует нормальному распределению со средним арифметическим 0,5 бэр в год. ПДД пересматривалась не раз и только снижалась, но отнюдь не потому, что, как объясняет проф. Н. Работнов, в первые годы нормы часто и сильно нарушались.

И немного арифметики по поводу утверждения проф. Н. Работнова о том, что доза 15 рентгенов в год превышает естественный радиационный фон в тысячу раз. Этот фон неодинаков в разных местах и в основном отличается в несколько раз. Согласно Большой Медицинской Энциклопедии (1983 г., т. 21), он составляет примерно 0,1 рад в год. Можно убедиться, что это не завышенный уровень, утя, например, данные обзора, представленного Научным Комитетом по действию атомной радиации при ООН («Радиация. Дозы, эффекты, риск». Перевод с англ., М., 1990). Поскольку для человеческого тела коэффициент перевода рентгена в рады почти равен единице, то 15 рентгенов в год превышают такой фон примерно в 150, но никак не в тысячу раз.

Желая показать удивительную обратимость лучевых поражений человеческого организма, проф. Н. Работнов утверждает: «каждую минуту в каждом килограмме вашего тела природной радиацией повреждается миллион клеток. И так продолжается все те сотни миллионов лет, которые на Земле существует жизнь». И далее: «Нет другого фактора внешней среды, к которому нас так всесторонне и надежно приспособила эволюция». (Разрядка Н. Работнова. — В. Т.) Написано для успокоения, а может стать не по себе.

В статье проф. Н. Работнова и ряде других публикаций утверждается, что

если АЭС работают без аварий, то они безопаснее своих конкурентов. Но ведь и ГЭС, и ТЭС проектируются и строятся не для аварий. *Erga humanum est* — человеку свойственно ошибаться. Этот афоризм Софрония Евсевия Иеронима, автора латинского перевода Библии, более полутора тысяч лет остается одной из поучительных истин, и ограды АЭС, к сожалению, не стали для нее препятствием. Значит, надо учитывать не только вероятность ошибки, даже если она относительно мала на АЭС. Необходимо научно обоснованно и объективно представлять закономерные масштабы последствий возможных ошибок, а на АЭС они могут быть страшно велики, длительны и малопоправимы.

Наконец, аргументы проф. Н. Работнова о том, что нас прижимает энергетический голод, что такие страны, как Франция, Япония, Бельгия, интенсивно используют АЭС. Именно потому надо хорошо изучить, учесть наши особенности. Нельзя не видеть огромных, буквально повсеместных энергетических потерь, надо думать о перспективах энергосбережения в России и в СНГ. Сами по себе призывы и лозунги давно показали здесь свою несостоятельность. Энергосбережение должно стимулироваться экономически и таким путем входить в планирование, конструкторские решения, производство, транспорт, быт. Многие страны уже сделали такой скачок. У нас даже относительно легкодостижимые и малозатратные задачи этого направления возьмут не менее нескольких лет. В это время и ядерная энергетика не будет, не может стоять на месте. Нужно, чтобы ее развитие и само существование не принимали патологических черт под давлением энергетического голода, побуждений престижа, интересов ведомств, странно сосуществующих с безобразными энергопотерями. И главное, за эти годы надо добиться стабильности в нашем обществе и наших душах, четкости, обязательности и ответственности, без которых ядерная энергетика крайне опасна даже при правильности расчетов и техническом совершенстве.

В. А. Тихонов,
кандидат медицинских наук,
врач рентгенолог-радиолог
Санкт-Петербург

Сэкономив на рецензировании специалистом статьи Николая Работнова, вы оставили в ней ложку дегтя на бочку меда. Допущенная уже вначале ошибка подрывает доверие к статье.

Четвертый блок Чернобыльской АЭС не собирались останавливать накануне аварии на плановую перегрузку топлива, как пишет Н. Работнов, хотя бы потому, что на реакторе РБМК при исправной разгрузочно-загрузочной машине перегрузка топлива ведется без останова («на ходу»). И зона активная была не выгоревшая, а с нормальным средним выгоранием.

Ошибка эта для Николая Работнова вполне простительная. Хотя атомная энергетика действительно дело его жизни, сам он не реакторщик, а физик-теоретик (если не ошибаюсь, его диссертация посвящена вращению в квантовой механике). Это видно и по употреблению им непривычного словосочетания «радиоактивные шлаки». Сейчас под шлаками в ядерных реакторах обычно подразумевают не радиоактивные, а стабильные продукты деления.

Обидно, что вы подвели именно его. Он один из немногих, кто на деле противостоит мракобесам и прочей астрологической сволочи, с изумительной легкостью проникающей в газеты, журналы, на радио и телевидение. Иным же не выжившим из ума людям жаль сил на эту борьбу, или они считают ее бесполезной, или же устали бороться. И в результате писатель Василь Быков может оказаться прав — люди вернутся к парусу и ветряку, то есть современная цивилизация погибнет. Но не из-за использования ядерной энергии, а из-за нехватки средних школ, избытка астрологов и нашего непротивления.

Будьте здоровы

Ф. Ю. Кашеваров
Железнодорожный, Московской обл.

...В 7 км против г. Чернобыля, на левом берегу реки Припять, сразу же за ее поймой есть (вернее, было) большое село Паришев, так вот, в это село вернулись более 50 семей и живут там до сих пор, пахут свои огороды, держат коров, ловят рыбу, хлеб возят из Чернобыля и, наверное, счастливее меня и многих тысяч других, которых лишили родных корней, насильно, без разбору и выяснения точной радиационной обстановки, окружив от ЧАЭС 30 км на карте, в апреле — начале мая 1986 г. выселили, не дав забрать нам даже своих семейных реликвий и нужных для жизни вещей, которые впоследствии были разграблены мародерами-«партизанами» или варварски переломаны, испачканы, перебиты (мебель, посуда, книги и т. п.), а в домах, как после варварских погромов, повывбиты все окна, выломаны двери. И кровью обливались и обливаются наши сердца, когда мы, приезжая на Радовницу, на могилы своих предков, видели свои дома в таком состоянии.

Как ни трудно было жить нам до чернобыльской катастрофы, но та жизнь была счастливой. Теперь же мне ничего не мило, хотя вроде и живу в доме, где есть вода, канализация и теплый туалет, что в мои года очень важно, но счастья уже никогда, до конца моих дней, я не почувствую. Разве иногда промелькнет какое-то счастливое мгновение, навеянное воспоминаниями о прошедшей трудной жизни. Вечная тоска гложет наши души. Прошло уже около 7 лет с тех пор, а тоска по своему родному, где проходило детство, где строили свои дома, где выращивали с любовью сады, где растили своих детей и внуков, где исхожены все леса, поля, где каждая дорожка, тропинка стоит в глазах до сих пор и где покоятся мои предки, мои односельчане, тоска не проходит и уже с нею ляжешь в могилу на чужом кладбище.

А людям пожелаю жизнь без братоубийственных войн, без политической трескотни и баталий в борьбе за власть, пожелаю надежд на будущее счастье...

А. М. Старохатний,
пенсионер, в прошлом учитель
начальных классов, крестьянин.
Деревня Ломовичи, Гомельской обл.

Общественный совет редакции:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, И. И. ВИНОГРАДОВ, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, Н. Н. ВОРОНЦОВ, В. В. ИВАНОВ, Ф. А. ИСКАНДЕР, В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. С. МАКАНИН, М. В. МАСАРСКИЙ, Б. Ш. ОКУДЖАВА, В. А. ТИХОНОВ, М. А. УЛЬЯНОВ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. С. ШАТАЛИН.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **А. Л. АГЕЕВ, Н. Б. ИВАНОВА** (зам. гл. редактора), **Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. И. КАШИРСКИЙ, К. А. СТЕПАНЯН, С. И. ЧУПРИНИН** (первый зам гл. редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 923-76-33, отдел критики и библиографии — 928-94-45, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.
Факс 921-32-72.

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 05.04.93. Подписано к печати 27.04.93. Формат 70×108^{1/16}.
Печать высокая. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,90. Уч.-изд. л. 20,08.
Тираж 73 200 экз. Заказ № 306.

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул «Правды», 24.

Индекс 70331

ISSN 0130—1616. Знания. 1993 № 6. 1—208.